И. Б. ЧИЖОВА

„Души волшебное светило...“

И. Б. ЧИЖОВА „Души волшебное светило...“

И. Б. Чижова

«Души волшебное светило...»

Лениздат • 1988

И. Б. ЧИЖОВА

„Души волшебное светило..."

М. А. Протасова, А. А. Воейкова, Е. П. Бакунина,
Н. В. Кочубей, А. В. Малиновская-Розен,
М. В. Малиновская-Вольховская, Е. И. Голицына,
С. Д. Пономарева, А. П. Керн, С. М. Дельвиг,
А. Ф. Закревская, А. Ф. Фурман-Оом, А. А. Оленина,
Е. И. Кутузова, Е. М. Хитрово, Е. Ф. Тизенгаузен,
Д. Ф. Фикельмон, Е. А. Карамзина, С. Н. Карамзина,
Е. Н. Карамзина-Мещерская, А. О. Смирнова-Россет,
А. В Алябьева, Н. Н. Пушкина, Э. К. Мусина-Пушкина,
А. К. Карамзина, Е. М. Завадовская,
М. А. Мусина-Пушкина, Н. Л. Соллогуб, А. Крюднер,
А. Д. Абамелек-Баратынская, Е. П. Ростопчина,
- А. К. Воронцова-Дашкова

ЛЕНИЗДАТ
1988

83.3Р
Ч59

Рецензенты —
кандидат филологических наук Р. В. Иезуитова,
член Союза писателей Ю. Л. Алянский.

Редактор И. А. Сенина

Ч $\frac{4603000000-276}{М171(03)-88}$ 164—88

ISBN 5-289-00154-9

Светлой памяти родителей

Книга посвящена биографиям литературных героинь Петербурга первой половины XIX века. Нам интересны имена женщин, которые вдохновляли поэтов и художников, становясь бессмертными,— М. Протасова, А. Воейкова, Е. Голицына, Д. Фикельмон, Е. Карамзина, А. Керн и многие другие.

В основу очерков положено множество источников, главным образом архивов, дневников, писем, мемуаров, портретов. Лишь они способны дать правдивое изображение человека, раскрыть его нрав или тайну его любви. Маша Протасова писала своей сестре: «...не требуй, чтобы я тебя водила по закоулкам сердца. Это — лабиринт, я сама часто теряюсь в нем». Но как хочется заглянуть в эти «закоулки сердца» и распутать нити лабиринта, чтобы хоть чуть-чуть приоткрыть занавес в прошлое, которое продолжает волновать нас и теперь. Стихи В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Дельвига, Ф. И. Тютчева, их письма и высказывания, дополненные камерными портретами О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, П. Ф. Соколова, В. И. Гау и других художников, помогают воссозданию образов тех, кто их вдохновлял. Перед нами раскрывается и оживает давно ушедшая эпоха.

В очерках представлены материалы в единстве основных компонентов — биографического, литературного и изобразительного. В них соблюдена хронологическая последовательность соответственно развитию русской культуры.

Первая четверть XIX века — яркая страница в истории отечественной словесности и изобразительного искусства. Первые очерки о Маше Протасовой и

о Воейковой дают представление о нравственном идеале женщины у романтиков. Все чувства их героинь направлены к доброму началу, терпению и любви к ближнему. Женщины стремятся к гармонии в мире чувств, но сталкиваются с противоречиями жизни. Действительность противостоит их идеалам.

В книге прослеживается синтез поэзии и изобразительного искусства в поиске идеала современницы. Особенно отчетливо это выявляется в ранней поэзии А. С. Пушкина и карандашных камерных портретах О. А. Кипренского. В этом можно убедиться в очерках о лицейских героинях, раскрывающих и особенности женского характера, который привлекал лицейское братство.

В экстремальных обстоятельствах бывшая «лицейская героиня» Анна Васильевна Малиновская-Розен проявила лучшие качества высоконравственного воспитания, полученного в детстве, и смело пошла за мужем в сибирскую ссылку. «Жить несколькими градусами севернее или южнее не есть большая разница для людей, не представляющих своего блаженства в одних только чувственных наслаждениях»,— писала она своему брату, бывшему лицеисту И. В. Малиновскому. Женам «государственных преступников» не создавали поэтических посвящений, но они были подлинными героинями декабристской мемуаристики, замечательного явления русской документально-художественной прозы.

Е. И. Голицына искала себя в сфере научной и общественной деятельности. Но такие женщины, которых было немного в России, находились в постоянном противоречии между страстным желанием быть независимой в творчестве и холодным равнодушием общества, не признающего права женщины на самостоятельность. Далеко не все находили для себя возможность служить общественным идеалам в области литературы и в других сферах деятельности.

О стремлении одаренной, талантливой натуры посвятить себя служению русской словесности рассказывает очерк о С. Д. Пономаревой, основанный на архивных материалах, а также неизученных ранее альбомах. Эти альбомы служат своего рода художественной хрестоматией литературной жизни и изобразительного искусства за несколько лет (1820—1824 гг.). Все материалы публикуются впервые.

В первой трети XIX века основным призванием для большинства женщин оставалась «наука страсти нежной». Умение любить представлялось им смыслом бытия. Таковы героини очерка «Беззаконные кометы» Анна Керн, Софи Дельвиг, Аграфена Закревская. Их осознание переменчивого характера любви не приводит к отказу от нее. Любовь служит им «самолюбивой забавой», она больно ранит то их самих, то близких им людей. Требование «свободы любви», пренебрежение к общепринятым понятиям губит репутацию женщины и делает ее, по меткому замечанию Пушкина, «беззаконной кометой». Эта тема находит свое отражение у многих поэтов пушкинского круга — Дельвига, Баратынского и других. «Кокетство можно назвать политикой прекрасного пола»,— не без иронии отмечал Баратынский.

Литературные героини, с которыми знакомит эта книга, интересны не только своими нравственными достоинствами, либо, напротив, противоречиями, присущими слабому полу, но прежде всего своим значением в культурной жизни своего времени, живым сочувствием к одаренным писателям, художникам, музыкантам, умением понять и оценить их творческие муки, собственной увлеченностью искусством.

Этими качествами в большой мере обладали А. Ф. Фурман и А. А. Оленина. Дочь президента Академии художеств Анна Оленина имела особые привилегии воспитания и художественное окружение, которое сопутствовало ей с детства. Многие поэтиче-

ские посвящения, среди которых и блистательные стихотворения Пушкина, привлекают к ней до сих пор внимание любителей поэзии. В очерке поэтические строки дополнены анализом портретов известных и малоизвестных художников, что дало возможность еще раз остановиться на общности искусств в поиске идеала.

Для «женщин рода Кутузовых» — жены великого полководца, его дочери и внучек — политическая жизнь России и Европы, литература, театр и философия сделались потребностью ума и сердца. И это выделило их из среды женщин придворного круга, к которому они принадлежали. Широкий диапазон их интересов привлекал к ним Жуковского, Пушкина, Вяземского и других выдающихся людей эпохи.

Особое место в истории русской культуры занимает имя Е. А. Карамзиной. Взаимное уважение, любовь и нежная преданность семье сопутствовали всей ее жизни с известным русским писателем и историком Н. М. Карамзиным. Она всегда и для всех была идеалом жены, матери и друга. В ее доме собирались в основном литераторы. Среди них и яркие «литературные героини» второй четверти XIX века.

Одной из самых выдающихся по уму, образованию и характеру все признавали А. О. Смирнову-Россет. Увлечение творчеством известных писателей, дружба со многими из них помогли развитию ее собственного литературного дарования. К сожалению, имея некоторое расположение ко многим видам искусства, она не могла посвятить себя чему-то серьезно. Это отразилось на ее разрозненных автобиографических записках.

Н. Н. Пушкина не обойдена вниманием писателей. Ее образ достаточно исследован с разных точек зрения, иногда противоречивых. Однако исключить эту женщину из ряда литературных героинь было бы несправедливо. Не желая повторять многое из ска-

занного в других источниках, в этой книге предпринята попытка отразить характер Натальи Николаевны под иным углом зрения. Очерк «...И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой» построен на сравнительной характеристике двух красавиц, одновременно появившихся на светских балах. В дальнейшем различно сложившиеся судьбы повлияли на формирование их характеров, что и нашло отражение в поэтических посвящениях и портретах художников.

Сестрам Шернваль фон Валлен, а также тем, которых называли «звезды Севера», посвящали свои стихи поэты; их обессмертила кисть таких замечательных мастеров портретного искусства, как А. и К. Брюлловы, П. Ф. Соколов, В. И. Гау и других. Женщины эти очень разные, роднит их только одно — красота и успех в обществе. Можно увидеть, что поиск нравственного совершенства, идеала все более заменяется во второй четверти XIX века восхвалением красоты, иногда талантов. Е. В. Завадовская, П. А. Бартенева и А. Крюднер были замечательными исполнительницами арий и романсов, их дарования наравне с внешней привлекательностью отмечены и в различных посвящениях. А. Д. Абамелек-Баратынская в совершенстве владела поэтическим переводом, а Е. П. Ростопчина сама писала прекрасные стихи — это не прошло незамеченным и нашло отклик в сердцах поэтов и художников.

Поэзия и живопись к середине XIX века отошли от поиска идеала. По портретам можно изучать моды. Художники самозабвенно выписывают интерьеры, ткани, меха и фамильные драгоценности. В бледных красивых лицах преобладает аристократическая надменность и уже нет простоты и сердечной отзывчивости, свойственных женщинам романтической эпохи первой половины XIX века.

К середине XIX века происходит утверждение нового женского характера в русской литературе и

живописи. От «беззаконных комет» Пушкина и Баратынского ведет прямая линия к образу «светской львицы» — А. К. Воронцовой-Дашковой, воспетой М. Ю. Лермонтовым и обличенной Н. А. Некрасовым. Противоречивый образ А. К. Воронцовой-Дашковой стал переходным к новому типу женщин — фатальным, роковым героиням И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, женщинам второй половины XIX века.

В конце книги, в библиографии, указаны архивные, исторические, филологические и искусствоведческие источники. К этому необходимо добавить галерею портретов, большая часть которых публикуется впервые. Одиннадцать из них атрибутированы автором. Таким образом, созданию популярных очерков предшествовала большая и долгая научно-исследовательская работа. Создавая эту книгу, автор пользовался архивами, фондами музеев, частных собраний и литературными источниками самого широкого круга. Сноски, ссылки на архивные документы и другие источники, атрибуция многочисленных портретов, произведенная автором, могли бы занять в примечаниях слишком много места и составить еще одну книгу. Поэтому пришлось ограничиться лишь списком архивных источников и литературы по основным затронутым проблемам.

В своей статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский отмечал, что «одна улыбка женщины, милой и просвещенной, награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!». Это свидетельствует о том, какую огромную роль играли женщины в ту эпоху как ценительницы искусства, вдохновительницы писателей и художников, участницы формирования их творческих судеб.

МАША ПРОТАСОВА

«Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина заканчиваются словами: «А вы, любезные, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться китайскими тенями моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями». Такими друзьями, сказавшими ему: «Наш дом — твой дом», были москвичи Плещеевы. Но скорее не хозяин дома, пожилой секунд-майор в отставке Алексей Александрович, а его молодая хозяйка Анастасия Ивановна, урожденная Протасова. Она была не только интересной, обаятельной женщиной, но и образованной собеседницей, переводчицей и вообще не чуждой литературным интересам. С Карамзиным у них было много общего. В ней молодой поэт нашел первого слушателя своих произведений, чуткого и нежного друга. Еще в стиле поэтов XVIII века, таких, как Г. Р. Державин и И. И. Дмитриев, Н. М. Ка-

рамзин в «Послании к женщинам» обращается к А. И. Плещеевой под вымышленным именем: «Нанина!»

Нанина! Десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз,
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек.

Сборник Карамзина «Аглая» вышел с посвящением: «Другу моего сердца, единственному, бесценному, Тебе, любезная, посвящаю мою Аглаю. Тебе, единственному другу моего сердца».

И «Послание» и «Посвящение» интересны тем, что они по-новому определяют назначение женщины в дворянском обществе, выдвигают ее как ценительницу литературы и искусства.

В 1801 году Карамзин женился на сестре Плещеевой — Елизавете Ивановне Протасовой, очень похожей на свою сестру и внешне, и по кругу литературных интересов. Свою будущую жену Карамзин знал с детства. «С сердечной радостью уведомляю вас,— писал он брату,— что я женился на Елизавете Ивановне Протасовой, которую 13 лет знаю и люблю».

В молодой жене Карамзин нашел свой поэтический и нравственный идеал. «Я совершенно доволен своим состоянием и благодарю судьбу»,— писал он после первого года брака, после рождения дочери Софьи, которая впоследствии будет собеседницей многих русских поэтов. Но в следующем, 1802 году судьба оказалась жестокой к их семье. Елизавета Ивановна умерла от скоротечной чахотки. И тот, кто говорил о себе: «Он нежной женщины, нежнейшим другом был»,— шел пятнадцать верст с непокрытой головой от Свиблова до Донского монастыря за гробом жены.

После постигшего его горя Карамзин продолжал много работать, оставаясь в центре литературной

М. А. ПРОТАСОВА.
Портрет В. А. Жуковского.
1811 г.

жизни Москвы. Именно эстетические воззрения Карамзина обусловили тесное взаимодействие литературы с различными видами искусства, так явно проявившими себя в первой половине XIX века. С этих воззрений, по выражению В. Г. Белинского, «началась новая эпоха русской литературы». В круг литераторов все больше включалась молодежь: Андрей и Александр Тургеневы, А. Ф. Воейков, В. А. Жуковский и другие. Литературные позиции Карамзина ближе всего были Жуковскому, все называли его прямым учеником прославленного писателя.

Их связывали не только творческие, но и родственные узы. Сводная сестра (по отцу) Жуковского Екатерина Афанасьевна Бунина была замужем за Андреем Ивановичем Протасовым, родным братом жены Карамзина. Дочери рано овдовевшей Екатерины Афанасьевны — Маша и Саша — еще девочками-подростками становятся ученицами Жуковского. По характеру, уму, образованию (и, к сожалению, даже по здоровью — предрасположенности к туберкулезу) между тетками и племянницами было много общего. Именно они стали музами Жуковского и других русских поэтов.

Поиск романтического поэтического идеала был близок всему творчеству Жуковского, и он нашел его в близком человеке, своей духовной воспитаннице Машеньке Протасовой. Можно даже сказать, что он сам воспитал идеал, который стал величайшим счастьем и горем всей его жизни.

В личности Маши воплотилась романтическая героиня Жуковского, основными чертами которой становятся одухотворенность, глубина и сила чувств, богатство настроений. В лирических стихах он «пел любовь», карандаш запечатлевал «милые черты». В рисунках поэта — очаровательная девушка с мягкими, нежными, чисто русскими чертами лица, с характером отзывчивым и добрым. Нравственные уроки

Жуковского, девизом которых всегда было: «Каждую минуту жизни — доброму делу, мысли или чувству», не прошли даром.

Жуковский в своих рисунках сумел подчеркнуть пленительную женственность Маши Протасовой — в повороте головы, мягких рассыпающихся локонах, чуть соприкасающихся с круглой щечкой. Но еще больше нежных чувств высказано стихами:

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья?
. . . .
С тобой, один, вблизи, вдали,
Тебя любить — одна мне радость;
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

Так писал Жуковский в 1811 году, когда он в первый раз решился сделать предложение Маше. Ее мать решительно ему отказала, мотивируя свой отказ религиозными соображениями (церковь запрещала родственные браки). Все пути к счастью были отрезаны для обоих любящих.

В августе 1812 года Жуковский уехал в действующую армию, а Маша и ее младшая сестра Саша самоотверженно ухаживали за ранеными в лазарете города Орла, не страшась никакой работы, в ожидании известий от своего учителя. Время с 10 сентября по 10 октября Жуковский провел с ними, и тогда же был начат «Певец во стане русских воинов».

Отгремели военные грозы, и снова началась мирная жизнь, заполненная поэзией и любовью. В 1814 году на вторичное сватовство Жуковскому отказали еще более решительно. Сердце поэта билось как пойманная птица:

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! — Вы им сказали.
Всему конец!

«Люблю Машу, как жизнь»,— признался он своему другу Александру Ивановичу Тургеневу.

С 1815 по 1817 год поэт большей частью жил в Дерпте, куда переселилась и семья Протасовых после замужества младшей сестры, муж которой Александр Федорович Воейков стал профессором Дерптского университета. Несмотря на преграды, возведенные уверенной в своей правоте Екатериной Афанасьевной, Жуковский не оставил надежды. По-прежнему был близок круг эмоциональных интересов поэта и его воспитанницы. Дружба отныне должна заменить им любовь. Но чувства эти очень близки. И здесь снова приходится вспомнить Карамзина:

Любовь тогда лишь нам полезна,
Коль с милой дружбою сходна; —
А дружба лишь тогда любезна,
Когда с любовию равна.
Без дружбы, без любви — что лестного на свете?
Ужасная в душе и в сердце пустота...

Стихи Карамзина глубоко трогали сердца женщин.

Маша не только хорошо знала русскую литературу, но читала Шиллера и Гете, Шекспира и Расина, Вольтера и Руссо и многих западноевропейских писателей. Но кроме классики, дожившей до наших дней, были литературные произведения, которые имели значение только для своего времени. Маша внимательно читала поучительные романы госпожи Жанлис и черпала из них благоразумие, строгую мораль и преданность долгу. Один из героев романа Жанлис изучает медицину и старается помочь ближнему во всем — и как образец безупречной морали,

достойной подражания, он остался навсегда в душе и памяти Маши.

17 июля 1815 года она писала своей двоюродной сестре А. П. Киреевской, что ей очень понравились сочинения немецкого поэта Жана-Поля Рихтера. По-видимому, мечтательность и элегические настроения в сознании Маши роднили его с Жуковским.

Круг чтения, интересы, пристрастия — все было направлено к одной цели: духовному общению с поэтом. В свою очередь, Жуковский интересовался тем, что она читала, и советовал такие произведения, в которых есть «любовь к добру и к чистой славе». Оба они стремились стать справедливыми, приветливыми, миролюбивыми и доброжелательными. 25 апреля 1815 года она пишет Дуняше Киреевской: «Так, мой друг, можно и должно жизнь сделать чем-то важным без счастья, без восхищения, а с должностью просто». Счастья нет, но есть долг! Это ответ на невозможность соединения с любимым. Жуковский писал ей:

Я на тебя с тоской гляжу,
В груди огонь, в душе молчанье.
Хочу сказать... Но что скажу?
О, друг, пойми мое признанье.
Тиха любовь к тебе моя,
Она всех чувств успокоенье,
Хранитель — гений бытия,
Души надежда и спасенье.

От надежды к отчаянью. И все же надежда не покидала до тех пор, пока к Маше не посватался профессор медицины Дерптского университета И. Ф. Мойер. Мать настаивала на свадьбе... Маша металась, не зная, на что решиться. Жуковский в отчаянье пишет: «Маша, откликнись! Открой мне глаза. Мне кажется, я все потерял!» И все же добавляет: «Лишь бы Маша была счастлива!» И к свадьбе, которая состоялась 14 января 1817 года, пишет жениху:

Счастливец! Ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою!

Сомнения Жуковского были напрасны — Мойер страстно любил Машу, с ее именем на устах он скончался через тридцать пять лет после ее смерти.

Какой же видели эту женщину, которая внушала к себе такую редкую, такую возвышенную любовь, другие люди?

В 1818 году ее портрет написал немецкий художник Карл Зенф. Он работал в Дерпте, и Жуковский брал у него уроки рисования и гравирования, он же ввел его в семью Мойеров и заказал портрет Маши. В портрете Зенфа нет той любовной ноты, которой проникнуты рисунки самого Жуковского. Но покоряющая мягкость взора, женственность, доброта — все остается и в этом портрете. Изображение совпадает со словесной характеристикой, данной примерно в это же время Ф. Ф. Вигелем. В мемуарах Вигеля сравнительно редки восторженные отзывы, но здесь он изменяет себе: «Во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени, все в ней было просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, взял бы да и расцеловал, а находясь с такими, как она, все хочется пасть к ногам их. Ну, что она была как будто не от мира сего... И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой, но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неравный союз было мне не-

стерпимо... Эту элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации».

Догадки его подтвердились. Маша не стала счастливой, все ее мысли были с Жуковским, отдавшим ей свои мечты и вдохновение.

Духовную жизнь Маши, основу ее существования, как и многих ее сверстниц, составляли любовь и дружба. Но Маше, кроме того, хотелось быть достойной тех идеалов доброты, на которых ее воспитали. Она решила, что исполнение своего человеческого долга станет оправданием ее разбитой любви. Не было такой работы, которая считалась бы для нее унизительной. Она много помогала своему мужу в больнице, старалась облегчить участь больных. Денег на них отпускалось слишком мало, и Маша своими средствами старалась восполнить это: заготавливала с лета капусту и другие продукты, вставала на заре и готовила больным завтраки и обеды в дополнение к скудному рациону. Она уже многое понимала в медицине, и если мужа срочно вызывали ночью к больному и вслед за этим снова кому-то была нужна помощь, Маша могла ее оказать. Она постоянно изучала медицину, пополняя свои знания теоретически и практически.

Идеал Жуковского не был выдуманным. Им являлась живая женщина — прекрасная во всех проявлениях своей души и в поступках. Мировая поэзия не знает такой любви. И Беатриче Данте, и Лаура Петрарки были во многом плодом поэтического воображения.

Воображение же Жуковского питалось реальностью. И он знал это прекрасно. В ноябре 1820 года он написал Маше из Берлина: «В твоем сердце ничего не пропало, еще кажется ты сама стала лучше; настоящая твоя жизнь, исполнение твоих должностей усовершенствовали тебя и ничто не пропало в пустоте рассеяния».

Искренняя и имевшая живой ум, Маша не лишена была чувства юмора. В своих письмах она высмеивает обычаи давать обеты в дерптском женском обществе. И в ответ на их клятвы не носить голубых или розовых бантов шутливо замечает, что решила дать обет: носить шерстяные чулки зимой, а бумажные — летом.

Однако мир открывался для нее прежде всего своей образной, поэтической стороной. Все, даже самые близкие, не переставали удивляться ее способности поэтизировать даже самые, казалось бы, прозаические стороны жизни.

В своей деятельности на пользу ближнего Маша всегда проявляла активность, но в защите своего личного счастья была пассивна. То, что отнято навеки, нельзя вернуть — это она покорно приняла. И поэтому в 1819 году пишет: «Я решилась не желать ничего и не делать планов, так всего легче». Подчас ей нелегко было разобраться в лабиринтах своего сердца, и особенно после замужества. И она пишет двоюродной сестре: «Дуняша, не требуй, чтобы я тебя водила по закоулкам сердца. Это — лабиринт, я сама часто теряюсь в нем».

Ее муж был славным, отзывчивым человеком, и Маша ценила в нем благородство и доброту. Вот как она сама писала об этом: «Я люблю его как моего благодетеля, как человека, который обеспечил мне покой, постоянное и прочное счастье, который избавил меня от всего дурного (имеются в виду те дикие сцены и скандалы, которые устраивал в своей семье Воейков.— *Авт.*) и который, кроме того, дал покой маме...»

Несколько раз пришлось убедиться Маше, что Мойер не может понять порывов ее души, и она делает вывод: «Я не решаюсь более говорить ему о том, что происходит в глубине сердца, но сколько раз я думала про себя: «Я счастлива, видя тебя довольным,

позволь же мне быть печальной, это все, что я желаю».

Печаль ее была непреходяща, печаль о том, что не сбылось. Все в прошлом, в детских воспоминаниях, и в настоящем только долг. Но как росток дерева пробивает камень, так истинное чувство пробивается сквозь искусственно созданные преграды. В письмах к Жуковскому подробно освещается ее жизнь в Дерпте, события, размышления, и в конце письма все же иногда прорывается: «...ты не можешь вообразить как ты мне бесценен, и как дорого для меня то чувство, которое к тебе имею...»

Еще в 1808 году Жуковский написал лирическое стихотворение «К Нине»:

> О Нина, о Нина, сей пламень любви
> Ужели с последним дыханьем угаснет?
> Душа, отлетая в незнаемый край,
> Ужели во прахе то чувство покинет,
> Которым равнялось богам на земле?

Стихотворение было посвящено теме вечной любви, которая только зарождалась между ним и Машей и еще являлась для всех тайной...

Впоследствии Маша не перестанет вспоминать столь дорогие ее памяти стихи: «Милый друг, я опять в нерешимости, посылать ли тебе мои бредни. Скажу тебе одно: никогда мне не бывала твоя «Нина» так понятна, как теперь, я думаю вопреки твоему молчанию, что ты держишь то, что в ней обещал (вечную верность первой и единственной любви.— *Авт.*). Когда мне случится без ума грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко: «Жуковский!» И всегда станет легче...»

Маша жила воспоминаниями, тщательно скрываемыми чувствами. Всю полноту этих чувств она пережила летом 1822 года, когда снова попала в Муратово, где все напоминало о Жуковском. Она много гуляла по дорогим сердцу местам и вспоминала, вспоминала. И в

борьбе между долгом и чувством побеждает любовь: «Везде, в других местах я умела подчиняться рассудку,— пишет она Жуковскому,— но здесь, в Муратове, в ваших комнатах,— признаюсь тебе! Сердце отказывалось даже верить происшедшему! Оно чувствовало себя настолько покинутым, что не осмеливалось обращать глаза на прошедшее... Я знала, что́ я тебе была!» Жуковский ответил. И после этого стало невозможно скрывать истину: «О, милый! Твое письмо возвратило мне все! И прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды... твоя комната с письмом твоим в руках есть мой рай земной!»

Шел последний год жизни этого нежного существа. Непосильная борьба рвущегося навстречу любви сердца и чувства нерушимого долга подтачивала и без того слабое здоровье.

Силы Маши были на исходе, наследственная болезнь — туберкулез — уже давала себя знать, дни ее были сочтены. 10 марта 1823 года Жуковский видел ее в последний раз, уезжая из Дерпта в Петербург. А 17 марта ее не стало. Умирая, Маша все время звала Жуковского. Письмо к нему осталось недописанным: «Друг мой. Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я еще буду к вам душою. Тебе обязана я своим живейшим счастьем, которое только ощущала!.. Одна мысль, которая меня беспокоит, есть то, что я не довольно была полезна на сем свете, не исполнила цели, для которой создана была. Но это чрезмерное желание, которое во всю жизнь меня не покидало,— делать что-нибудь полезное — неужели оно ни во что не причтется?.. Друзья, не жалейте обо мне, я уверена в милосердии...» На этом письмо обрывается. Маши не стало, но та поэзия, те возвышенные чувства, которые она породила, обессмертили ее имя.

«ЗВЕЗДА ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИЙ»

От души желал счастья В. А. Жуковский второй своей воспитаннице Сашеньке Протасовой, посвящая ей балладу «Светлана» в день свадьбы с А. Ф. Воейковым:

Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Александра Андреевна, как и ее старшая сестра, обладала редкими качествами: современники восхищались ее умом и образованностью. Неудивительно, что, когда Жуковский и Воейковы поселились вместе в северной столице, она стала хозяйкой литературного салона и все ласково называли ее «Светлана».

Воейкова была всесторонне образованной женщиной — она переводила статьи для газет, которые редактировал ее муж, занималась рисованием, увлека-

лась музыкой. Ее нравственное совершенство привлекало сердца многих друзей Жуковского — художников и поэтов. Всех волновала судьба красавицы и умницы, связанной узами брака с человеком недостойным (именно так характеризовали Воейкова все его современники).

Портрет А. А. Воейковой выполнен художником П. А. Александровым в 1822 году в духе времени. Романтическое настроение создает пейзаж с деревьями, с бегущими по небу облаками, этому же способствует шарф, развевающийся вокруг ее плеч. И все же внутреннее обаяние Сашеньки прорывается сквозь романтический ореол. Мягкое выражение светлых глаз, улыбка придают ей особое очарование.

Интересен словесный портрет А. А. Воейковой, составленный А. Д. Блудовой: «Молодая, прекрасная, с нежно-глубоким взглядом ласковых глаз, с легкими кудрями темно-русых волос и черными бровями, с болезненным, но светлым видом всей ее фигуры, она осталась для меня... неземным видением времени моего детства».

Пожалуй, удачнее других ее охарактеризовал поэт Е. А. Баратынский:

Очарованье красоты
В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
Манишь на край земной,
И при тебе душа полна
Священной тишиной.

Жуковский опасался, что Саша не выдержит испытаний семейной жизни. Он увещевал ее в одном из писем: «Ничто так не пленяет в женщине, как это покорное самоотвержение. Ее добродетели, ее грация, ее успехи должны быть смирением...» Друг поэта Алек-

А. А. ВОЕЙКОВА.
Портрет П. А. Александрова.
1822 г.

сандр Иванович Тургенев, брат декабриста (тот, кому суждено было проводить в последний путь А. С. Пушкина), нежно любил Воейкову. Любовь эта была взаимна, но ничто не изменилось в их судьбе. Тургенев до конца жизни остался одиноким.

К. Ф. Рылеев посвятил Александре Андреевне свою «Рогнеду»— небольшую поэму, героиня которой — страдающая женщина. Но Воейкова, сама страдающая, умела и сострадать. Это отразилось в ее отношении к слепому И. И. Козлову. Поэт был духовно близок и интересен ей: он находился под сильнейшим влиянием Жуковского, который, будучи романтиком, по словам Белинского, «выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь». Именно «жалобы», а не «гневный протест». Вслед за Жуковским Козлов провозглашал «право поэта на глубоко личные, лирические излияния, за которыми, однако, стоит обыкновенный мир в его сложном многообразии».

В 1822 году Козлов создал послание, заключающее смысл его лирики,— «К другу В. А. Жуковскому». Это произведение высоко ценил Пушкин. В центре повествования — поэт с обрушившимся на него горем — слепотой, ввергшей его в бездну отчаяния. Но тема скорби умиротворяется верой в искусство, гуманностью человеческих отношений, дружбой и состраданием, которые озарили его жизнь в полной тьме. Безнадежность сменяется надеждой, и среди тех, кто помог ему в страшные часы отчаяния,— племянница Жуковского, та, которую он вместе с другими называл «Светланой»:

Светлана добрая твоя
Мою судьбу переменила,
Как ангел божий низлетя,
Обитель горя посетила —
И безутешного меня
Отрадой первой подарила,
Случалось ли когда, что вдруг,

Невольной угнетен тоскою,
Я слезы лил,— тогда, мой друг,
Светлана плакала со мною;
В надеждах веры устремлять
Все чувства на детей искала,
И чем мне сердце услаждать,
Своим то сердцем отгадала,
И вслед за ней явились мне
Те добродетели святые,
Всегда, везде ко всем благие,
И лишь могущие одне
Печаль и горести земные
В блаженный превращать удел.

Александра Андреевна познакомилась с Козловым в 1818 году. После приезда в Петербург это знакомство перешло в горячую дружбу. Многие часы проводила она у постели больного, утешала его, читала ему книги. И первое стихотворение, изданное в 1821 году в «Сыне Отечества», поэт посвятил ей — «Светлане». Стихотворение было напечатано без имени автора и снабжено примечанием: «Это первый опыт страдальца, в цветущих летах лишившегося ног, а потом зрения, но сохранившего весь жар сердца и силу воображения».

Как вводишь радость ты с собой
То сердце будто рассмеется;
В нем на приветный голос твой
Родное что-то отзовется;
Подвластна грусть моя тебе,
Ее ты услаждать умеешь;
Но ты, Светлана, обо мне
Ты слишком много сожалеешь...

В своих стихах Козлов старается дать представление о «Светлане» как о светлой, сострадательной душе, о целительнице несчастий ближнего. Но он сам утешает свою печальницу, говоря о счастье творчества, об отношении с понимающими душу поэта людьми:

Но что же делать? В жизни сей
Я не совсем всего лишился,
И в пламенной груди моей
Еще жар чувства сохранился.
Пускай печаль крушит меня
И слезы часто проливаю —
Но, ах! Не вовсе отжил я,
Еще люблю, еще мечтаю...

. . . .

И ты, и ты, ночная тень,
Рассеешься, пройдут туманы,—
И расцветет мой ясный день,
День светлый, как душа Светланы...

П. А. Вяземский, получив от А. И. Тургенева это стихотворение, писал ему 27 октября 1821 года: «Стихи Козлова прелестны; много чувства и живости в выражении».

Все, что касалось Воейковой, было особенно дорого А. И. Тургеневу. Душа его никак не хотела смириться с недоступностью счастья для них. Он упрекал судьбу, не давшую ему возможности встретить «Светлану» раньше, чем она вышла замуж за злобного и порочного А. Ф. Воейкова. Он трогательно и нежно опекал ее и не называл иначе как Ангелом. Ради любви к ней он уступал грубости и бестактности Воейкова даже тогда, когда тот нагло вымогал у него деньги.

Вот как вспоминает о некоторых эпизодах Н. Греч: «Воейков торговал и промышлял не прелестями, а кротостью своей жены. Например, приедет Александр Тургенев и идет по обычаю в ее кабинет. Двери заперты. «Что это?» — спрашивает он. «Они заперлись,— отвечает Воейков,— плачет».— «Плачет? О чем?» — «Как о чем? В доме ни копейки нет, не на что обедать завтра. Заплачешь с горя».— «Пусти меня к ней».— «Не пущу, дай мне 500 рублей».— «Возьми!» Отпирает дверь кабинета. Тургенев находит Александру Андреевну действительно в сле-

зах, но вследствие огорчений, претерпенных ею от мужа».

Правда, она почувствовала некоторое облегчение после того, как они стали жить одним домом с Жуковским, зимой на Невском, в доме Меншикова, возле Аничкова моста, а летом — в Царском Селе. У Жуковского часто бывали А. И. Тургенев, В. А. Перовский, Е. А. Баратынский, А. А. Дельвиг, Ф. Н. Глинка и многие другие, искавшие отзыва о своих опытах у чуткой, глубоко понимающей литературу «Светланы».

Часто приходили к ним в гости К. Н. Батюшков, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский — словом, весь цвет литературной столицы, среди которых не было только Пушкина, сосланного на юг.

Истинным утешением была прочная дружба, которую она нашла среди окружавших ее людей. Дружбу Воейкова ценила выше любви, но, к ее большому огорчению, оказывалось часто, что те, кого она считала друзьями, любили ее нежнее и хотели бы стать для нее единственной привязанностью. Особенно много огорчений доставлял А. И. Тургенев. Он писал ей и Жуковскому письма, полные горькой мольбы о любви, доказательств, что, уйдя от мужа, она будет счастлива с тем, кто любит ее, как никто в этом мире.

Все уговоры Жуковского, приводившего в пример свою судьбу, подчиненную долгу во имя любимой Маши, для Тургенева казались неубедительными. Он забросил все и отдался сполна своему горю. Часто писал письма Жуковскому и Саше, пытался выяснить отношения, которые только для него оставались еще неясными. И наконец, поняв, что никаких отношений, кроме дружеских, Воейкова от него принять не может, он пишет Жуковскому: «...я многое обдумал ночью... Первое чувство и теперь единственное:

все в жертву ей. Люблю ее неизъяснимо и люблю попрежнему и сильнее прежнего. Всегда желал ей блага — и в ее благе только находил собственное. Ошибался, мучился, сходил с ума; многого она не знала — и худо судила меня, обвиняла в сердце своем, и я несчастлив так, как никогда не бывал... У ног ее прошу прощения, если любовь может быть виновата. Покажи ей это письмо. К ней писать не могу... Буду любить и помнить ее до гроба, любил, как никогда и никто ее не любил...»

Тургенев исполнил свою клятву «любить ее до гроба». Но в одном он только ошибался, что никто ее так не любил. То же чувство испытывал к Саше генерал-лейтенант В. А. Перовский. Но он имел мужество скрывать свое отношение, о нем стало известно только после ее смерти. Перовский, так же как и Тургенев, навсегда остался с этой любовью в душе и никогда не женился.

Воейкова живо интересовалась изящными искусствами, неплохо играла на фортепиано, немного пела и очень любила рисовать, но всему предпочитала литературу, и в особенности поэзию. В ее альбомах сохранилось немало интересных автографов Баратынского, Языкова, Дельвига, Рылеева и других поэтов. Здесь же можно увидеть весьма талантливо исполненные рисунки, акварели, офорты самой хозяйки альбома и Жуковского. На страницах часто мелькают виды Дерпта.

Александра Андреевна часто ездила в Дерпт — к матери, к осиротевшей племяннице Кате, к Мойеру. В Дерпте она встречала глубокое и трепетное обожание безнадежно влюбленного в нее поэта Николая Языкова:

На петербургскую дорогу
С надеждой милою смотрю
И путешественников богу
Свои молитвы говорю...—

писал он в 1825 году в стихотворении «А. А. Воейковой» и продолжал:

Вы сильны дать огонь и живость
Певцу, молящемуся вам,
И благородство и стыдливость
Его уму, его мечтам.
Приму с улыбкой ваши узы;
Не буду петь моих проказ!
Я, видя вас,— любимец музы,
Я только трубадур без вас.

Словно объясняя последнюю строку своего стихотворения, поэт делится с братом: «Стихи льются, когда пишешь для понимающей прекрасной особы, я тоже пишу и для других красавиц, но они редко меня понимают или совсем меня не понимают и всегда хвалят, между тем как я чувствую, что они не чувствуют,— и тогда я не трубадур, а труба дур!»

Поэт считал Воейкову настоящей ценительницей поэзии, восхищался ее чутьем и вкусом. Но не только он «смотрел на петербургскую дорогу». Товарищ Языкова по университету, годом моложе его, двадцатилетний Андрей Тютчев посвятил Александре Андреевне романтические стихи:

С разочарованной душою
В пустыне дикой странник жил.
Он всем пожертвовал покою,
Всему земному изменил...
    Тогда с небесною красою
    Явилась дева в той стране,
    Как призрак, созданный во сне
    Очаровательной мечтою...

Воейкова, которой к тому времени было уже тридцать, подарила влюбленному юноше свою перчатку. По поводу этого подарка Языков написал другу полушутливые стихи:

Каким восторгом ты пылаешь,
Как радостны твои мечты,
Когда подарок красоты
Устами жадными лобзаешь!..
А я — напрасно я Киприду
Моей богинею назвал:
Одну печаль, одну обиду
Мне подарил мой идеал.
Дай руку: с гордостью спокойной
На победителя смотрю
И, стиснув зубы, говорю
Обет, изменницы достойный.

Все сочинения, написанные Николаем Языковым в Дерпте, проникнуты любовью поэта к Воейковой. Он сам говорил об этом:

Забуду ль вас когда-нибудь
Я, вами созданный? Не вы ли
Мне песни первые внушили,
Мне светлый указали путь
И сердце биться научили?

В послании «А. Н. Вульфу» он признается:

Она меня обворожила:
Какая сладость на устах,
Какая царственная сила
В ее блистательных очах!
Она мне все: ее творенья —
Мои живые вдохновенья,
Мой пламень в сердце и стихах.
И я ль один, ездок Пегаса,
Скачу и жду ее наград?
Разнобоярщина Парнаса
Ее поет наперехват —
И тайный Глинка, и Евгений,
И много всяческих имен...
О! слава богу! я влюблен
В звезду любви и вдохновений!

В Тригорском, куда летом 1826 года Языков приехал в гости к Вульфу, он познакомился с Пушкиным. Поэты подружились. Они были молоды и поверяли друг другу сердечные тайны, выражая нередко свои чувства в стихах. Пушкин, несомненно, слышал восторженные отзывы Языкова и Вульфа о Воейковой. Позднее, вспоминая чудесные дни, проведенные в деревне, Языков писал:

Мы друг другу объясняли
Сердца тайные печали
И желания свои...

Казалось, пути Воейковой и Пушкина обязательно должны были бы пересечься. Александра Андреевна высоко ценила стихи Пушкина, переписывала их к себе в альбомы. В одном из них сохранилось стихотворение поэта, записанное рукой его брата Льва Сергеевича. Известно, как заинтересовало Воейкову письмо Пушкина к Вяземскому, в котором поэт признает огромное влияние на него творчества Жуковского. Письмо это датировано 25 мая 1826 года и уже через несколько дней переписано Александрой Андреевной.

Но встретиться им было не суждено. А. А. Воейкова вернулась из Дерпта в Петербург, когда Пушкин был уже в ссылке. В мае же 1827 года, когда поэт возвратился в Петербург, она жила в Царском Селе, а Жуковский, который мог бы их познакомить, находился за границей.

После долгой болезни, томимая тяжелыми предчувствиями, исполненная беспокойством и тревогой о своих четверых маленьких детях (Катя, Саша, Андрей и Маша), Воейкова 21 августа 1827 года выехала вместе с детьми лечиться за границу. Провожал их только Перовский, А. И. Тургенев был за границей. И. И. Козлов написал ей в альбом прощальные стихи:

Не смерть, разлука нам страшна,
Одной лишь ею дух метется,
И связь сердец не прервана,
Хотя цепь жизни уже рвется.

Эти последние годы ее жизни наполнены огромным духовным содержанием, которое коснулось всех ее прежних друзей и многих новых, которые появились за границей.

Еще задолго до отъезда в Италию, когда злая болезнь (туберкулез легких) еще не давала о себе знать, Саша часто задумывалась о жизни и смерти. Смерть самого близкого друга — Маши усугубила эти раздумья. «Как непонятна идея смерти: человек приходит в мир, страдает и радуется, немного пробегает по свету, и кончено — он умирает, его забывают даже те люди, которые ему делали наибольшее зло или наибольшее добро. Самая любящая душа, та, которая имела наиболее силы, исчезает без вечного следа — не возвращаясь никогда к человеку, которого она любила больше всех!..» — записала Воейкова в один из своих альбомов.

А в другой раз, в Дерпте, восклицает: «В настоящее время нет места, где бы я чувствовала себя хорошо, кроме могилы моей сестры! Там мое будущее, которого я не боюсь!»

«Светлана» не надеется на долгую жизнь и, как бы предугадывая свою раннюю кончину, подчеркивает строки в одном французском стихотворении: «Моя жизнь — ужасная буря, которая не может быть продолжительна».

Лишь 12 сентября Воейкова с детьми добралась до Берлина и там встретилась с Жуковским. Они много гуляли вдвоем, вспоминали, разговаривали и не знали, что видятся в последний раз. Дальше для «Светланы» остается только переписка со своими близкими. При чтении ее писем понимаешь, что литературный дар, живший в крови рода Буниных, пере-

шел и к ней. В письмах поражают не только живые описания красот природы и архитектуры, но и оценки истинной, полной доброты и участия ко всему сущему души «Светланы».

Ко 2 декабря 1827 года семья Воейковых переехала на юг Франции, в маленький городок Гиер, климат которого считался оздоровительным. Сначала ей стало лучше, но весной наступило сильное ухудшение. Пошла горлом кровь. Приехал старый друг их семьи еще по Дерпту доктор Карл Карлович Зейдлиц. Он увез всю семью в Женеву. В начале 1828 года Воейкова, будучи в восхищении от природы Швейцарии, писала в письмах Жуковскому и матери, что «в Женеве полюбила жизнь, но и как будто примирилась со смертью. Что же Там, если здесь, на земле, так хорошо?»

Вскоре по приезде Александра Андреевна познакомилась с известным ученым и писателем Карлом Бонштетеном, которому ее рекомендовали Жуковский и Тургенев, знавшие его лично. Дружба с 84-летним ученым-идеалистом очень радовала. Он уделял семье Воейковой много внимания. Вместе они совершали прогулки, катались по озеру, бывали в обществе интересных людей. Она писала, что все в Женеве ее «на руках носят» и что сделалось даже модным ее любить. Она стала прежней — веселой, остроумной, жизнерадостной «Светланой». Но это продолжалось недолго. Наступила осень, стало холодно и надо было перебираться в Италию. Остановку сделали в Пизе.

Начались ее последние земные дни, о которых мы знаем по рассказам доктора К. Зейдлица и графа Ксавье де Местра, который случайно оказался в этом городе. И тот, который много лет назад сделал портрет-миниатюру с «прекрасной креолки» — молодой Надежды Осиповны Пушкиной, теперь рисовал умирающую «Светлану». Она сидит в глубоком

кресле, в подушках, белая шаль покрывает голову. В ее огромных глазах бесконечная печаль и покорность судьбе.

Наступил новый 1829 год. Часы отстукивали время беспощадно. «Светлана» готовилась к смерти. Она умерла в феврале, не дожив до 34 лет. Когда пришло письмо Жуковского, оно уже не застало ее в живых. Воспитатель ее души и друг всей жизни писал ей: «...не для того, чтобы разжалобить или потревожить тебя моею печалью, пишу я в такую минуту. Я знаю, что в смерти нет для тебя ничего страшного. Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благословляю тебя! Я знаю, что ты спокойна и светла...»

Через несколько дней Жуковский получил письмо К. Зейдлица: «Милый дорогой друг и брат! Предчувствуете ли вы ужасное событие? Не говорит ли вам ваше сердце, что что-то у него похищено на этом свете?.. Прекрасная душа нашей дорогой Александры возвратилась в свою отчизну...»

Целый том писем можно составить из той переписки, где друзья Воейковой сообщали друг другу о невозвратимой потере. В письме к А. И. Тургеневу Жуковский короткими штрихами обрисовал характеры обеих сестер Протасовых: «Их души были одинаковы, писал он, хотя в разном образе, и можно сказать, что между их могилами та же разница, какая между их наружностью. Для одной умершей небо Лифляндии, тихий уголок подле большой дороги, за которою поле, покрытое жатвою; природа простая и приятная, как ее тихие свойства, над другою голубое небо Италии с его яркими звездами и благовониями юга, очаровательными, как ее милое, восхитительное ребячество, как поэзия ее сердца».

Тургенев получил известие о смерти Воейковой в Лондоне, еще ранее приведенного выше письма

Жуковского. Он немедленно написал своему другу, называя «Светлану» «милым, улетевшим ангелом». Снова воспоминания утраченного счастья всколыхнули душу и перед ним предстало все прошлое, такое бурное и такое печальное...

Грустно встретил известие о смерти своего верного друга И. И. Козлов. В годовщину ее смерти (февраль 1830 года) он посвятил стихи памяти той, что примирила его с несчастьем:

Кругом гроза, но ты была со мной,
Моя судьба душой твоей светлела,
Мне заменил твой дружеский привет
Обман надежд и блеск веселых лет;

Теперь с тобой надолго разлучен;
Но дружбою, но памятью твоею,
Как воздухом душистым, окружен,
Я чувствовать и думать не умею,
Чтоб чувств и дум с тобой не разделять.

В уме моем ты мыслию высокой,
Ты в нежности и тайной, и глубокой
Душевных чувств, и ты ж в моих очах,
Как яркая звезда на темных небесах...

И стихи о «Светлане» горестно обрываются...

Прошел еще один год. Жуковский, Перовский, Зейдлиц и другие друзья «Светланы» заботились о ее четверых сиротах. А. Ф. Воейков остался в стороне и не участвовал в устройстве судьбы своих детей.

В дневнике А. И. Тургенева записано 19 октября 1831 года: «Слушали до трех часов утра стихи Языкова о милой «Незабвенной».

Николай Языков, который так и не смог забыть своей первой возвышающей душу любви, в 1831 году посвятил памяти А. А. Воейковой одно из лучших лирических стихотворений:

Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремило самовластно
На видный путь и чистые дела;
Он чувствовал: возвышенные блага
Есть на земле! Есть целый мир труда
И в нем — надежд и помыслов отвага,
И бытие привольное всегда!
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел ее под небом лучших лет...
Она всего поэта понимала,—
И горд, и тих, и трепетен, поэт
Ей приносил свое боготворенье;
И радостно во имя божества
Сбирались в хор созвучные слова,
Как фимиам, горело вдохновенье!

Память об Александре Андреевне благоговейно хранили все, кто ее знал. В апреле 1833 года в Ливорно поклониться ее праху приехал В. А. Жуковский. Он заказал для ее могилы точно такое же надгробие, какое было на могиле ее сестры Маши в Дерпте.

ЛИЦЕЙСКИЕ ГЕРОИНИ

В посвященной воспитанникам лицея «Прощальной песне» Антона Дельвига есть слова:

> Храните, о друзья, храните
> Ту ж дружбу с тою же душой.

И этот завет был выполнен всеми бывшими питомцами первого выпуска.

Но не только память дружбы, но память поклонения и влюбленности, которые питали они к сестрам своих соучеников и другим девушкам, окружавшим их в юности, не померкла с годами. Те, с которыми они вместе росли, посвящая им стихи и музыкальные произведения, оставались немеркнущим идеалом юности, сохраненным в душевной памяти.

По-разному сложились судьбы тех, кого называют «лицейскими героинями». При одних только этих словах перед нашим мысленным взором возни-

кает прежде всего Катенька Бакунина. В эту девушку, сестру своего однокашника, были влюблены многие лицеисты «пушкинского выпуска» и, прежде всего, сам будущий великий поэт России. Легко представить себе эту юную особу, которую рисовали и писали многие художники. Наиболее интересен рисунок карандашом лучшего портретиста первых десятилетий XIX века О. А. Кипренского. Портрет, созданный в 1813 году, представляет собой легкий набросок, в котором художник проявил себя виртуозом. Катенька Бакунина изображена в профиль, с небрежно причесанными, заколотыми кверху и перевязанными лентой волосами. Лицо нежное и задумчивое, чуть вздернутый носик и мечтательные глаза... Она находится как бы наедине с собой, погруженная в неясные мечты юности. Это типичный камерный, интимный портрет, который отличает виртуозное мастерство, доносящее до нас «черты живые», вдохновившие и художников, и поэтов. Пушкин пишет послание «К живописцу» в 1815 году, которое посвящает лицейскому художнику А. Д. Илличевскому, также влюбленному в Бакунину:

Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;
Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,—
Улыбку радости небесной
И взоры самой красоты...

Лицеисты пришли в восторг от этого стихотворения, и Н. А. Корсаков написал к нему музыку. Юноши в полном смысле слова пели славу предмету своего поклонения.

Катенька Бакунина появилась в Царском Селе в 1815 году. Она приезжала в Лицей вместе с матерью,

бывала на лицейских балах. Многие ждали ее приходов, но, наверное, нетерпеливей всех — Пушкин. В его дневнике 29 ноября 1815 года записаны взволнованные строчки: «Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно, встречаюсь с нею на лестнице,— сладкая минута!.. Как она мила была! как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! какое положенье, какая мука!.. Но я был счастлив 5 минут!..»

Итак я счастлив был, итак я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!..

Свою любовь юный поэт не смог утаить от товарищей. «Первую платоническую, истинно поэтическую любовь возбудила в Пушкине Бакунина,— рассказывает лицеист С. Д. Комовский.— Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение производили всеобщий восторг во всей лицейской молодежи».

Позднее в воспоминаниях И. И. Пущин упоминал, что «сердечко» Пушкина «страдало» по Бакуниной,— но неравнодушен к ней был и сам пишущий эти строки. В 1816 году в аттестации директора Лицея Е. А. Энгельгардта Пущин выглядит следующим образом: «Он с некоторого времени старается заинтересовать собою особ другого пола, пишет отчаянные письма и, жалуясь на судьбу, представляет себя лицом трагическим...» Пущин писал Бакуниной письма, Пушкин посвящал ей стихи. Другие товарищи старались не

отставать от них. Кроме того, они преподнесли Катеньке Бакуниной ноты со стихами Пушкина «К живописцу» с посвящением и шуточной припиской: «Трудами императорского царскосельского Лицея».

Ее поклонником был и сын бывшего директора Лицея — Иван Малиновский. Недаром в 1825 году Пушкин напомнил Пущину и Малиновскому:

Как мы одну все трое полюбили
Наперсники, товарищи проказ...

В стихах «К живописцу» и «Слезы» прослеживается зарождение любви. Любовь еще не стала для него заветной тайной. Несколько элегических посланий, написанных в 1816 году, связаны между собой единством грустных размышлений. Любовь постепенно становится тайной сердца. Вспыхивают и гаснут надежды на взаимность. Но каждая встреча, даже мельком, или самый незначительный разговор имеют значение важного события.

Пушкин воспевает платоническую, возвышенную любовь:

Что вы, восторги сладострастья,
Пред тайной прелестью отрад,
Прямой любви, прямого счастья!

Юноша страдал, его мучили «виденья счастья» во сне, но «мне дорого любви моей мученье...», говорит поэт. Разлука усилила печаль, однако платоническое чувство побеждало страсть:

О, милая, повсюду ты со мною,
Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною —
Я все тебя, прелестный друг, ищу...

Е. П. БАКУНИНА.
Автопортрет.
1816 г.

Бакунина жила в Царском Селе летом, а осенью его покидала. Пушкин в тоске предается воспоминаниям:

> Уж нет ее... я был у берегов,
> Где милая ходила в вечер ясный;
> На берегу, на зелени лугов
> Я не нашел чуть видимых следов,
> Оставленных ногой ее прекрасной...

Осенью многие уезжали в Петербург, и А. А. Дельвиг пишет своей тетушке (6 октября 1816 года) — «сад сетует, не видя прелестных петербургских дам, которые целое лето жили в Царском Селе, и срывает с себя зеленую одежду. Мы ходим под шумом опустошенных деревьев и забавляем себя прошедшим и будущим... Теперь все молчит и отвечает грустными и пустынными видами нашему унылому сердцу».

Вслед за влюбленным поэтом хочется увидеть «черты живые». В рисованном портрете П. Ф. Соколова (1816 г.) изображена милая девушка, которая знает, что нравится многим. Она играет со статуэткой амура, думая, быть может, о тех, кто сражен его стрелой.

Бакунина хорошо рисовала и оставила автопортрет (1816 г.), который хранится теперь во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. Портрет выполнен итальянским карандашом в строгой академической манере, очень тщательно.

В 1817 году Екатерина Бакунина становится фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Род юной фрейлины знатный и старинный. Отец Павел Петрович — камергер и дипломат. Мать Екатерина Александровна, урожденная Саблукова,— дочь сенатора. И поэтому естественно, что красивая, изящная и талантливая Екатерина Павловна сразу стала заметной при дворе. Вероятно, она —

та «красивая фрейлина Б.», упомянутая во многих мемуарах, которая отличалась в мазурке на придворных балах, где рядом с ней блистали Аглая Давыдова (урожденная герцогиня де Граммон) и Екатерина Раевская, также воспетые Пушкиным.

Но самую долгую память все же оставляет, по собственному признанию поэта, первая любовь. «Первая любовь,— писал он в 1830 году,— всегда дело чувства, чем они были глупее, тем больше останется сладостных воспоминаний».

И не раз он впадал в отчаяние из-за неразделенной любви:

Все кончилось, одну печаль я вижу...

Он ревновал: она при дворе со всеми его соблазнами. Юного поэта убивала мысль о неизвестном счастливце, удостоенном ее внимания. Он сравнивает себя с ним:

Пускай она прославится другим!
Один люблю,— он любит и любим...

Но прославилась Бакунина только влюбленностью Пушкина. И позднее это хорошо осознавали и она сама, и ее потомки, бережно хранившие все, что было связано с памятью о поэте, и в том числе мадригал, поднесенный ей в день ее именин 24 ноября 1819 года:

Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей:
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.

Как-то Пушкин переписывал для нее стихи Вяземского «Прощание с халатом», да так и не окончил, и все же автограф бережно хранили в семье. Это было в 1817 году, когда увлеченность немного

прошла. Оставались воспоминания и грусть о прошедшем:

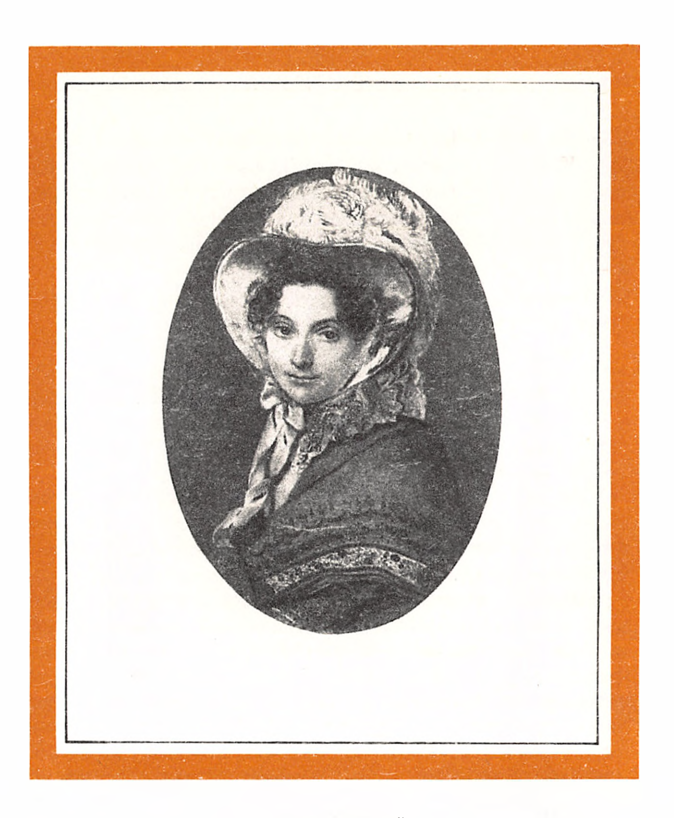
Пройдет любовь, умрут желанья;
Разлучит нас холодный свет;
Кто вспомнит тайные свиданья,
Мечты, восторги прежних лет?..

Теперь его сердце могло возвратиться к лицейским друзьям. Общая любовь к милой девушке не поссорила их:

Опять я ваш, о, юные друзья!
Туманные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.
Все те же вы, но сердце уж не то же:
Уже не вы ему всего дороже,
Уж я не тот...

И тем не менее существовала еще одна лицейская героиня — Наташа Кочубей, которая также сыграла роль в жизни юного поэта, правда, не такую, как Бакунина. Знакомство и встречи юного Пушкина с ней относятся к первым годам его пребывания в Лицее. Позднее в набросках программы автобиографии появилась помета «Гр. Кочубей». 1812—1813 годами датирует Пушкин свои первые встречи, когда семья всесильного министра В. П. Кочубея проводила летние месяцы на даче в Царском Селе.

1813 годом датирован и известный портрет Н. В. Кочубей, нарисованный О. А. Кипренским, который теперь можно увидеть во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. Портрет Н. Кочубей тщательно проработан в целом и в деталях. Тонкая моделировка лица и шеи контрастирует с широкой косой параллельной штриховкой, при помощи которой он передает фон. Свой излюбленный материал — итальянский карандаш, обладающий богатой гаммой тональных градаций и чрезвычайной мягкостью бархатистой фактуры,



Н. В. КОЧУБЕЙ.
Портрет П. Ф. Соколова.
1821 г.

художник здесь дополняет пастелью, оживляя рисунок легкими цветовыми акцентами. Это скорее подцветка карандашного рисунка, чем общее живописное решение. Чистые пастельные тона: розовым тронуты губы, синим — шаль. Они соотнесены с теплыми охристыми оттенками лица и шеи. Большой светлый воротник выделяется на темном фоне быстрых энергичных карандашных штрихов.

Время создания этого шедевра совпало с расцветом искусства графического портрета у Кипренского. От наброска он шел к более проработанным рисункам и, подчеркивая их значимость, подписывал своей монограммой, которая обозначена на портрете Кочубей в левом верхнем углу.

Одухотворенность, живая непосредственность, тонкость душевных переживаний роднит женские портреты Кипренского с любимой героиней Пушкина Татьяной Лариной.

Образ, созданный в 1813 году, созвучен Татьяне — девочке скромной, боязливой, мечтательной, живущей напряженной жизнью в мире возвышенных чувств. О реальной Наташе Кочубей пишет друг ее отца М. М. Сперанский (в ответ на письма своей дочери): «Молодая графиня, я думаю, просто боязлива и застенчива, сие нередко встречается в самых обширных обществах...» Застенчива, скромна, но изящна и очаровательна... Позднее Сперанский замечал: «Я видел тут в первый раз Наташу во французской кадрили, воплощение грации...» И как бы дополняя ее портрет, один из современников сказал: «Она довольно красива, полна талантов и отлично воспитана».

По лицейским преданиям, Н. Кочубей стала героиней стихотворения Пушкина «Измены», относящегося к 1815 году. М. А. Корф высказывал предположение, что «едва ли не она (а не Бакунина) была первым предметом любви Пушкина». Подтверждение

словам Корфа можно найти в так называемом «Донжуанском списке», «N. N.»— возможно, относится к Н. Кочубей. Однако Корф был не совсем прав: по-настоящему впервые Пушкин влюбился в Бакунину и считал, что изменил своему первому увлечению. В стихотворении «Измены» он с грустью выразил это:

Все миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В мире забвенья
Скрылися вы...
Ах, возвратися,
Радость очей,
Хладна, тронися
Грустью моей.
Тщетно взывает
Бедный певец!
Нет! Не встречает
Мукам конец...

Может показаться, что увлечение прошло и Наташа Кочубей забыта, однако где-то в глубине души ее образ остался навсегда. При работе (1834—1835 гг.) над романом «Русский Пелам», который должен был, по замыслу поэта, дать широкую картину жизни русского общества 1820-х годов, он ввел в число основных героев Н. Кочубей и ее отца. В планах они носят то свою фамилию, то Чуколей. Пушкин собирался сделать Н. Кочубей положительным образом романа. Она, пренебрегая мнением света, посылает дружеское и ободряющее письмо отвергнутому обществом герою: «Нат. К. [очубей] — вступает с Пелымовым в переписку, предостерегает его...»

В последние годы жизни поэта они часто встречались в петербургском большом свете. Она уже была непохожа на ту давнюю девочку. Жена министра

внутренних дел А. Г. Строганова, по словам известного историка С. М. Соловьева, «...умевшая владеть разговором, очень недурная собой... с огромными связями, как дочь Кочубея, держала блистательную министерскую гостиную...». Портреты П. Ф. Соколова и более поздний А. П. Брюллова раскрывают грани очарования этого образа, уже не соответствующего портрету Кипренского. В этих акварельных портретах изображена молодая дама с очень живым активным характером, кокетливая и уверенная в себе. Но какая-то неуловимая грусть в глазах — может быть, той неудовлетворенностью жизнью, которая пришла к ней с возрастом.

Прошли годы. Но Пушкин неоднократно возвращался в мыслях к своему отроческому увлечению Наташей Кочубей и к воспоминаниям о первой любви к Катеньке Бакуниной.

Портреты кисти П. Ф. Соколова, написанные уже в конце 1820-х— начале 1830-х годов, говорят о том, что с годами Бакунина сделалась еще очаровательнее. И примерно в это время в черновых набросках к «Евгению Онегину» поэт вспоминает свою первую любовь:

В те дни... В те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безмятежно,
Томясь обманом пылких слов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал,
И счастье тайных мук узнал...

Со времен службы при дворе осталось несколько альбомов с портретами, исполненными талантливой ученицей А. П. Брюллова. Бакунина не была обыкно-

венной светской дамой, она имела талант и красоту, которую ценили многие. Она исполнила несколько заказных портретов акварелью, и эти заказы ей по дружбе помог получить В. А. Жуковский. С Жуковским связан у нее один милый эпизод, о котором она сделала пометку в своих записях. У поэта-романтика была всем известная в то время баллада, в которой описывается, как «одна старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди?». А был этот мрачный всадник — дьявол, которого поэт даже не рискнул назвать по имени. Он-то и увез «грешную старушку», хотя за нее молились сын-монах и целый духовный клир. Этой балладой и воспользовался один из поклонников фрейлины и написал шутливый мадригал:

Старушка хоть колдунья,
Но не спаслась от дьявольских когтей.
Зачем попов звала она, болтунья,
И ставила дьячков с кадилом у дверей?
Просить бы ей тебя в час похорон явиться,
И бес не одержал над ней бы торжества!
Что делать тут ему?— Смириться;
В присутствии он божества!

Бакунина долгое время продолжала оставаться предметом вдохновения многих поэтов.

Но, как и всякой женщине, ей хотелось счастья. И 9 марта 1834 года Надежда Осиповна Пушкина сообщала дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: «...как новость скажу тебе, что Бакунина выходит за господина Полторацкого, двоюродного брата госпожи Керн, свадьба будет после пасхи. Ей 40 лет (Бакуниной было 39 лет, жениху —42 года.— *Авт.*), он немолод, вдов, без детей и с состоянием, говорят, он два года как влюблен...»

Две женщины, воспетые Пушкиным, породнились. Есть предположение, что Пушкин был на свадьбе, о которой писал жене в тот же день, 30 апреля.

Бакунина прожила с мужем 21 год, имела сына и дочь. И уже будучи вдовой, в 1858 году писала дочери: «Иван (муж дочери.— *Авт.*) так добр, он так тебя любит, и ему будет приятно выполнить не только твои желания, но даже твои фантазии. Его любовь к тебе напоминает любовь твоего отца, который говаривал мне: «Пожелай же чего-нибудь, моя Катя!»

В 1837 году она уехала с мужем в глухую деревню Рассказово Тамбовской губернии и жила там безвыездно, воспитывая своих детей Александра и Екатерину. Она хотела, чтобы сын носил имя отца; он — чтобы дочь повторила во всем, начиная с имени, свою мать. В высшем свете многие были удивлены ее отъездом в отдаленную деревню. «...Она похоронила себя где-то в деревне,— писал М. А. Корф.— Этот брак лишил ее фрейлинского жалованья 3900 рублей ассигнациями». Но тут же добавляет: «Но по отзывам близких — они счастливы».

Бакунина действительно была счастлива. Фрейлина А. С. Шереметьева писала о ней по выходе замуж: «Она так счастлива, что плачет от радости». Но в своем упоении новой для нее жизнью Екатерина Павловна не забывала старых друзей. В феврале 1853 года И. И. Пущин пишет своему лицейскому товарищу: «В последнем письме Лиза (сестра Пущина) мне посылает поклоны от Екатерины Павловны Полторацкой, в наше время Бакуниной, ты, верно, ее видишь. Скажи ей слово дружбы от меня».

Екатерина Павловна переписывалась с друзьями юности и много рисовала. По-прежнему увлекалась созданием портретов. Ее духовная жизнь была насыщенной. И после смерти мужа она любила возвращаться в Рассказово, жила там одна и переписывалась с детьми: «Вот я опять, друзья мои, в том месте, где началась наша супружеская жизнь и где я прове-

ла 21 год счастливейшей моей жизни. Желала бы вам передать в наследие эти блаженные минуты прошедшего времени».

Однако вернемся к 1834 году...

В том же письме, где мать Пушкина сообщает решение Бакуниной стать супругой Полторацкого, есть и другие интересные строчки: «Говорила ли я тебе, что Иван Малиновский женится на м-ль Пущиной (Марии Ивановне, сестре И. И. Пущина.— *Авт.*), с которой знаком 20 лет? Анна Андреевна (Самборская, тетка Ивана Малиновского по матери.— *Авт.*) приехала только что из Ревеля со своими новобрачными Вольховскими. Свадьба Марии Васильевны (младшей сестры Ивана Малиновского.—*Авт.*) и Ивана Васильевича (Малиновского.— *Авт.*) совершилась в один день, теперь все семейство в сборе, они очень счастливы, и Анна Андреевна радуется их блаженству; через три недели она едет в Тифлис с Вольховскими и маленьким Энни (сын старшей сестры Малиновского, Анны Васильевны, и А. Розена — декабриста.— *Авт.*), который прелестен».

Сколько за строчками этого письма лиц и событий, судеб и союзов! В один день совершились бракосочетания двух лицейских друзей — Малиновского и Вольховского. Их жен также можно назвать «лицейскими героинями», которых с детства знали все их соученики. Эти браки подтверждали прочность «лицейского братства». Союз друзей, где отечество — Царское Село, роднил и членов их семей. Очевидно, духовная близость играла не последнюю роль при совершении этих браков.

Дом первого директора Лицея В. Ф. Малиновского стал родным для всех его питомцев. И всегда, когда они приходили туда вместе со своим однокашником — сыном директора Иваном Малиновским, их встречали две его сестры — Елизавета и Анна. Они были ровесницами лицеистов. Третья сестра,

Мария, была еще маленьким ребенком, и ее будущий муж Вольховский мог качать ее на руках.

Лицеистов тянуло в дом Малиновских. Лишенные домашнего тепла, подростки находили его в дружной семье директора. А. Горчаков, юноша сдержанный, однако восторженно писал своему дяде А. Н. Пещурову через месяц после поступления в Лицей, что словами трудно выразить, какой прекрасный человек Малиновский, как он любит воспитанников и не делает разницы между ними и собственным сыном. Это письмо относится к концу 1811 года, а менее чем через год семью Малиновского постигло большое горе — умерла его жена Софья Андреевна, младшая дочь Андрея Афанасьевича Самборского.

Надо отметить, что в вопросах нравственных и педагогических В. Ф. Малиновский был единомышленником своего тестя. И когда 23 марта 1814 года Василий Федорович скоропостижно скончался, его похоронили рядом с ним на Охтинском кладбище. Осиротевших детей взяла к себе незамужняя старшая дочь Самборского — Анна Андреевна. Они жили в Царском Селе, и поэтому общение с семьей директора у лицеистов не прерывалось. Дом их был одним из тех, где, как вспоминал И. И. Пущин, «Лицей имел права гражданства».

И если воспитанники посещали многие места, где давали домашние танцевальные и музыкальные вечера или театральные представления, то в доме А. А. Самборской они получали большее — домашнее тепло, заботу. И общение с воспитанными, добрыми и образованными девушками.

Новый директор Лицея Е. А. Энгельгардт не лишил воспитанников светских развлечений и женского общества. В пикниках и катаниях с гор и на коньках, в домашних вечерах часто участвовали дамы из семейства директора и родственницы воспитанников.

«Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — опасная приманка и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок,— отмечал Пущин,— от сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывал, что успехами можно порадовать предмет воздыханий».

И если все-таки Бакунина и другие девицы и молодые дамы становились «предметом воздыханий», то с сестрами Малиновского лицеистов связывала прочная и давняя дружба. Сохранился конверт со следующей надписью: «Рисунки воспитанников Лицея 1-го курса, подаренные ими в знак памяти Анне Андреевне Самборской, которая всегда радушно принимала их всех и не раз угощала их на даче Александровка...» Рисунки, к сожалению, утеряны. Но нам важна эта надпись потому, что она подтверждает частое семейственное общение лицеистов с дочерьми Малиновского.

Какими же видели их юноши незадолго до своего выпуска в 1815—1817 годах? Известен единственный портрет Анны Васильевны Малиновской, хранящийся ныне у ее потомков. Лицо открытое. Очень светлые глаза смотрят вопросительно и доверчиво. Украшением всех женщин рода Малиновских были густые косы, у Анны они короной уложены в прическу. Гибкая шея, красивые плечи подразумевают высокую, стройную фигуру. Невольно думаешь о том, почему среди знавших ее лицеистов ни один не предложил руку и сердце такой прелестной девушке.

Судьба предрекла Анне Малиновской жизнь, полную испытаний и большой самопожертвованной любви. Вот что пишет избранник ее сердца, будущий декабрист Андрей Розен: «В конце августа 1822 года сослуживец мой И. В. Малиновский ввел меня в круг

своего семейства... Три сестрицы его, круглые сиротки, жили тогда в доме дяди со стороны отца П. Ф. Малиновского с единственной теткой своей со стороны матери А. А. Самборской. Я рад был познакомиться с молоденькими девушками... И хотя тогда не имел никакого намерения жениться, но средняя сестра Анна своей наружностью, голосом, одеждой вызвала во мне чувство безотчетное. Прошло 45 лет с тех пор, но я как сейчас ее вижу: большого роста, тонкая талия, которая казалась еще тоньше от широких бедер и высокой девственной груди, узенькие руки челночками, с длинными пальцами. Такие руки встречал я на статуях Дианы, Венеры или египетской царицы Клеопатры. Правильный носик, полные губки, просящие поцелуи, и большие голубые глаза, чрезвычайно застенчивые. Нельзя не вспомнить сейчас стихов Пушкина, хотя в то время я еще не читал их:

Как лань лесная — боязлива,
Скромна...

Она говорила и читала по-английски (ее бабка по матери была англичанка) и по-французски всю лучшую иностранную литературу, а из русских писателей восхищалась Карамзиным и Жуковским. Но в то время я не мог ценить так ее качеств ума, потому что только потом, в изгнании, в Сибири, в кругу образованнейших товарищей, цвета людей того времени, я успел завершить свое духовное развитие. Меня только ослепила ее красота и скромность...»

Два с половиной года взаимной склонности привели к тому, что 14 февраля 1825 года Розен решился просить руки Анны Васильевны Малиновской. «Полученное согласие исполнило меня счастьем,— вспоминает много лет спустя Розен,— я почувствовал в себе новые силы. Лихой извозчик умчал меня на Васильевский остров, к казарме. В квартире Ма-

А. В. МАЛИНОВСКАЯ-РОЗЕН.
Портрет неизвестного художника.
1820-е гг.
Публикуется впервые.

линовского еще горели свечи; я вбежал к нему: мы обнялись, как братья. Через минуту вошел другой сослуживец мой Репин (декабрист.— *Авт.*).

— Николай Петрович!— спросил я,— знаешь ли ты, кто из наших товарищей свалился рожей в грязь?— так выражался он обыкновенно, когда извещали его о чьей-нибудь женитьбе.— А кто?— подхватил он с насмешливой улыбкой.— Это я!— Что ты, братец мой, наделал! На ком же?

Когда он узнал, что на сестре Малиновского, то отрекся в этом случае от принятого своего убеждения, велел подать шампанского и искренне поздравил».

Далее Розен описывает, что они жили настолько дружно и согласно, что однажды, возвратившись со службы, Розен удивился, застав жену в слезах. Стал ее расспрашивать, и она сказала, что такое счастье не может быть долговечным и ей страшно. Наверное, это было предчувствием беды, которая наступила вскоре. В ночь на 14 декабря 1825 года Розен посвятил Анну Васильевну в дела тайного общества. Он «мог ей совершенно открыться,— ее ум и сердце все понимали». Утром взвод Розена удержал на наплавном мосту на Неве три роты, которые должны были расправиться с восставшими на Сенатской площади. 15 декабря его арестовали. На допросах он до конца был сдержан, сохраняя выдержку и достоинство.

Анна Васильевна стала большой нравственной поддержкой в его резко изменившейся судьбе. Беременная на последних месяцах, она находила силы гулять около крепости и видеть мужа, издали приветствуя его. 13 мая 1826 года она добилась свидания. Писала мужу бодрые письма. Розен мог сказать об этом стихами Е. П. Оболенского:

О, милый друг, как внятен голос твой,
Как утешителен и сладок:

Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок...

25 июля Анна Васильевна приехала проститься с осужденным на каторгу мужем и привезла сына, названного в честь отца Розена Евгением. «Сын мой шестинедельный лежал на диване и как будто желал утешить нас, улыбался то губами, то голубыми глазками... Я упрашивал жену не думать о скором следовании за мной и выжидать время, когда сын мой укрепится и будет на ногах и когда я извещу о новом пребывании своем. Она безмолвно благословила меня образом, в котором заклеены были тысяча рублей, а потому я не принял его: тогда были деньги для меня бесполезны. Я просил только заказать для меня плащ из серого толстого сукна, подбитый тонкой клеенкою; одежда эта очень мне пригодилась после в дождь и холод. Назначенный час свидания прошел, мы расстались в полной надежде на свидание где и когда бы то ни было».

Все время до отправки, в течение полугода, все родственники Анны Васильевны и она сама хлопотали о том, чтобы снабдить Андрея Евгеньевича в дорогу всем необходимым, меховой шубой и прочими теплыми вещами.

Из Харькова поспешили на помощь тетка Анна Андреевна Самборская и младшая сестра Мария Васильевна, которой в ту пору было шестнадцать лет, но все же, пишет Розен, она лучше всех умела утешить и ободрить его жену.

Мы знаем портрет Марии Малиновской в молодости. Та же корона пышных кос, что у Анны Васильевны, но на этом сходство кончается. Удлиненный овал лица, печальные темные глаза, несколько длинноватый нос и плотно сжатый небольшой волевой рот. Чувствуется, что перед нами девушка, способная на жертву, необычайно серьезная и самоуглубленная.

Она, как и ее старшие сестры, получила блестящее образование. Но все же жизнь ее сложилась печально. В отличие от старших своих сестер и братьев, она совсем не помнила родителей. Очень глубоко пережила трагедию сестры. Она видела, как Анна Васильевна в течение четырех лет добивалась разрешения соединиться с мужем в Сибири и взять с собой единственного сына. Однако повсюду встречала одни отказы. Они довели Анну Васильевну до полного расстройства здоровья, до страшных головных болей, которые все усиливались, и так шумело в ушах, что ей казалось: «она беспрестанно находилась в лесу, в коем бурею качаются ветви и листья». Родные, жалея ее и ребенка, которого все обожали, пытались всячески задержать, не отпустить в «страшную Сибирь». Тетка, ссылаясь на преклонные годы и здоровье, отказалась оставить у себя ребенка, после того как Бенкендорф дал новый решительный отказ.

И тогда двадцатилетняя Мария взяла все на себя. Она, как всегда, сумела успокоить отчаявшуюся сестру и заявила, что оставит Энни (так звали мальчика родные и знакомые) у себя и будет растить его и воспитывать, как родная мать.

«Положено было ехать всем семейством до Москвы,— писал позже в воспоминаниях А. Е. Розен,— чтобы там матери расстаться с сыном, дабы дальнейшие дороги, из коих одна должна была везти мать в Сибирь, а другая — сына в Петербург, могли бы обоим облегчить первые дни мучительной разлуки. В Москве все родственники моих товарищей навещали жену мою с искренним участием... Не беру на себя подробно описать последний день, проведенный матерью с сыном; маленький Евгений был мальчик чувствительный, умный и послушный, мать уже давно приготовила его к предстоящей разлуке, обещала свидание и возвращение. Жена моя... посадила сына в карету и благословила его; когда тронулась карета,

М. В. МАЛИНОВСКАЯ-ВОЛЬХОВСКАЯ.
Портрет неизвестного художника.
1840-е гг.

она села в коляску и из тех же ворот повернула в противную сторону...»

Сколько за этими скупыми строчками беспредельных страданий расстающейся с сыном матери, которая знала, что Мария Волконская и Александрина Муравьева, оставившие сыновей у родных, уже потеряли их навеки. И что должна была чувствовать юная сестра Анны Васильевны, которая принимала на руки маленькое дитя, дав клятву сохранить его, посвятить ему жизнь.

В архиве сохранилось три письма, отправленных по дороге в Сибирь. Письма сберегла Мария Васильевна, ее рукой на конверте, где они хранились, сделана надпись: «Первые письма А. В. Розен по отъезде и прощании в Москве с сыном Евгением, сестрою Марией Васильевной и тетей А. А. Самборской».

Первые два письма лишь осторожно и лаконично дают некоторые известия о поездке. Но третье письмо, написанное в виде дорожного дневника на 14 листах, начатое в Пермской губернии, интересный и новый исторический документ, дает возможность глубже понять образ мыслей и чувств, нравственный облик, духовную красоту, которые светят нам и в отдаленности времен.

Воспоминания не оставляют ее даже во сне: «Я вижу во сне все, что люблю. Я чувствовала, как вокруг моей шеи обвились дорогие маленькие ручки моего Энни. О, зачем я проснулась!.. Я еще чувствую вашу горячую щеку, дорогая тетя, и твою ледяную ручку, дорогая Маша! О, ради бога, берегитесь и не заболейте!..» Любовь к природе, воспитанная с детства, не покидает скорбную путешественницу — Анну Васильевну, сильно тоскующую по оставленному четырехлетнему сыну и сестре: «Как только встречаются красивые виды, я думаю о моей дорогой Маше, поэтому и хочу поделиться впечатлениями с нею... так как она сама меня избаловала и приучила ценить

прекрасное, обращая всегда мое внимание на все красивое... Теперь я в таком настроении, что не могу хорошо определить свои впечатления. В конце путешествия природа казалась мне такой суровой и печальной, но потом меня очаровали эти зеленые ели в глубоких песках, а после Нижнего (Новгорода.— *Авт.*), ближе к Казани,— прекрасные дубовые леса и снова ели, ели и сосны.

Я уже писала, что когда вижу животных, цветы, птичек, то вспоминаю моего ангела Энни, хочу все ему показать, ищу его, но он далеко, и я одна... одна». Так горестно часто прерывались письма.

Она много писала и о том, что преклоняется перед людьми, в которых нередко встречает уважение и сочувствие к чужому несчастью.

Из Тобольска, где она заканчивает это письмо-дневник, ее путь лежал к Петровской тюрьме.

Приезд Анны Васильевны в Сибирь, встреча с мужем на пути из Читы в Петровский завод, буря на Байкале, подвергшая ее смертельной опасности, ее ночевка в бурятской юрте, которая ей так понравилась, потому что наконец над ее головой было ясное небо.

«Это была отличная женщина, несколько методичная,— писала о ней княгиня М. Н. Волконская.— Она осталась в Петровске всего год и уехала с мужем на поселение в Тобольскую губернию». Ее спокойствию и выдержке удивлялись даже жены декабристов, которым также выпало много испытаний на долю. Но все же они чувствовали, что принесли жертву. Анна Васильевна не считала, что приезд в Сибирь является для нее актом самопожертвования. «Жить несколькими градусами севернее или южнее не есть большая разница для людей, не представляющих своего блаженства в одних только чувственных наслаждениях»,— писала она брату Ивану Малиновскому 2 июня 1831 года из ссылки.

В Петровском заводе родился сын, названный в честь Рылеева Кондратием. Закончился срок тюремной жизни 11 июля 1832 года, и Анна Васильевна совершила еще один подвиг жены и матери. С годовалым ребенком, беременная на последнем месяце, отправилась в путь без мужа — чуть раньше срока, чтобы успеть к месту поселения (г. Курган) к родам. И снова судьба была к ней слишком сурова. Неугомонный Байкал пять дней носил их суденышко по своим водам. Ребенок погибал, только чудо спасло бедную женщину — буря стихла неожиданно.

В Иркутске ее догнал муж, и они дали друг другу обещание впредь не разлучаться и сдержали его уже на всю оставшуюся жизнь.

Вспоминая дальнейший совместный путь, Розен пишет: «Почтмейстер города Тары попросил позволения представить нам жену свою. Вошла его супруга, молодая и миловидная, и после наших приветствий муж обратился к ней, взяв ее за руку и указав на жену мою, сказал ей прерывающимся голосом: «Вот, друг мой, прекрасный и великий пример, как должно исполнять священные свои обязанности, я уверен, что ты, в случае несчастья со мною, будешь подражать этой супруге...»

Трудный путь продолжался. На станции Фирсово, не доезжая до Кургана, Анна Васильевна родила третьего сына, названного в честь ее отца Василием.

Три улицы, пересекаемые пятью переулками, два каменных дома, небольшая церковь, две тысячи жителей, пятьдесят учеников училища; за рекой Тоболом кожевенный, салотопный и мыловаренный заводы — вот что представлял собой Курган в годы жизни там Розенов, Нарышкиных, Лорера, Фохта и Назимова — ссыльных декабристов.

Андрей Евгеньевич вел хозяйство, обрабатывал землю. День Анны Васильевны был поглощен детьми

(в Кургане родилась дочь Инна). Она еще успевала заниматься медициной и делала большие успехи. Помогать всем и во всем — главная, по-видимому, черта ее характера, и еще выдержка, не знающая страха и срывов. Детей нужно было не только растить, но и воспитывать. И здесь пригодились те знания литературы, истории, иностранных языков, которые она получила еще в доме отца — первого директора Лицея. Закончив дневные труды и заботы, уложив детей, супруги читали вслух Песталоцци, Фаленберга и другие труды по педагогике.

Дети подрастали... Ждали с нетерпением вестей о старшем сыне. Мария Васильевна действительно во всем заменила ребенку мать. Энни обожал ее и считал своей родной матерью, хотя ему всегда и много рассказывали о родителях, живущих в Сибири.

Как известно из письма Надежды Осиповны Пушкиной (подруги Анны Андреевны Самборской), в 1834 году в жизни Марии Малиновской произошли большие и радостные перемены.

Как и все дети первого директора, так и многие бывшие лицеисты оставались верными его заветам: «жить для общей пользы».

Женившись поздно, оба друга — Вольховский и Малиновский сознательно выбрали себе жен из семей, пострадавших за дело декабристов и разделявших их прогрессивные взгляды.

Иван Малиновский поселился с женой в деревне под Харьковом и в течение многих лет избирался предводителем дворянства Изюмского уезда. В своей деятельности он показал себя «защитником вдов и сирот», всячески стараясь облегчить участь крестьян. Он всегда больше думал о других, чем о себе — так единодушно вспоминают современники. В 1837 году дом Малиновских посетила неожиданная, но краткая радость. По дороге из Сибири на Кавказ к ним зае-

хали Розены, сделав большой крюк и воспользовавшись полным незнанием географии чиновниками на почтовых станциях России. Получилось так, что их путь на Кавказ прошел по Украине. Розен вспоминает: «Радостное свидание было и с И. В. Малиновским. Мы застали брата преисполненного любви, в больших хлопотах с предводительским секретарем своим Адарюковым: подорожная была у него в кармане, чтобы ехать к нам на встречу до Саратова. Жена его Мария Ивановна, урожденная Пущина, родная сестра моего товарища (имеется в виду товарищ по заточению.— *Авт.*), согрела нас сердечной любовью. Только и слышно было: располагайте нами и домом. Три дня отдыхали мы в Каменке. Бедная жена моя ужасно кашляла. Костыли мои не позволяли мне много ходить... Дружески увиделись, дружески расстались...»

Много прекрасных людей было загублено по воле Николая I: «Этим господам путь в Россию лежит через Кавказ...» Погибли рядовыми А. Бестужев-Марлинский, А. Одоевский, В. Лихарев и другие.

Вся семья Розенов также могла погибнуть еще в дороге в горах Кавказа. Всеми силами упиралась Анна Васильевна ногами о передний ящик, чтобы не выпасть из наклоненной на спусках коляски и не выронить детей. И когда Розен хотел ехать дальше один и оставить семью в безопасном месте, Анна Васильевна качала головой и своим особо тихим, нежным голосом спокойно отвечала без малейшего упрека: «Я все делила с тобою, мы вместе были в тюрьме, почему же теперь расставаться?..» Она крепко держала слово «никогда не разлучаться».

Наконец они добрались до Тифлиса. И здесь, наконец, встретились с Марией Васильевной и своим первенцем — 12-летним Евгением. У Евгения теперь были приемные не только мать, но и отец — замечательный человек Владимир Дмитриевич Вольховский.

И мальчик несколько настороженно воспринял свою «новую семью».

Розен пишет, что сын не сразу к ним привык... Но с восхищением отзывался о счастье «милой своей свояченицы», которую впервые увидел женою и матерью: «В. Д. Вольховский родственно приветствовал нас и дружески укорял нас за то, что мы не остановились на его квартире; я видел перед собою заслуженного начальника штаба (Вольховский имел тогда чин генерал-майора.— *Авт.*), того же скромного, деятельного, каким он был во всю жизнь, каким готовился быть с самого начала своего трудового поприща, каким я видел его в 1821 и 1822 годах в Вильне и в Родошковичах, где все, которые знали его хорошо в то время, видели в нем мужа с истинными достоинствами и с правом стоять в ряду мужей, описанных Плутархом».

Ничего нет удивительного, что мальчик продолжал тянуться к тем, кто его воспитывал, а не к тем, кем он был рожден. «Тепло и любовь,— пишут потомки Малиновских,— отданные ею (Марией Васильевной.—*Авт.*) племяннику, крепко привязали его к ней». Друг семьи Розенов, находившийся в то время на Кавказе поэт-декабрист А. Одоевский тонко почувствовал сложность ситуации и написал, как бы от имени Энни, стихи приемной матери, оканчивающиеся так:

С отцом и матерью родною
Теперь увиделся я вновь,
Чтоб ввек меж ними и тобою
Делить сыновнюю любовь.

Решено было, что Энни временно останется в семье Вольховских. В 1839 году Вольховский вышел в отставку. Его идейные убеждения и политические взгляды, откровенная дружба и родство с опальными декабристами повлияли на отношение к нему прави-

тельства. Не находя применения своим силам, оторванный от государственных и военных дел, к которым имел особенные склонности и дарования, он тихо зачах в имении жены Каменке, которую уступил им Иван Малиновский, переселившись в находящееся рядом имение своей жены.

Вслед за смертью любимой маленькой дочери Марии весной 1841 года Вольховский скончался на 43-м году жизни. В его гроб жена, в знак верности, положила свои косы, которыми он так часто любовался при жизни. В большой любви, взаимопонимании и согласии прожила Мария Васильевна недолгие годы своего семейного счастья. Самые дорогие для нее существа — дочь и муж лежали в ограде церкви села Каменка. Все, что у нее осталось,— сын сестры. Энни. Он не хотел ее покидать. Замуж она больше не вышла, хотя ей шел всего 32-й год. Она читала и перечитывала письма мужа, и это была ее отрада.

Некоторое время мальчик жил с семьей Розенов, поселившихся в Нарве. Затем его отвезли в Петербург, в Училище правоведения. Мария Васильевна Вольховская отдала Каменку семье Розенов и тоже поселилась в Петербурге, чтобы быть всегда рядом с Энни. В 1840-е годы, может быть по его просьбе, неизвестным художником был исполнен ее акварельный портрет. Темноглазая женщина с ясно очерченными бровями, длинноватым носом, скорбно сжатым ртом. В лице ее только печаль, земные радости для нее кончились. Кажется, что, позируя, она вспоминает что-то теперь уже далекое, отрешившись от настоящего. И прическа, и все детали костюма позволяют отнести этот портрет к первой половине 1840-х годов. На обратной стороне рукой Евгения Розена было написано, что изображена его мать.

Уже в советское время портрет попал в Государственный Исторический музей в Москве. Там по надписи решили, что изображена Анна Васильевна Ро-

зен, и даже определили, что неизвестный художник есть, вероятно, не кто иной, как Николай Бестужев, который писал акварельные портреты всех жен декабристов. Однако портрет относится к 1840-м годам, а в 1832 году супруги Розен и Н. Бестужев расстались и не виделись больше никогда.

Можно предположить, что другой художник писал Анну Васильевну в 1840-х годах. Но достаточно сопоставить этот портрет с портретом девушки, всегда находившимся в медальоне мужа и ныне хранящимся у их праправнучки В. В. Марковой, чтобы заметить, что женщины на портретах разительно непохожи друг на друга — у них разные строение лица и цвет глаз.

Подтверждение своей гипотезе сотрудникам музея удалось получить в архиве художника Павла Малиновского, где собрано более 500 портретов его предков. В этом архиве есть и восемь изображений темноглазой женщины (акварели и фотографии) — Марии Васильевны Вольховской, с которыми имеет полное сходство портрет неизвестного художника из Исторического музея.

Таким образом, имя Анны Васильевны Розен можно с полной уверенностью снять с этого портрета. Единственным достоверным портретом Анны Васильевны Розен теперь считается тот, что хранится у потомков семьи Розен.

Более ста лет Марию Вольховскую принимали за Анну Розен. Этот портрет репродуцировался во всех книгах о декабристах, и по лицу, изображенному на нем, можно было сделать вывод, что это образ трагический, с непреклонной волей, но скорбный по характеру.

На самом деле все было не так. Анна Васильевна была всегда счастлива тем, что она находится возле мужа и детей. Она никогда не падала духом и, по отзывам современников, была веселой и обладала урав-

новешенным спокойным характером. Вряд ли была в те времена женщина в Европе, которая за 10 лет совершила бы путешествие в пятнадцать тысяч километров. Одна, с мужем на костылях, с грудными детьми, беременная — она преодолевала разливы рек и бури на Байкале, смертельно опасные горные спуски и зимние вьюжные степи. С запада на восток, с севера на юг и, наконец, на северо-запад, когда семья достигла границы владений предков Розена: «Как только проехали Черную речку, остановились, вышли из экипажей, дождь перестал, облака исчезли, показалось солнце, жена и дети меня обнимали со слезами радости, все мы благодарили бога, а младший сын мой (Владимир.— *Авт.*), по наущению матери, серьезно и важно продекламировал стихи Жуковского «О, Родина святая!».

Анна Васильевна всегда чувствовала свою необходимость детям. И была, как она сама писала, «...совершенно счастлива, как только можно того желать!» И это счастье оставляло ее спокойной, выдержанной и веселой, как и в молодости. Такой мы и видим ее на портрете. Ее племянница вспоминает, что Анна Васильевна была всегда спокойна, говорила протяжно и медленно. Умела вести задушевную беседу и обязательно читала вслух письма оставшихся в живых декабристов, с которыми Розены вели активную переписку. И всегда говорила, что самое счастливое ее время — пребывание в ссылке.

В глубокой старости ей пришлось еще раз показать свое хладнокровие в минуту опасности и большую выдержку. В дом забрались воры и стали душить хозяина, надев ему на шею петлю. Анна Васильевна спасла его, разбудив звонком прислугу. Но прежде чем опомнились все окружающие, она (будучи 85 лет от роду) вошла со свечой в кабинет, подняла с пола потерявшего сознание мужа — почти великана — и положила на кровать. Откуда могла взяться

у нее такая сила? — спрашивали все позднее. Но они забыли, что это была одна из жен декабристов.

После смерти Вольховского семья Розенов навсегда поселилась в Каменке. Рядом жил их друг и брат Иван Малиновский, после смерти первой жены, в 1845 году, женившийся на племяннице Вольховского — Екатерине Федосеевне. Брат той, которую она должна была заменить, И. И. Пущин писал ей: «Вы должны быть уверены, что я искренне желаю вам полного счастья,— вы остаетесь в семье, где все вас знают и любят; переход к новому быту для вас будет гораздо легче... Именно в тот день, когда воспоминание объединяет меня с покойным вашим дядей и с будущим вашим мужем, пришлось мне отвечать на добрые ваши строки: 19 октября (день празднования открытия Лицея.— *Авт.*) без сомнения и вам известно, хотя, по преданию, оно давно меня связало с близкими вам людьми, и эта связь не страдает ни от каких разлук...»

«Лицейское братство» продолжалось, и в его историю были вплетены судьбы самоотверженных и добрых девушек, образы которых остались в памяти лицеистов с юности. Они всегда помнили сестер своих товарищей — Е. П. Бакунину, М. И. Пущину, А. В. и М. В. Малиновских, показавших себя преданными женами, заботливыми матерями, верными идеалам своей юности.

Заглянем еще раз в последние годы жизни семьи Розенов. Вот что пишет газета «Южный край» в № 783 за 1883 год: «Несмотря на глубокую старость, 83 года, а жене его 86 лет, бар. Розен утром и после обеда ездит верхом по хозяйству, вечером играет на фортепьяно и поет „Куда несетесь вы, крылатые станицы?“. В званые дни танцует мазурку, и обыкновенно с самой молоденькой племянницей. В последнее время все мысли его направлены к улучшению быта крестьян. Несколько лет тому назад он, на собствен-

ные деньги, устроил в селе Каменке... крестьянский банк.

А. Ев. со своей женою представляют идеал супружеского счастья. Через два года ему предстоит праздновать «диамантовую свадьбу». Но супруги не дожили года до этого дня. 19 апреля — день венчания Розенов, и 19 апреля 1884 года — день смерти Андрея Евгеньевича. Анна Васильевна умерла ранее его четырьмя месяцами. Последними словами ее были — забота об остающемся муже. Она сказала сыну Кондратию по-французски за несколько минут до смерти: «Береги отца, не покидай его». И он в продолжение нескольких месяцев был неотлучно при отце — до конца».

И можно закончить этот очерк о «лицейских героинях» словами эпиграфа, взятого Розеном для своих «Записок»: «Умирает человек — живет имя его».

«PRINCESSE NOCTURNE»

Поздними вечерами, когда во многих домах уже тушили свечи, ярко светились окна во дворце княгини Евдокии Ивановны Голицыной на Большой Миллионной (ныне ул. Халтурина, 30, дом перестроен).

Сюда подъезжали кареты гостей, и среди них А. С. Пушкин. Восемнадцатилетний поэт, недавний выпускник Лицея, познакомился с Голицыной у Карамзиных осенью 1817 года. Юного поэта пригласили бывать в доме княгини, который, по словам П. А. Вяземского, «...был украшен кистью и резцом лучших из современных художников». Хозяйка вполне гармонировала художественной обстановке. «Ее можно было признать,— продолжает Вяземский,— жрицею какого-то чистого и высокого служения. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое».

В ее гостиной собиралось немногочисленное, но избранное общество, состоявшее в основном из поэтов и ученых. Вся обстановка этого «храма» создавала настроение чего-то необычного, даже таинственного... Таинственность атмосферы усугублялась тем, что Голицына принимала только ночью. Говорили, что еще в детстве цыганка нагадала ей смерть в ночи, и она решила обмануть предсказание, не дать застать себя врасплох. Днем спать, ночью бодрствовать. Но как бы там ни было, за ней навсегда сохранилось имя «Princesse Nocturne» («Ночная княгиня»).

Голицына вела себя независимо и своеобычно, что шокировало придворные круги, хотя у нее там были многочисленные и устойчивые родственные связи.

Дочь генерала И. М. Измайлова и А. Б. Юсуповой (родной сестры знаменитого знатока искусств Н. Б. Юсупова, пушкинского «Вельможи»), она рано потеряла родителей. Вместе с единственной сестрой Ириной (в будущем женой И. И. Воронцова) она воспитывалась в Москве у родного дяди — сенатора М. М. Измайлова, который ведал всеми строительными работами в Кремле и реставрацией памятников московской старины. По-видимому, с тех пор зародились у Евдокии Ивановны любовь к искусству и пламенный патриотизм. Интерес к истории России сохранился у нее на всю жизнь. Она получила в доме дяди разностороннее образование.

Судя по сохранившемуся портрету Виже-Лебрен, где она изображена в ранней молодости в виде Флоры с корзинкой цветов на голове, она имела красивое и чрезвычайно выразительное лицо. Когда ее стали вывозить в свет, ум, образованность и красота привлекли внимание многих. К несчастью, это время совпало с кратким царствованием Павла I, и моло-

Е. И. ГОЛИЦЫНА.
Портрет Сен-Даниэля.
1820-е гг.
Публикуется впервые.

дая красавица оказалась среди многих жертв его сумасбродств. По его капризу в 1799 году в девятнадцать лет ее выдали против воли замуж за скучного, немолодого и неинтересного князя Сергея Михайловича Голицына, которого она никогда так и не смогла полюбить.

В 1800—1802 годах они жили в Дрездене, и тогда, вероятно, был создан ее портрет профессором Дрезденской Академии художеств, прославленным портретистом Йозефом Грасси, работавшим в Вене, Варшаве и Дрездене. Художник особенно старался передать чарующее обаяние женственности. Мягкий, нежный взгляд изобличает натуру чувствительную, добрую. «Скромная» одежда греческих богинь подчеркивает пластическое совершенство ее обнаженных плеч и шеи. Руки, закутанные в прозрачную ткань, покоятся на книгах — атрибутах учености. Красный цвет шали контрастирует с матовым цветом лица и тяжелыми темными локонами.

Такой же молодой, обворожительной представлена Голицына в миниатюре французского художника Сен-Даниэля.

В 1800-х годах княгиня оставила мужа и переехала из Москвы в Петербург.

Вскоре ее посетила любовь, вероятнее всего единственное большое чувство в ее жизни, к достойному, умному и образованному М. П. Долгорукому. Она просит развода, муж категорически отказывает. Долгорукий искал смерти, и она его настигла в битве при Иденсальми в 1808 году...

Голицына замкнулась в своем горе. С этих пор начинается самостоятельная, необычная для женщин ее круга жизнь, полная духовных интересов.

В 1814 году княгиня обратилась к русскому дворянству с предложением воздвигнуть в Москве памятник в честь избавления России от иноземного нашествия и сама приготовила для этого памятника

знамя, затем переданное в Александро-Невскую лавру.

Вот что писала она в сопроводительной записи: «Наполеон должен был видеть, что война, состоящая в набегах, требует бесчисленных издержек... Он призвал ныне мщение всех народов на злосчастную Францию, которая... более достойна нашего сожаления, чем ненависти. Россияне, не упиваясь ядом злобы, задушили в сердце империи своей гидру... Такая слава превыше всякой славы... И так изнуренная Европа может ли теперь противостоять России, сему юному исполину, озаренному силою и добродетелью... Да сохранит нас бог от внутренних неустройств, и тогда никакая иноземная власть не сможет поколебать нашего могущества...

На стенах кремлевских, там, где возносилось знамя вражеское, да водрузится ныне сие священное знамя великого народа русского. Итак, основанием памятника будут стены кремлевские, которые возвысятся ныне с новою славою, и на них имена всех тех, которые прославились воинскими подвигами или высокою добродетелью. Все сии имена, столь любезные, столь драгоценные отечеству, будут вырезаны на бронзовых досках с описанием их подвигов. Такие же бронзовые доски останутся без надписей для изображения впредь, на всякие времена, для имен тех, которые окажутся достойными... которые будут всегда поддерживать силу, законы, благоустройство государства и возвеличивать славу России.

Здесь все сословия должны быть равны... никакие происки и богатство не должны давать право быть первым среди героев... И поэтому последний из крестьян может этим правом воспользоваться...»

Так понимала патриотично настроенная княгиня роль народа в истории, и в этом она была близка по взглядам будущим декабристам.

Однако ее понимание истории расходилось с мнением такого авторитета, каким был в ту пору Н. М. Карамзин, автор знаменитой «Истории государства Российского». Видимо, вспоминая их споры, Карамзин сообщал Вяземскому: «...от ее трезубца пышет не огнем, а холодом»— и далее, слегка иронизируя: «Он (Пушкин.— *Авт.*) у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви».

Карамзин написал это письмо 24 декабря 1817 года, и он ошибался. Еще 30 ноября 1817 года Пушкин посвятил Голицыной стихотворный экспромт «Краев чужих неопытный любитель»:

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Пушкин отдает дань красоте княгини, но еще более — уму, манере говорить, а также «пламенной» ее душе. Он создает благородный и прекрасный во всех движениях своего характера образ современницы, близкой ему духовно, однако стараясь уверить окружающих в том, что его увлечение уже в прошлом.

В декабре 1818 года А. И. Тургенев пишет Вяземскому: «Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее (Голицыну.— *Авт.*), а то бы он передал ее потомству

в поэтическом свете». Видимо, о стихах Пушкина они не знали, а княгиню считали достойной личностью для поэтических восторгов.

Вяземский не раз в письмах возносил ее ум, доброту и особенно красоту: «Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная, придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное,— и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее». Это словесное описание соответствует портретам, созданным Й. Грасси и Сен-Даниэлем.

Но существует и другая характеристика, данная Вяземским, который в течение многих лет часто упоминает о княгине: «Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное...»

Это описание перекликается с другим портретом Голицыной, созданным русским мастером живописи А. Е. Егоровым. Видимо, в соответствии с желанием княгини Егоров изобразил ее в образе весталки. Высокий античный идеал, присущий мировоззрению художника, прекрасно усвоившего каноны классицизма, отмечали современники, которые говорили о нем: «...приняв от Лосенко строгий и правильный рисунок, он хранил его подобно огню Весты».

За равновесие форм, присущее его работам в сочетании с благородным колоритом, Егорова называли «русским Рафаэлем». И действительно, портрет Голицыной близок по композиции к «Даме под белым покрывалом» Рафаэля. Но мировосприятие у художников различно. Женственная мягкость образа, созданного великим мастером эпохи Возрождения,

сменилась нарочитой строгостью и молитвенной набожностью. Складки одежды, у Рафаэля свободно облегающие фигуру, застыли у Егорова в скульптурной неподвижности. Пейзажный фон — необходимый элемент классицизма — говорит не об единении человека с природой, как это было в эпоху Возрождения, а об идеальном прибежище личности, удалившейся от суеты обыденности. Цветовая гамма строга — белое платье и золотистое покрывало, все сдержанно и благородно. В классических картинах часто прочитывается мысль о тщете всего земного. В портрете Егорова героиня не в силах вернуться к жизненным радостям: «замыкая композицию» в готовые классические формы, художник как бы сковывает натуру, словно превращая ее в холодную статую.

Ее глаза уже не ласкают, как в портрете Сен-Даниэля, они подняты к небу и полны слез, рожденных воспоминаниями.

Современники отмечали, что после гибели Долгорукого доброе ее имя оставалось безупречно-неприкосновенным. По свидетельству Вяземского, «ее независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности... Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отемняли чистой и светлой свободы ее».

При всем том, не могла же такая личность не пробуждать нежных сочувствий в том или другом сердце? Так оно и было. Голицына на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей. До какой степени отвечало ее сердце — остается тайной. Среди ее верных поклонников — Михаил Федорович Орлов, «рыцарь любви и чести». Тогда еще рыцарство почиталось призванием и уделом возвышенных и избранных натур. Молодой генерал, которому вручили ключи Парижа как представителю русской армии, победившей Наполеона, он принадлежал к лагерю будущих декабристов.

Орлов находил много общего с княгиней во взглядах на русскую историю, на роль народа в ней.

Вот как об этом пишет в своих очерках Л. Н. Майков: «Строгость ее приговора об «Истории государства Российского» внесла даже рознь в среду арзамасцев: между тем как влюбленный в Авдотью Ивановну Пушкин посмеивался втайне над ее суждениями о сочинении Карамзина, другой страстный ее поклонник, тоже арзамасец, М. Ф. Орлов, по словам нашего поэта, пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян».

Литературные вкусы Голицыной отличались прогрессивностью, все ее ближайшие друзья были членами «Арзамаса». В это боевое и веселое содружество, куда входили В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков и другие, с 1817 года входил и юный Пушкин. Его нарекли там «Сверчок», взяв прозвище из баллады Жуковского «Светлана». По окончании Лицея Пушкин еще более сблизился со всеми арзамасцами и особенно с новыми молодыми членами общества — Николаем Тургеневым, Михаилом Орловым и Никитой Муравьевым — будущими декабристами.

Пушкин в те годы не скрывал своих вольнолюбивых политических взглядов. В начале 1818 года он послал Голицыной свою оду «Вольность» со специальным посвящением:

Кн. Г-ой,
посылая ей оду «Вольность».

Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю,
И что же?.. слабый человек!..

Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.

Вероятно, Пушкин хотел, чтобы либерально мыслящая Голицына знала, что для него дороже всего в жизни «мечта прекрасная свободы», которую он готов петь вопреки всему. «Неволя» относится только к «плену сердца». Посвящением оды «Вольность» он оказал уважение адресату как личности и тем высоким духовным интересам, в сфере которых жила Голицына.

В 1818 году Пушкин посещал княгиню очень часто — видимо, он чувствовал потребность в постоянном общении, обмене мнениями во всех областях литературы, истории, философии.

8 июня 1818 года в письме к Вяземскому дядя поэта Василий Львович Пушкин сообщает о том, что приехавшая из Петербурга княгиня Евдокия Ивановна Голицына говорила ему накануне, что племянник его «Александр у нее бывал всякий день» и «что он малый предобрый и преумный».

По возрасту Голицына была ближе к дяде, чем к племяннику, но этого никто не замечал, так необыкновенно молодо она выглядела. «Трудно кому-нибудь превзойти вас,— писал К. Н. Батюшков А. И. Тургеневу в июне 1818 года,— в доброте, точно так, как княгиню Голицыну Авдотью Ивановну в красоте и приятности, вы оба никогда не состаритесь: вы — душою, она — лицом».

Судя по переписке А. И. Тургенева с Вяземским, Пушкин часто навещал салон княгини и в 1819 году, до самой своей ссылки и отъезда из Петербурга. Тургенев часто упоминал о чтении пушкинских стихов в салоне «Ночной княгини» в присутствии автора. Вяземский, находившийся в 1818—1821 годах в Варшаве, сожалея о том, что его не было в это время в Петербурге, просил Тургенева: «Напомни ей

обо мне. Мало знаю женщин, которые были бы мне так по сердцу, как она». Тургенев отвечал: «Кн. А. И. читала твои о ней строки (и ей это приятно было). Она благородная и, когда не на треножнике, а просто на стуле — умная женщина. Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя».

В последний раз встречается имя Пушкина как посетителя салона Голицыной в письме Тургенева к Вяземскому от 3 сентября 1819 года: «Вчера читал я у княгини Голицыной стихи твои и был свидетелем Пушкина восхищения и ея одобрения». Еще раз мы убеждаемся в том, как ценили современники мнение Пушкина и как часто совпадало оно с мнением хозяйки дома на Миллионной.

В мае 1820 года Пушкин, отправленный Александром I в ссылку, покинул Петербург. Но и там он не забывает эту незаурядную женщину. «Вдали камина кн. Голицыной замерзнешь и под небом Италии»,— писал он в 1821 году А. И. Тургеневу. И позднее, в 1823 году, ему же: «Что делает поэтическая, незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына?..» Два слова здесь нуждаются в объяснении. Будучи сторонницей конституции, Голицына негодовала, что конституция дана лишь Польше, но не России, и оттого Пушкин несколько насмешливо называет ее «конституциональной» и «антипольской».

Голицына, со своей стороны, заботилась о судьбе опального поэта. По просьбе княгини ее дальняя родственница Екатерина Сергеевна Уварова (сестра декабриста М. С. Лунина.— *Авт.*), «из дружбы к Пушкину» пригласила замечательного русского композитора А. Н. Верстовского исполнить у нее в доме, на специально устроенном музыкальном вечере, романс «Черная шаль». На этот вечер она не без умысла пригласила «случившегося» в Петербурге М. С. Во-

ронцова, к которому поэт должен был перейти на службу из Кишинева в Одессу.

Прошло еще несколько лет... По возвращении в Петербург в мае 1827 года Пушкин снова бывает в салоне Голицыной, но, по-видимому, не очень часто. Среди ее гостей теперь больше ученых, нежели поэтов. Княгиня достаточно серьезно была увлечена математикой и философией. Теперь ее любимый собеседник — известный русский математик, академик Михаил Васильевич Остроградский. Под его руководством она пишет книгу «Анализ силы», где делает вывод: «Все в природе жизнь и сила, ничтожества нет».

Рецензенты называют книгу «замечательным подвигом мышления». В одном из откликов можно прочитать: «Княгиня обнаружила такой собственно ей принадлежащий взгляд на вещи, который не может не показаться крайне новым и вместе справедливым по глубокомысленным выводам ее».

Однако более строгий критик, профессор математики академик В. Я. Бунаковский, замечает: «Голицына барыня умная, но в сочинениях своих не обнаруживает, к сожалению, ничего математического».

Из сопоставления этих отзывов видно, что сочинение Голицыной многих поражало смелостью, широтой идей, глубиной философской мысли, но не выдерживало строгой критики с точки зрения математики как науки.

Пушкин в 1835 году приобрел для своей библиотеки книгу «Анализ силы», вышедшую в том же году во Франции.

Последняя известная нам встреча Пушкина с княгиней Голицыной произошла в начале августа 1835 года, о чем сообщает Е. С. Уварова в письме к М. С. Лунину из Петербурга в Сибирь. Можно предположить, что Голицына читала смелые письма дека-

бриста из ссылки с критикой государственного строя и политики Николая I.

Реакционный режим в России усиливался, и Голицына, подобно многим свободомыслящим русским, уехала в Париж. Там она продолжила свои философско-математические занятия, увлекалась по-прежнему и литературой. К ее мнению прислушивались, о чем есть свидетельства известного французского писателя и критика Сент-Бёва.

А. И. Тургенев часто навещал ее в Париже. «Вчера заехал я к кн. А. И. Голицыной в три часа,— пишет он Вяземскому в 1844 году.— Она еще не вставала, но приняла, выслала с девушкой рюмочку троицкой святой воды, которую я выпил с должным чувством, потом явилась, и подали утренний чай». На столе он увидел ее книги, изданные во Франции, но с русским эпиграфом. Тургенев и другие русские, бывавшие у княгини, всегда отмечали ее страстный патриотизм, интерес ко всему касающемуся России.

Памятником ее патриотического воодушевления до последних минут жизни стало завещание денежных наград отличившимся четырем кандидатам из воспитанников военных учебных заведений. Ее стипендиатом был знаменитый впоследствии ученый генерал-лейтенант В. Ф. Петрушевский.

Голицына скончалась 15 января 1850 года в Петербурге. Ее похоронили в Александро-Невской лавре. По ее завещанию была сделана надпись на надгробной плите: «Прошу православных русских и приходящих здесь помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа Русского».

ЗАГАДКИ СТАРИННЫХ АЛЬБОМОВ

Каждый, кто держал в руках старинный альбом той поры, когда мир еще не знал фотографии, и перелистывал ветхие страницы с рисунками, наклеенными вышивками и стихами, знает чувство прикосновения к внутренней жизни человека. Милые тени прошлого...

Забытые имена, давно завядшие цветы, уснувшие чувства... Все это проходит чередой и волнует печальной невозвратностью. Но есть альбомы, которые хранят исторические откровения, по ним изучаешь и постигаешь эпоху, находишь как незнакомые, так и очень известные имена, стихи и прозу, портреты и пейзажи.

К таким реликвиям относятся альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой. В кожаный переплет одного из них вмонтирована маленькая миниатюра — портрет очаровательной брюнетки с чуть раскосыми глазами и кокетливо склоненной головкой. Губы едва могут удержаться от улыбки.

Видимо, к этому портрету известный поэт и баснописец первой половины XIX века А. Е. Измайлов написал 25 сентября 1820 года:

Всегда прелестна, весела,
Шутя кладет на сердце узы.
Как Грация, она мила
И образованна, как музы.

Пожалуй, именно образованность и ум, наряду с особенным, можно даже сказать магнетическим, очарованием, выделили ее среди современниц.

В свое время Софи Поздняк, сестра Ивана Поздняка, лицеиста второго выпуска, была для его однокашников тем же, чем Катрин Бакунина для соучеников Александра Пушкина.

Софи очень рано вышла замуж за доброго и гостеприимного Акима Ивановича Пономарева, статс-секретаря Канцелярии по принятию прошений. Сын богатейшего откупщика, муж ее обладал большим капиталом, и молоденькая любительница отечественной словесности решила открыть Литературное собрание. Название ему придумали живо откликнувшиеся друзья, среди которых первое место занимал А. Е. Измайлов: Общество любителей премудрости и словесности. В названии обыгрывалось имя хозяйки — София, что означает — премудрая. В одном из стихотворений известный поэт и литературный критик того времени Орест Сомов выражает свое и общее мнение:

Богиня красоты вошла с Минервой в спор:
«Софию, говорит, лишь я образовала,
Чтоб смертным прелестей моих явить собор».
«Ты ошибаешься! — Минерва ей сказала.—
Одна лишь я Софию создала,
Искусства, знания, любезность, благородство,
Ум образованный и вкус в нее влила;

Она во всем со мной имеет сходство
И, наконец... я имя ей дала».

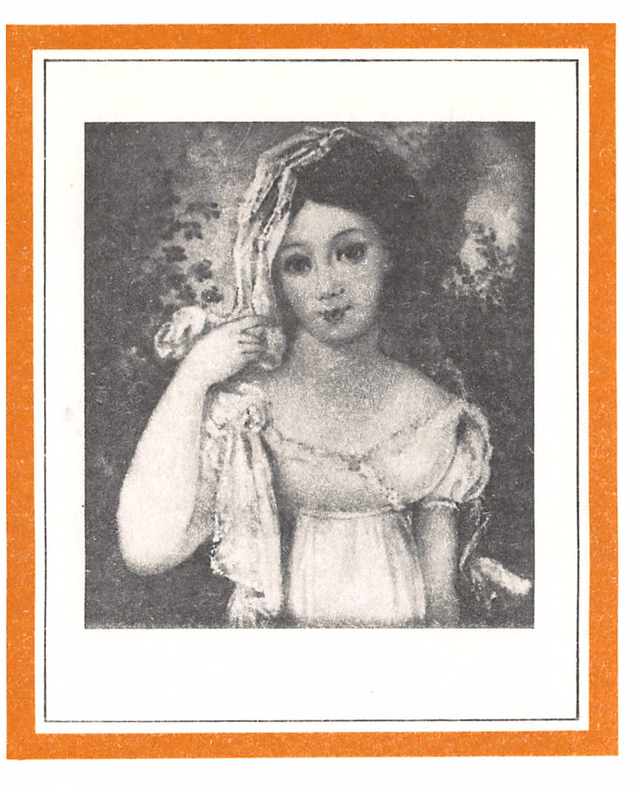
Это стихотворение, написанное по-русски, одно из многих записанных в двух альбомах Софьи Дмитриевны, хранящихся в ЦГАЛИ и рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом). Самым значительным, по мнению знавших ее, было то, что, владея в совершенстве четырьмя языками, она превосходно знала и русский. Большая выдумщица всяких проказ, очень любила переодеваться крестьянкой и на какой-нибудь почтовой станции между Москвой и Петербургом начинала разыгрывать своих знакомых, предлагая яблоки: «Купите, барин, дешево отдам», потом расхохочется да как бросится на шею, смеху и удивлению не было конца.

«Эта молоденькая, плотненькая дама небольшого роста обладала необыкновенным искусством нравиться...— вспоминал впоследствии один из посетителей ее салона Д. И. Свербеев.— Где получила она свое образование — не знаю, но воспитание ее было самое блистательное: бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что было тогда редкостью; иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы.

Она умела завлечь в свою гостиную всех тогдашних литераторов, декламировала перед ними их стихотворения и восхищала своей игрой на фортепиано и приятным пением».

Многосторонне образованная и художественно одаренная, юная Пономарева по-настоящему и дельно помогала Измайлову — издателю «Благонамеренного» — журнала на русском языке. Вспомним строчки из «Евгения Онегина» Пушкина:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!



С. Д. ПОНОМАРЕВА.
Портрет неизвестного художника.
1820-е гг.
Публикуется впервые.

Могу ли их себе представить
С Благонамеренным в руках!

Но именно женщина проявляла активность в сборе материалов для журнала и делала это мастерски, самым непринужденным образом. Измайлов, обожавший ее отечески и любовавшийся ею, очень ценил это «сотрудничество» и с большим уважением писал о новом литературном обществе в своем журнале: «В Петербурге с нынешней зимы завелись в некоторых домах литературные собрания. В положенный день в неделе сходятся там... пять, десять человек известных литераторов и молодых людей, желающих сделаться известными, пьют чай, разговаривают о материях Словесности, Наук и Художеств касающихся, сообщают друг другу свои замечания, наблюдения, открытия, обсуживают вместе и общими силами важные предметы, сходятся и расходятся, чтоб завтра... продолжить начатое. Польза таких собраний очевидна. Желательно, чтоб они больше и больше входили в обыкновение».

Так намекнул Измайлов о пользе создания подобных собраний. По мере того как дом Пономаревых стал единственным местом сбора, Измайлов уже с большей конкретностью дает сообщение о нем в «Благонамеренном»:

«В одном доме (возле Таврического сада, на Фурштадской ул., ныне ул. П. Лаврова, дом не установлен.—*Авт.*), где хозяин и хозяйка гостеприимны и любят отечественную словесность, собралось человек шесть литераторов, давно уже соединенных между собой узами дружбы. Говорили о разных родах стихотворений и прозы и, наконец, о сочинениях на заданные слова... тотчас задали слова, и добрые хозяева потребовали, чтобы сии сочинения прочтены были у них через неделю и чтоб впредь в известные дни собирались к ним для подобных занятий.

Любезная и остроумная хозяйка (Софья Дмитриевна Пономарева.—*Авт.*) избрана попечительницей сего дружеского общества, а почтенный хозяин — секретарем. Первое заседание было 22 июня 1821 года (это официальное открытие Общества любителей премудрости и словесности, на самом деле оно начало собираться с осени 1820 года.— *Авт.*). Оно открыто приличной речью госпожи попечительницы, после читали сочинения „на заданные слова"».

По случаю открытия общества Софья Дмитриевна прочла следующее заявление:

«Извините меня, почтенные члены Общества любителей премудрости и словесности, если, вступая на поприще литературы, буду оспаривать общее мнение, что новый год счисляться должен с 1 января. Милостивые государи, я совершенно с сим несогласна, и, следуя правилам иных обществ, которые вопреки истине, принятой целым светом, проповедуют свои собственные, я беру смелость утверждать не только перед лицом ученых, полуученых и неученых, но даже лицом вашим, милостивые государи, что новый год, собственно, для нас должен отныне счисляться с 22 июня, яко со дня открытия нашего общества».

«Такова воля моя,— заканчивает попечительница общества,— да увенчает ее ваше согласие». И подписывается: «Попечитель мотыльков».

И сама она порхала как мотылек среди своих обычных посетителей, людей известных по литературе и искусству. Как-то особенно расцветали дарования и любезность в атмосфере непринужденности и доброжелательства, которую она умела создать. В начале существования общества туда приходили в основном зрелые люди, уже известные литераторы, которых приводил Измайлов, изредка — баснописец И. А. Крылов, переводчик Гомера Н. И. Гнедич, журналист Н. И. Греч, создатели трагедий и страст-

ные театралы П. А. Катенин и А. А. Жандр и начинающая молодежь — Н. Остолопов, И. Кованько, Д. и А. Княжевичи, О. Сомов, будущий декабрист Александр Поджио. Все они оставляли свои автографы в альбомах Софьи Дмитриевны, и большая часть их сочинений впоследствии заполняла страницы «Благонамеренного».

Особенно много писал безнадежно влюбленный в хозяйку дома А. Илличевский (Олосенька, как звали его в Лицее), соученик Пушкина и соперник по сочинительству стихов. Надо отметить, он раньше других понял, что Пушкин в области поэзии несравним. В 1816 году, может быть с долей грусти, он написал о поэте своему другу детства П. Н. Фуссу: «Дай бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться в его товарищах». Умный, проницательный и по-своему талантливый, Илличевский по достоинству оценил поэтический гений своего товарища по Лицею.

В начале 1820-х годов на страницах журналов Илличевскому было отведено не последнее место. Он даже удостоился чести открыть первый альбом Софьи Дмитриевны:

Альбом, где суждено храниться именам
Всех чувствам к Вам любви, почтением влекомых —
Быть должен список всех не только Вам знакомых,
Но всех, кто знает Вас, хоть и незнаем сам.

Илличевский мечтал ввести в гостеприимный дом, приобщить к его творческой жизни своих друзей по Лицею: А. Дельвига, В. Кюхельбекера и других. Но одно обстоятельство весьма тонкого свойства помешало ему это сделать. В гостиной Софьи Дмитриевны появился автор идиллий В. И. Панаев (родной дядя известного в русской литературе прозаика, редактора журнала «Современник» И. И. Панаева).

О том, как он в самом начале знакомства сразу же стал плести интриги, Панаев рассказал сам много позднее в своих воспоминаниях. Он пишет, что не любил Кюхельбекера, Дельвига и друга последнего Баратынского, так как считал их слишком самонадеянными. Далее он сообщает, что «они на меня прогневались... впоследствии еще более, вместе с Пушкиным (видимо, В. И. Панаев был знаком с С. Д. Пономаревой раньше, чем официально было создано общество, и Пушкин еще был в Петербурге.— *Авт.*) за то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине с ними знакомиться. Это была та самая, со множеством странностей и проказ, но очаровательная Софья Дмитриевна Пономарева, которую воспевал Измайлов, влюбленный в нее по уши. Да и немудрено: всякий, кто только знал ее, был к ней неравнодушен более или менее. В ней, с добротою сердца и веселым характером, соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством... Меня ввел к ней, по ее настоянию, Измайлов — на свою беду (можно добавить, что прежде всего на беду самой Софьи Дмитриевны.— *Авт.*). Она тотчас обратила на меня победоносное свое внимание, но вскоре и сама опустила флаг: предпочла меня всем, даже трем окружавшим ее известным тогдашним красавцам: флигель-адъютанту Р. Анрепу, преображенскому капитану А. Поджио и сыну португальского генерального консула Лопецу. Они должны были удалиться.

Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей, и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил ее, любил нежно, с заботливостью мужа или отца (ей было только 22 года, а мне уже 29 лет), остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она

держать себя, потому что не всякий мог оценить ее доверчивость, ее милые детские дурачества; надеялся во многом ее исправить, требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному».

Панаев упивался своим успехом и писал хозяйке то страстные, то даже игривые стихи:

Пускай другие в том согласны,
Что вы и милы и прекрасны;
Что взоры маленьких китайских ваших глаз
Равно и молодым и старикам опасны,
Что на беду для бедных нас,
Природа вас умом блестящим наделила,
Талантов множество дала,—
И к ним прибавить без числа
Любезных странностей, проказ не позабыла:
Зачем мне следовать суждениям других?
Мое совсем иное мненье;
Так точно, вы в глазах моих
Есть только — женщин украшенье
И вместе зависть их.

Это стихотворение написано 28 мая 1821 года, а чуть позднее он пишет много смелее:

Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет,
Три крат блажен, кто говорит с тобой;
Тот полубог прямой,
Кто выманить, сорвать твой поцелуй умеет,
Но тот бессмертьем насладится,
Чьей смелою рукой твой пояс раскрутится!

Мечты довольно смелые, и отношения не похожи на отеческие, как много лет спустя пытается их представить в своих воспоминаниях уже старый «идиллик» В. Панаев.

Мы знаем, что истинно отеческие чувства к Софье Дмитриевне питал Измайлов. Все его многочисленные стихи, посвященные его «помощнице» по

изданию «Благонамеренного», дышат ласковой заботой и скрытой нежностью человека уже пожилого. Измайлов слыл циником, но, как известно, за напускным цинизмом люди часто скрывают свою застенчивость, ранимость и сентиментальность. В стихах Измайлова гораздо больше дружеского чувства, чем у влюбленного Панаева, который, как видно, был себялюбив, хвастлив и завистлив.

Итак, по вечерам литераторы собирались у Софьи Дмитриевны, которая имела, по словам того же Измайлова, «необыкновенные таланты и получила отличное воспитание; знает прекрасно немецкий, французский и итальянский языки, даже отчасти латинский; переводит на русский прозой лучше многих записных литераторов, пишет весьма недурно стихи; рисует, танцует, поет и играет на фортепиано превосходно».

Сохранилось множество воспоминаний современников о том, как происходили собрания литераторов, и, судя по альбомам, у нее частенько бывали и художники: О. Кипренский, П. Яковлев, К. Кольман, В. Мошков и другие, менее известные. Один из современников так описывает эти встречи:

«Представьте себе небольшую, но уютную гостиную, в которой вокруг стола, освещенного матовым светом лампы и заваленного книгами, тетрадями и листами (видимо, потом отдельные листы с рисунками вклеивали в альбом.— *Авт.*), собралось несколько собеседников. Простота, выражающаяся во всем, отсутствие всяких затей, роскоши и претензий на моду немедленно сообщается каждому, даже непривычному посетителю этой гостиной. Здесь всякому весело, легко и свободно.

На большом диване, в глубине комнаты, сидит Софья Дмитриевна, окруженная довольно многочисленным обществом и постоянно охраняемая Гектором и Мальвиною (собаки.— *Авт.*), которым не

шутя завидовали многие из присутствующих. Возле нее на диване помещается толстый и неуклюжий издатель «Благонамеренного». На нем синий долгополый сюртук, из которого вышло бы два капота для людей обыкновенных, в боковых его карманах торчат бумаги; на черных глазах сияют серебряные очки. «Дородный журналист» только что возвратил с новой стихотворной данью переходящий из рук в руки альбом Софьи Дмитриевны, который он, вопреки усвоенному за ним прозванию «писателя не для дам», так часто украшал произведениями... Возле Измайлова сидит «русский Геснер», он же «русский Феокрит», В. И. Панаев, поэт Меналков, Титиров, Хлой (имена пастушков и пастушек из античных идиллий.— *Авт.*), ручейков и овечек, «сочлен, товарищ и друг Измайлова» и, по собственному его признанию, его же соперник в описываемом обществе. Далее Гнедич, всегда задумчивый, рассеянный и серьезный. Сюда же собрались П. Плетнев, А. Илличевский, О. Сомов и несколько других литераторов. Разговор мало-помалу сделался общим...»

Как бы в подтверждение этому описанию в альбоме сохранился рисунок пером, где со всеми подробностями изображен описанный интерьер, и на нем рукой Софьи Дмитриевны подпись: «Орест Михайлович Кипренский». Видимо, подписан он позднее: и отчество перепутано, и вообще рисунок настолько не похож на Кипренского, что можно предположить, что подпись относится к рисункам, висящим на стене, вернее на ковре, хотя имеется его монограмма.

Этот рисунок интересен тем, что в подробностях воспроизводит обстановку, в которой происходил живой и непринужденный процесс дружеского общения. Вдохновляемые очаровательной хозяйкой, присутствовавшие стремились быть находчивыми, остроумными, а главное — талантливыми.

Софья Дмитриевна могла с чувством прочитать хорошее стихотворение, могла перевести его на итальянский язык, сочинить музыку и спеть. Все созданное в ее обществе как бы оживало и сверкало искрами от прикосновения к живому чувству. Она не скупилась на похвалы. Однажды В. И. Панаев принес свой изящный альбомчик со стихами друзей, украшенный маленькими романтичными акварельками и даже вышивками (теперь он хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР — Пушкинский дом). Софья Дмитриевна с интересом взяла его в руки. На первой страничке прочла: «Приятное и, может быть, горестное воспоминание. 1816 г. С. Петербург» — и далее:

Придете ль вы назад,
Минуты радостей, минуты восхищений?
Иль буду я одним воспоминаньем жить?

С интересом перелистала тоненькие странички: вот пишет женщина, но прозой: «20 июля 1818 г. С. Петербург. С удовольствием беру перо, чтобы писать в альбоме вашем. Но что ж писать? Стихов писать я не могу, а прозой, что ни пиши, все кажется мало; однако и я ограничу себя искренним моим желанием: будьте здоровы, веселы, счастливы, а более всего будьте так же добры и чувствительны, как ныне, и не забывайте меня. Анна Керн».

«Кто такая?» — «Молоденькая, хорошенькая жена старого генерала, ваша ровесница, появилась в Петербурге ненадолго, бывала в доме своей тетки Елизаветы Марковны Олениной».— «Где теперь?» — «Не знаю, где-нибудь в провинции, ездит за мужем».

Тогда Анна Керн еще не стала знаменитой своим знакомством с Пушкиным. Еще не было написано стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

Нет, Анна Керн не могла быть соперницей Софьи Дмитриевны, которая напишет в альбоме своего обожателя стихами:

Нет, нет — Панаев не поэт!
Скажу назло, наперекор всех мнений:
Нет, нет, он не поэт — он Гений!

27/V—1821 г. Софья Пономарева.

Как ошибались женщины! Панаев не был добрым, чувствительным, а лишь хотел таковым казаться, и уж отнюдь не был Гением. А лишь автограф гения — нашумевшую «Черную шаль» подарил Измайлов хозяйке, видимо по ее просьбе. Пушкин прислал его для исправления текста в «Благонамеренном». Позднее Софья Дмитриевна вклеила этот листок в альбом, что заставило многих исследователей ошибочно считать, что Пушкин все же бывал у Пономаревых.

«...Дело шло недурно,— пишет в своих воспоминаниях В. Панаев,— она во многом слушалась меня, в ином нет, нередко прерывала наставления и выговоры мои то выражением ребяческой досады, впрочем мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки».

Панаев усердно писал стихи, иногда их появление рождала ревность:

Филат вскричал: кого из пастухов находишь,
Кто б так умел любить тебя?
Предупреждать твои, угадывать желанья
Малейшей ласкою твоею дорожить,
И не хотеть за все иного воздаянья,
Как разве поцелуй украдкой получить?..

Летом 1821 года Панаев на некоторое время покинул столицу и уехал в свое имение под Казанью.

Софья Дмитриевна не замедлила воспользоваться отъездом своего «Аргуса» и познакомилась с Баратынским, Кюхельбекером и Дельвигом, которого, впрочем, знала еще лицеистом. Их привел в дом автор сатирических статей и рисунков в «Благонамеренном» Павел Лукьянович Яковлев (брат Михаила Яковлева, «Паяса», лицейского товарища Пушкина и Дельвига и племянник Измайлова.— *Авт.*). П. Яковлев рисовал в ее альбоме подробные коллажи, составленные из атрибутов, интересующих хозяйку. В альбоме, хранящемся в Пушкинском доме, такой коллаж подписан. Там изображены — вернее скомпонованы на одном листе — ноты известного романса, кусочек обложки «Благонамеренного», карты — туз червей и король пик, натюрморт с черепом и свечой, лист с рисунком мечети, вышивка, визитная карточка П. Л. Яковлева и маленький портретик в профиль миловидного В. И. Панаева. В этом листе своеобразный показ круга интересов хозяйки альбома и череп со свечой — как намек на быстротечность человеческой жизни.

Жизнь Софьи Дмитриевны текла стремительно. Ее интересы были чрезвычайно многосторонними. Путешествие П. Л. Яковлева в Бухару особенно увлекало воображение, и по ее просьбе он не раз рисует в альбомы среднеазиатскую архитектуру и различные восточные сценки.

В альбоме, хранящемся в ЦГАЛИ, тоже два коллажа, но неподписанные. Сравнение с альбомом Пушкинского дома дает полное основание признать авторство П. Яковлева. На одном из них скомпоновано изображение всадников на фоне зимнего пейзажа, нотные записи и портрет Акима Ивановича Пономарева с удивительно добрым лицом. Современники писали о нем с приязнью, к которой примешивается доля снисходительности и жалости. Вот как об этом вспоминал тот же Свербеев: «Замужем была она за

сыном богатого откупщика Пономарева, который его отделил и дал ему средства к широкой петербургской жизни... Он также служил у нас в Канцелярии и также в ней ничего не делал... Я начал бывать у них часто. Вечером, часов в 8, можно было еще встретить ее мужа, но уже не иначе как навеселе, к 11 часам, после нескольких чашек чаю с ромом, он был готов, и его укладывали спать. Гостей прибывало, и беседа, оживленная умной хозяйкой, закипала со всем очарованием изящной какой-то художественной оргии».

Видимо, П. Яковлев потому нарисовал Пономарева, что, по словам Панаева, особенно с ним дружил и «попивал мадеру очень усердно». Фактически он жил у Пономаревых почти постоянно, играл на фортепиано, рисовал и вообще был очень забавен. Ему не составило труда привести своих друзей, и они также стали посещать гостеприимный дом, часто оставляя в альбомах дань восхищения прелестной хозяйкой.

Дельвиг, известный к тому времени поэт, состоял членом нескольких литературных обществ. С 1819 года он жил в одной квартире со своим другом Евгением Баратынским, и они часто бывали вместе в различных обществах и собраниях. Состоя на службе (с 1821 г.) в Публичной библиотеке, Дельвиг ревностно изучал греческий язык, желая читать в подлиннике античную литературу. Его литературные опыты были многообразны — от «Русских песен», напечатанных в «Полярной звезде», до поэтических идиллий в подражание древним грекам. Пушкин впоследствии особо отметил эту многогранность творческих увлечений своего друга:

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадки мои: хитрый Эдип, разреши!

6 мая 1820 года Дельвиг и Павел Яковлев провожали до Царского Села уезжавшего в южную ссылку опального друга — уже тогда первого стихотворца России.

А через короткое время, как уже говорилось, тот же крайне общительный П. Яковлев ввел Дельвига и его друзей в дом Пономаревых. В альбоме, хранящемся в Пушкинском доме, имеются два автографа Дельвига. Одно стихотворение посвящено хозяйке:

София, вам свои сонеты
Поэт с весельем отдает:
Он знает, от печальной Леты
Альбом ваш верно их спасет.

И далее 4 сонета: «Н. М. Языкову», «Златых кудрей изящная небрежность», «Не часто к нам слетает вдохновенье», «Я плыл один с прекрасною в гондоле».

В альбоме, хранящемся в ЦГАЛИ, также два его автографа известных стихотворений: «Роза ль ты, розочка, роза душистая...» и другое, говорящее о все растущем увлечении хозяйкой дома:

О, чародейство красоты!
К любви по опыту холодный,
Я забывал, душой свободный,
Безумной юности мечты;
И пел, товарищам угодный,
Вино и дружество: но ты
Явилась, сердце мне для муки пробудила,
И лира про любовь опять заговорила.

В стихах Дельвига, посвященных Пономаревой, чувствуются грусть, понимание невозможности счастья с женщиной, которая не только несвободна, но и хочет нравиться всем одновременно:

Любви дни краткие даны,
Но мне не зреть ее остылой:
Я с ней умру, как звук унылый
Внезапно порванной струны.

Он предрек свою внезапную гибель, причиной которой была София, но уже другая женщина. София — имя для Дельвига оказалось роковым.

Совершенно по-другому относится к Пономаревой его друг Евгений Баратынский. Все его стихотворения выражают прежде всего разочарование, философские раздумья над превратностями жизни:

Дало две доли провиденье
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волненье,
Иль безнадежность и покой...

Видимо, поэт в отношении к Софье Дмитриевне предпочитал «безнадежность и покой». Это одно из стихотворений, вписанных в альбом, хранящийся в Пушкинском доме, другое — шутливое: «О, своенравная София, от всей души я вас люблю...» В альбоме ЦГАЛИ есть его известные стихотворения «Водопад» и «Слепой поклонник красоты». И снова чуть иронично обращается он к хозяйке альбома:

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы,
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей.
. . . .
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит.
И удивление — на счастье
От чар любви меня хранит.

Все стихи Баратынского, посвященные Пономаревой, пронизаны одной и той же мыслью о «немыслимости» счастья, о сопротивлении обольщению, которое может принести одни страдания. Уже в первых встречах он замечает:

Вы слишком многими любимы,
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам...

Дельвиг ищет сочувствия у Баратынского, и то ему отвечает стихами:

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

И заканчивает пространные рассуждения о тщете всего земного:

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

Оба друга «томились жаждою счастья», понимая его невозможность с предметом своего обожания и поклонения — Софьей Дмитриевной, однако ходили к ней почти каждый день, и казалось, другие женщины перестали для них существовать. Дельвиг за краткий миг взаимной любви предлагал свою жизнь. Баратынский умолял: «Не искушай меня без нужды». Он вопрошает очаровательницу:

Зачем, о, Делия! Сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?

Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной;
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.

Нет, Баратынский ни для себя, ни для своего друга Дельвига не хотел пути страдальцев, которых ждет одно пустое волненье, «души напрасное упованье». Позднее муки сомнений утихли, но годы дружбы сделали свое дело, и послания Баратынского потеряли свою мрачную укоризну. В последнем посвящении он пишет как истинный друг с долей нежности к милой женщине:

О, своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум...
. . . .
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему!
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всех забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры;

Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурной душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

Это стихотворение, написанное в 1823 году,— лучший поэтический портрет Софьи Дмитриевны. С другой стороны, оно подтверждает, что для Дельвига и Баратынского пора влюбленности в Пономареву была счастливым временем. Ее отношение к поклонникам не накладывало ни на кого «оков тяжелых». А настоящие муки любви для юных друзей-поэтов были еще впереди.

Не устаешь поражаться, как по-разному сложились впоследствии судьбы тех, кто так весело и мило писал в альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой.

Смешной, несколько нелепый Кюхельбекер бывал у Пономаревой очень редко, в основном по торжественным дням. В день именин хозяйки, 17 сентября 1821 года, он написал:

Да протечет твой новый год
Спокойно, как зерцало вод,
Как утра час, и тих, и ясен,
Как чистый свод небес прекрасен.

Типично альбомные стихи, ни на что, собственно, не претендующие.

Спустя ровно год в альбоме появляется запись самого верного друга А. Е. Измайлова (иногда он подписывался: Баснин):

И тот, кто мудрость ненавидит,
Кому судьба глаза одни дала,

Лишь только Вас увидит,
То скажет: «Мудрость как мила!»

Листая свои альбомы в 1823 году, Пономарева могла увидеть много ценных автографов всеми признанных знаменитостей, замечательных рисунков. Необычайно корявым почерком записаны собственной рукой ряд басен Ивана Андреевича Крылова — «Василек» (Пушкинский дом) и знаменитые «Лебедь, рак и щука» (ЦГАЛИ). Крылов своей проницательной, чуткой душой всегда мог отличить забавную мишуру от действительной прелести. За внешней игривостью он видел чудесную, искреннюю душу Софьи Дмитриевны.

Как хотелось иметь ей автографы А. С. Пушкина и В. А. Жуковского! Но первого не было в Петербурге, а второго слишком занимали служебные обязанности при дворе, частые поездки в Дерпт. С 1822 года в его петербургском доме принимала друзей его племянница Александра Андреевна Воейкова — истинная соперница и одновременно антипод Софьи Дмитриевны. Те, кто бывал у Жуковского, рассказывали о необычайно тихом, кротком очаровании этой женщины, о ее талантах и терпении по отношению к злобному и подлому супругу, литератору А. Воейкову. Но Пономарева не хотела даже думать о знакомстве, она не терпела соперниц и поэтому никогда не принимала женщин. Стихи В. А. Жуковского она почитала, и тексты, которые ей нравились, записывал Измайлов. Но о знакомстве с Воейковой даже не могло быть речи.

Однако одна женщина все же была рядом с ней — это друг и наперсница, поверенная тайн и выдумщица всяческих проказ итальянка Тереза, которая жила в ее доме. В альбоме (ЦГАЛИ) есть ее портрет в профиль, видимо сделанный П. Яковлевым. Чисто итальянский профиль с длинным носом и вы-

разительными, несколько мрачными глазами. Она откровенно некрасива и вовсе не женственна. Видимо, о ней все забывали около Пономаревой. Только Свербеев, любящий подробности, замечает: «В гостиной, кроме хозяйки, бывала только одна женщина, ее подставка, итальянка Тереза, участница во всех проделках, и чего-чего обе тут не делали».

Еще один известный поэт, правда не написавший ни одного стихотворения в альбом, украшал его охотно своими быстрыми, точными, нервными и выразительными рисунками. Это К. Н. Батюшков, у которого уже проявлялись признаки будущего психического расстройства. Он не мог пройти мимо выразительного контраста двух женщин, и на одном из рисунков можно узнать высокую, худощавую, носатую Терезу. Такая же гладкая прическа, лента в волосах и характерный профиль, как в альбомном портрете П. Яковлева. На нее изящно оперлась маленькая, пухленькая, очень хорошенькая женщина. Посмотрев на миниатюру, можно догадаться, кто эта прелестная чародейка. Батюшков нарисовал Софью Дмитриевну в какой-то странной, ведомой только его больной фантазии ситуации с огромными часами.

Неутомимое время! Софья Дмитриевна его почти не замечала, жизнь была наполнена творческими интересами, наслаждением искусством, безусловным поклонением литераторов и шаловливыми ответами на всевозможные знаки внимания.

По сравнению со множеством стихов, посвященных покорительнице сердец, иконография Софьи Дмитриевны крайне бедна. До сих пор был известен только портрет-миниатюра на обложке альбома, о котором уже упоминалось в начале очерка. Однако теперь, после знакомства с содержанием ее альбомов, можно назвать еще два. Один — исполненный Батюшковым, хоть и очень выразительный, но сделанный художником-дилетантом, хотя и талантливо.

Другой принадлежит кисти известного в то время художника Карла Кольмана, который исполнил для альбомов Софьи Дмитриевны множество прелестных акварелей-пейзажей и несколько маленьких акварельных портретов и бытовых сценок. На одном листе, в центре, видимо, изображен Измайлов в костюме украинского казака, а наверху, в крестьянском кокошнике, прелестное личико с узенькими глазками (вспомним, как Пономарева любила переодеваться в народные костюмы). Рядом с этой «барышней-крестьянкой» миловидный селянин, в котором угадываются черты В. И. Панаева. Портреты этих же персонажей можно найти и в рисунке О. Кипренского, где очень живо пером нарисовано несколько шаржированных голов в фас и профиль. Видимо, это постоянные посетители Общества любителей премудрости и словесности. Среди них угадываются изображения Измайлова, Панаева, характерный профиль Баратынского и других.

Но вернемся к стихотворениям, написанным в альбомах,— дарам любви и поклонения, сбору дани для «Благонамеренного». В альбоме, хранящемся в Пушкинском доме, кроме уже упомянутых нами стихотворных посланий Панаева, Дельвига, Баратынского есть стихотворения О. Сомова и А. Илличевского, несколько интересных басен Измайлова и его «Завещание друзьям», неожиданно трогательное и грустное:

Друзья! Когда умру — все, все ко мне придите
И на кладбище проводите,
А там уж, как хотите,
Гроб до могилы донесите,
То, правда, будет тяжело,
Но, слава богу, вас довольное число,
И, бросив на меня по горсточке землицы,
Скажите: дружбою он только счастлив был
И всей душой друзей и истину любил —

А вы, о дамы и девицы,
Которым столько я в альбомы написал,
Которым я не льстил, хотя и угождал!
Землею ручек не марайте,
Но бросьте каждая в могилу мне цветок;
А если жаль меня, букет или венок —
И лихом мертвого меня не поминайте.

В 1824 году кто-то привел в это веселое и шумное общество Кондратия Рылеева, и он, не желая уподобляться прочим воздыхателям, написал в альбом отрывок из своей поэмы «Войнаровский» — беседу героя с Мазепой. И заканчивает свой отрывок словами:

Уж близок час! близка борьба,
Борьба свободы с самовластьем.

Но такие гости, как Рылеев, были редки, и шумные, веселые, наполненные творческими радостями вечера шли своей чередой.

Вместе с умением писать в духе изящной словесности очень ценился юмор. Иронический тон часто скрывал истинное чувство. Илличевский 21 октября 1822 года пишет:

При виде вас, нахмуря лица,
Все шепчут жалобы одни:
Женатые — зачем не холосты они,
А не женатые — зачем Вы не девица.

И подписывается: «Неженатый».

Но более всего поэты славят красоту и мудрость хозяйки гостеприимного дома. Поэт Н. Ф. Остолопов игриво пишет:

Похожа хочешь ли ты на Амура быть?
Глаза лишь надобно закрыть —

Коль хочешь, чтоб Амур пленился сам тобой —
София! только их открой.

И снова его же остроумная шутка:

Какое множество я в жизнь мою
Имел наставников-тиранов!
От них я все познать хотел
И ночи целые над книгами сидел,
А толку не было!..
Но сжалилось теперь, я вижу, провиденье!
Конечно, мне сам бог сей случай ниспослал:
Я к вам пришел, София! Вас узнал
И — тотчас фило-софом стал.

В альбоме Софьи Дмитриевны Пономаревой рождались стихи, раскованное изящество которых вдохновлялось прелестной хозяйкой. Иногда поэты боялись не угодить Софье Дмитриевне, снова и снова пытаясь найти новые прекрасные сравнения для «несравненной»:

С познанием, с умом небесным ты сливаешь
Очарование прелестных глаз твоих,
Любезность, остроту с ученостью меняешь,
Резвишься, и поешь, и ценишь важность книг.
Краснеть от зависти ты женщин заставляешь
И от стыда мужчин, со всем уменьем их.

Так пишет О. Сомов, вскоре забросивший поэзию и ставший прозаиком и литературным критиком. Так же, как и П. Плетнев, считавший, что деятельность историка литературы и издателя ему более пристала, чем нежное стихосложение. Однако и этот друг Пушкина не избежал чар Софьи Дмитриевны:

По слуху мне знакома стала ты;
Но я не чужд в красавиц милой веры
И набожно кладу мои цветы
На жертвенник соперницы Венеры...

В дальнейшем Плетнев стихи писал редко. Он слишком ценил мнение Пушкина, чтобы не прислушаться к его словам, которые наверняка прочитал ему Лев Сергеевич из письма брата от 4 сентября 1822 года из Кишинева: «...вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи.— Он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец...»

Обаяние и шутливость Софьи Дмитриевны могли расшевелить даже самых серьезных. Так, молчаливый, словно ушедший в мир своих грез Н. Гнедич пишет шутливые стихи:

Хотя б все тетушки на вас похожи были,
Никто бы не хотел племянником их быть;
Их как племянникам нам должно бы любить,
А мы их более, чем тетушек, любили.

Но все-таки эмоциональнее всех выразил всеобщее поклонение старый друг Измайлов:

Могу сказать я про себя,
Что я отнюдь не льстец, лесть, право, ненавижу,
Умней, любезнее, прекраснее тебя
Из женщин не видал — и верно не увижу.

По воспоминаниям В. И. Панаева, написанным через много лет, видно, как раздражало его такое отношение, как хотелось ему выделиться из общей толпы поклонников и доказать, что любим был только он один. И среди всех стихов, полных почтительного поклонения или милой шутливости, появляются его весьма двусмысленные строчки:

Анакреон, в жару мечтаний,
Хотел быть Ниссы башмачком,
Чтоб ножку милую поймать тайком;

У всякого свой род желаний.
Я лучше б сделаться хотел
Моей Глицерии корсетом,
И признаюсь — уверен в этом,
Что мне завиднейший достался бы удел.

Это стихотворение Панаева датировано 28 мая 1821 года. В дальнейшем, обидевшись на хозяйку салона, он перестал посещать дом Софьи Дмитриевны. Но, видимо, ему хотелось, чтобы все думали, что его уход очень огорчил ее, и он пишет об этом так: «Чего только не употребляла она, чтобы возвратить меня. И ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова — все было напрасно, я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины? На другой день я насчитал у себя несколько первых седых волос.

...Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви. В марте месяце следующего года возвратился я из Казани помолвленным. Во вторник, на страстной неделе, она прислала меня поздравить. В первый день святого праздника еду к ним похристосоваться. Муж печально объявляет, что она нездорова, лежит в сильном жару. Прошел однако спросить, не примет ли она меня в постели, но возвратился с ответом, что не может, а очень просит заехать в следующее воскресенье. Приезжаю — какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в самый этот день от воспаления в мозгу!..»

Те, кто знал Софью Дмитриевну, были глубоко возмущены этими воспоминаниями и называли их «гнусными, нескромными и хвастливыми». Но это было уже через много лет после ее ранней смерти. На самом же деле после ухода Панаева салон продолжал существовать и вдохновлять поэтов на посвящения хозяйке и на другие стихи для «Благонаме-

ренного». Последнее посвящение в альбоме написано А. Дельвигом в 1823 году:

К С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

За Ваше нежное участье
Больной певец благодарит:
Оно его животворит,
Он молвит: «Боже, дай ей счастье
В сопутники грядущих дней!
Болезни мне, здоровье ей!
Пусть я по жизненной дороге
Пройду и в муках, и в тревоге;
Ее ж пускай ведут с собой
Довольство, радость и покой!..»

Однако свеча жизни Софьи Дмитриевны догорала. Уехал преданный, верный ее почитатель Илличевский. 15 февраля 1823 года, перед отъездом в Париж, он сделал последнюю запись в альбом (ЦГАЛИ), который он же несколько лет до этого открывал:

Увы, простите! до свиданья!
Лечу в далекие края,
Но с вами вопреки желанью
Печальный, расстаюся я.
Томимый горестью безмерно
Я царства и страны пройду,
Но женщин лучше вас наверно
Нигде на свете не найду.

Горестное предчувствие любящего сердца! Ему не суждено было увидеть Софью Дмитриевну живой, и никогда ни один образ не заменил ему его первую и последнюю любовь. Он умер в 1837 году холостым.

Литературное общество существовало не более трех лет.

Ранняя смерть его вдохновительницы оставила безутешных друзей, искренне и долго ее оплакивавших. Измайлов, Баратынский, Гнедич поспешили выразить стихами горечь утраты. Но печальнее всех прозвучала краткая, полная философского раздумья над жизнью и смертью эпитафия Дельвига:

Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой,
Скоро разбила ее: верно, утешилась там.

1824 г.

«БЕЗЗАКОННЫЕ КОМЕТЫ»

После смерти Софьи Дмитриевны Пономаревой Дельвиг и Баратынский расстались, и с 1824 года их жизнь текла врозь. Дельвиг все сильнее увлекался поэзией, все увереннее входил в литературные круги Петербурга. Баратынскому пришлось вернуться в Финляндию и тянуть лямку военной службы, но с поэзией тем не менее он не порывает.

Кончились чудесные вечера, которые они проводили в обществе «Мотылька», летевшего на огонь поэзии и любви и так рано сгоревшего. Но «милый» образ остался в памяти ее певцов.

В новых увлечениях они были верны своему прежнему идеалу.

А теперь обратимся к той, которой безраздельно отдал свое сердце Дельвиг.

Многое роднило ее с покойной Софьей Дмитриевной, даже имя. Софья Салтыкова была неплохо обра-

зованна, любила поэзию и считалась хорошей музыкантшей. Просвещенный ум и вспыльчивый характер она унаследовала от отца — крупного сановного чиновника, бывшего члена общества «Арзамас» Михаила Александровича Салтыкова. Легкомыслие, необычайную живость и влюбчивость — от матери — француженки, красавицы Елизаветы Францевны Ришар, которую Софья Михайловна потеряла семилетней девочкой. «Салтыков был весьма горд и смолоду неуживчивого характера»,— писал о нем А. И. Дельвиг, племянник поэта. По словам Д. И. Свербеева, «он был типом знатного и просвещенного русского, образовавшегося на французской литературе, с тем только различием, что он превосходно знал и русский язык».

Видимо, он хотел, чтобы и его дочь хорошо знала русский. Его желание сбылось, в пансионе ее преподавателем русской словесности стал П. А. Плетнев, который внушал своим ученицам большую любовь к современной литературе и к ее молодым представителям — А. С. Пушкину, А. А. Дельвигу, Е. А. Баратынскому, К. Ф. Рылееву и другим, с которыми Софи Салтыковой вскоре было суждено частое общение. Поэзию Пушкина она просто обожала.

В мае 1825 года Софи Салтыкова познакомилась с Дельвигом, который ей был интересен не только сам по себе, но и как друг ссыльного поэта. Дельвиг влюбился в нее с первого взгляда. Все напоминало ту, что ушла навсегда год тому назад: имя, любовь к поэзии и музыке, миловидность, прирожденное кокетство и женственность. Через две недели Дельвиг сделал предложение, которое и было принято. Смотря на брак очень серьезно и одновременно идеалистически, он писал своей невесте: «Я отдался тебе на жизнь и на смерть. Береги меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать меня высочайшим счастливцем, или ско-

рее скажи «умри, друг»,— и я приму это слово, как благословенье».

Пушкин, любивший Дельвига сердечно, живо откликнулся на дошедшие до него известия о предстоящей свадьбе и 23 июля 1825 года поздравил его в письме: «Ты, слышал я, женишься в августе, поздравляю, мой милый,— будь счастлив, хоть это чертовски мудрено. Целую руку твоей невесте и заочно люблю ее как дочь Салтыкова и жену Дельвига».

Пушкин немного поспешил, Дельвиг женился позднее — лишь 30 октября. А Пушкин отреагировал на письмо его друга от 5 июня к П. А. Осиповой. В нем Дельвиг объяснял причину своего долгого молчания: «Замешалась любовь и любовь счастливая. Ваш знакомец Дельвиг женится на девушке, которую давно любит (давно — это около месяца.— *Авт.*),— на дочери Салтыкова».

В сентябре Пушкин узнает, что свадьбы еще не было, и пишет другу: «Кланяйся от меня почтенному, умнейшему Арзамасцу, будущему своему тестю — а из жены своей сделай Арзамаску — непременно... Жду писем».

В день свадьбы П. Плетнев одарил свою ученицу и друга сонетом, напечатанным позднее в «Северных цветах на 1826 год» Дельвига:

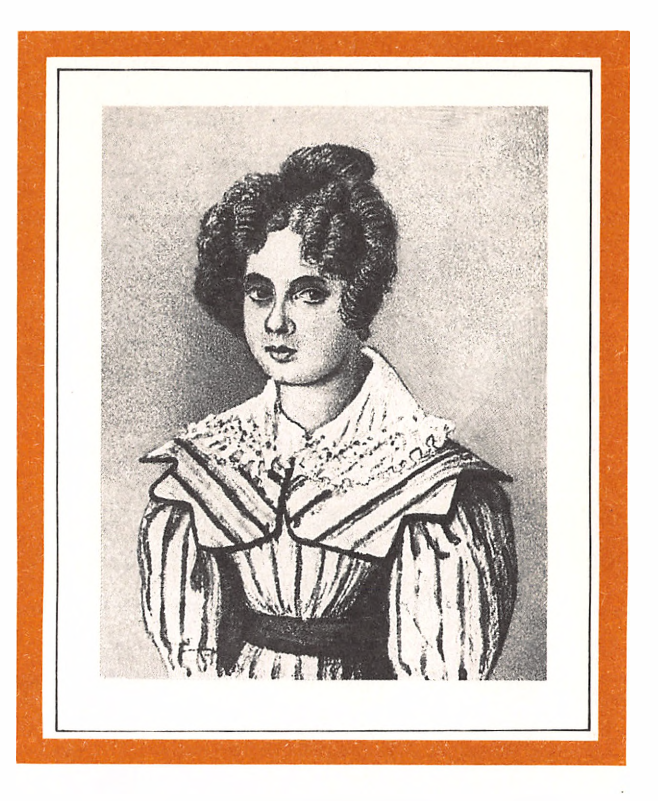
Была пора: ты в безмятежной сени,
Как лилия душистая, цвела,
И твоего веселого чела
Не омрачал задумчивости гений,
Пора надежд и новых наслаждений
Невидимо под сень твою пришла
И в новый край невольно увлекла
Тебя от игр и снов невинной лени.
Но ясный взор и голос твой и вид —
Все первых лет хранит очарованье,
Как светлое о прошлом вспоминанье,

Когда с душой оно заговорит —
И в нас опять внезапно пробудит
Минувших благ уснувшее желанье.

Вскоре после свадьбы Софи Дельвиг написала своей близкой подруге по пансиону Саше Карелиной (урожденной Семеновой, которая вышла замуж немного раньше за Г. С. Карелина, впоследствии известного ученого и путешественника, и жила в Оренбурге) восторженное письмо: «Наконец, вот я — счастливейшая из женщин, дорогой мой друг. Пишу тебе уже не из моей темницы на Литейной, а из кабинета моего дорогого Антоши. Я принадлежу ему с 30 октября. Наша свадьба совершилась... без торжества, утром. Мы сделали много визитов, что меня вконец утомило, но, благодарение богу, они все окончены, теперь их принимаем ежеминутно, и это также довольно скучно. Мне нечего говорить тебе, что я счастлива...»

И через неделю снова: «Ты не можешь представить себе, что я чувствую: невозможно быть более счастливой. Ты права, мой друг, — только покончив визиты и всю эту свадебную суету, вполне наслаждаешься, ничто не может сравниться со счастием жить с тем, кого любишь больше всего на свете. Я люблю теперь Антошу совсем иначе, чем любила его, будучи невестой: это небесная любовь, божественная, это восхитительное чувство, которое я не могу определить... Друг мой, какое это вознагражденье со стороны неба — добрый муж! заслужила ли я эту милость?..» Далее она перечисляет своих новых знакомых: «...это близкие знакомые моего мужа, как Козловы, Гнедич, Пушкин (Левушка, как его называют,— это брат Александра), г-жа Воейкова... Все это славные люди, без малейших претензий...»

Молодожены встречались с друзьями поэта, среди которых А. Бестужев, В. Кюхельбекер, К. Рылеев. Мечта Софьи Михайловны сбылась — она оказалась



С. М. ДЕЛЬВИГ.
Портрет К. Шлезигера.
1827 г.

в центре литературной жизни Петербурга. А прошло всего полтора месяца.

События 14 декабря 1825 года разразились как гром над молодой семьей. Дельвиг глубоко переживал гибель своих друзей, казнь Рылеева, ссылку лицейских товарищей, Софья Михайловна оплакивала гибель П. Каховского, своей первой юношеской любви.

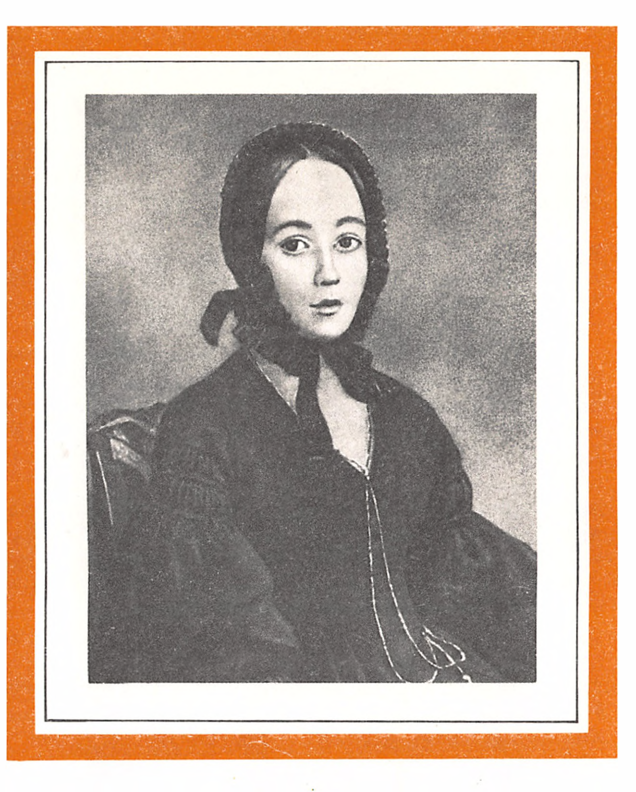
19 октября 1826 года на традиционной встрече лицеистов Дельвиг прочел свои стихи, где помянул тех, кого уже не было с ними,—И. Пущина и В. Кюхельбекера:

Но на время омрачим
Мы веселье наше, братья,
Что мы двух друзей не зрим
И не жмем в свои объятья.

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень,
Верьте. Внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень.

Время женитьбы Дельвига совпало с его издательской деятельностью в альманахе «Северные цветы», главным редактором и вдохновителем которого он стал. Квартира Дельвигов на Загородном проспекте, сначала в доме Кувшинникова (ныне Загородный пр., 9, дом перестроен), а затем, с 1829 года, в доме Тычинкина (Загородный пр., 1), становится важным литературным центром Петербурга.

В письмах подруге Софи продолжала описывать все подробности своей жизни, много писала об их общем учителе Плетневе, но более всего о своем муже Дельвиге. «Он особенно очарователен в своем интимном обществе, так как он застенчив и по большей части молчит, когда много народу, но в кругу людей, которые его не стесняют, он бывает очень приятен



А. П. КЕРН.
Портрет А. А. Арефова-Багаева.
1840-е гг.

своей веселостью, я также люблю слушать его, когда он говорит о литературе... и я всегда бываю очарована его вкусом, правильностью его суждений и его энтузиазмом ко всему тому, что поистине прекрасно».

Она пишет с восторгом о всех друзьях мужа — о Вольховском (который собирается проездом посетить Оренбург), о Баратынском и других, о том, что все с нетерпением ждут освобожденного от ссылки Пушкина.

По средам и воскресеньям, к вечеру, у них собирались писатели, сотрудники альманаха «Северные цветы», близкие родственники, друзья, лицейские товарищи, музыканты, художники. Казалось, Софи Дельвиг могла стать новой Пономаревой. Однако центром духовной жизни оставался Дельвиг, а его жена стала только предметом многочисленных ухаживаний. Способствовала тому отчасти Анна Петровна Керн, единственная в Петербурге подруга Софи Дельвиг, не любившей женского общества (в этом она тоже была похожа на Пономареву).

Керн поселилась в доме Дельвигов, будучи уже свободной женщиной (она была в разводе с генералом Е. Ф. Керном, за которого ее выдали в возрасте 16 лет). Однако она жила не только воспоминаниями, по-прежнему мечтала о поклонении и успехе в кругу литераторов. Это сближало двадцатилетнюю женщину с много пережившей и перечувствовавшей кокеткой, которой уже было под тридцать (по тем временам это был уже возраст заката). Об Анне Петровне уже много написано. Известны ее дневники, воспоминания и письма. В этом очерке коснемся только ее роли вдохновительницы поэтов и писателей, роли чуть увядающей музы, в то время, когда она была связана с домом Дельвигов. Каждая из подруг мечтала стать мадам де Сталь Петербурга.

Они много говорили о Пушкине. Софи Дельвиг интересовалась жизнью поэта особенно, потому что

считала его творчество несравненным. Вероятно, Керн рассказывала и об их первой встрече в январе 1819 года в доме ее тетушки Елизаветы Марковны Олениной, и о том, что уже тогда двадцатилетний Пушкин обратил на нее внимание. Могла Анна Петровна рассказать и о том, как судьба через несколько лет снова свела ее с Пушкиным. 8 декабря 1824 года он послал своему старому знакомому А. Г. Родзянко письмо из Михайловского, видимо помня молоденькую генеральшу, но как-то смутно: «Объясни мне, милый, что такое А. П. К... которая написала много нежностей обо мне своей кузине (в письмах к А. Н. Вульф Керн писала «нежности» о поэзии Пушкина.— *Авт.*). Говорят, она премиленькая вещь — но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый, напиши на это все элегию или хоть эпиграмму».

И Родзянко писал:

Расставшись, может быть и вечно,
С той, кем живет душа моя,
Ты хочешь знать, мой друг сердечный,
Чем в горе занимаюсь я?
Тем занимаюсь постоянно,
Чего отнять нельзя судьбе:
Вчера, сегодня, беспрестанно
Люблю и мыслю о тебе.

Такие стихи он мог бы посвятить и Анне Петровне.

Думается, что она не слишком высоко ценила такую поэзию, но все же это был первый в ее жизни поэт — поклонник. И он тоже рассказывал ей о Пушкине и давал читать его новые произведения.

Анна Петровна рассказывала Софи, как в июне 1825 года она поехала в гости к своей родственнице

П. А. Осиповой в Тригорское со страстным желанием снова увидеть Пушкина. Вдохновило ее на поездку и письмо кузины Аннет Вульф: «...ты произвела глубокое впечатление на Пушкина при твоей встрече с ним у Олениных, он все говорит, она была слишком блестяща». А в другом письме приписка рукою самого поэта-изгнанника: «Видение пронеслось мимо нас, мы видели его и никогда опять не увидим».

Возможно, Керн вспоминала, как робок он был при первой встрече, и о том, что в последующие дни бывал то шумен и весел, то грустен, то дерзок. «Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлеченностью его речи...»

«Он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слушали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от жгучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах: „и голос, шуму вод подобный“».

Анна Петровна могла рассказать, как она пела на стихи Козлова: «Ночь весенняя дышала светлоюжною красой...» И Пушкин потом восхищался чрезвычайно, и даже написал своему другу П. Плетневу: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его «Венецианскую ночь». Жаль, что он не увидит ее, но пусть вообразит себе красоту и задушевность, по крайней мере, дай бог ему ее слышать».

А накануне отъезда в Ригу Керн вместе с Анной Вульф и П. А. Осиповой решили съездить поздно вечером в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этой неожиданной прогулке в чудесный июнь-

ский вечер. Даже хвалил луну, которую всегда называл «глупой», и говорил: «Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо».

Позже они гуляли по саду в длинных аллеях старых деревьев, о корни которых Керн спотыкалась, а ее спутник держал ее за руку. Они тогда вспомнили свою первую встречу у Олениных и были очень взволнованны...

На другой день Пушкин пришел проводить отъезжающих и на прощание подал экземпляр второй главы «Евгения Онегина», между страницами которого лежал сложенный лист бумаги. «И когда я,— рассказывала Керн,— собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю...»

Что бы ни подумал тогда Пушкин, но стихи, которые он написал, стали одним из шедевров любовной лирики, и благодаря им на могилу А. П. Керн до сих пор кладут цветы потомки. Эти стихи можно читать бесконечно, они звучат как музыка:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Анна Петровна уехала. Вернее сказать, ее постаралась поскорее увезти П. А. Осипова. Пушкин писал ей из Михайловского. В письмах этих он выражал «и жизнь, и слезы, и любовь».

Из них видно, как точно он понимал характер Анны Керн. Она была дитя своего века. Единственной «свободой», единственным выходом, скрашивающим жизнь с нелюбимым и старым мужем, было чувственное увлечение, легкомысленное кокетство. В XIX веке подобных замужеств было немало: выда-

вали чаще всего родители, не спросясь сердечной склонности своих дочерей, и считалось, что для прочности союза муж должен быть много старше своей жены. И жизнь оказывалась «прибитой на цвету». Одни страдали, терпели и были преданы долгу, другие стремились хоть каким-то образом освободиться от своих оков. Пушкин это хорошо понимал и дал Керн характеристику в письме к П. А. Осиповой: «Хотите ли вы знать, что за женщина г-жа Керн? У нее гибкий ум, она понимает все; огорчается легко и так же легко утешается, робка в приемах обращения и смела — в поступках; но она чрезвычайно привлекательна».

Зная, что это письмо увидит и Анна Петровна, Пушкин писал: «Простите, божественная. Я бешусь, и я у ваших ног. Тысяча любезностей Ермолаю Федоровичу (Керну.— *Авт.*) и г. Вульфу (Алексею Николаевичу.— *Авт.*)».

Положение Пушкина было более чем сложным. В ту пору он задумывал бегство из ссылки, был озабочен денежными делами и изданием своих сочинений. Он любил, он ревновал...

Прасковья Александровна, возмущенная перепиской Керн с Пушкиным, кокетством с ее сыном, который тянул свой отъезд из Риги в Дерпт, где учился в университете, и плохо идущим примирением с генералом Керном, махнула на все рукой и вернулась в Тригорское. Тем временем Анна Петровна получила письмо, адресованное тетушке от Пушкина, и конечно же его прочла, на что он и рассчитывал: «...ваше последнее письмо (писанное в полночь) прелестно, я смеялся от всего сердца, но вы слишком строги к вашей милой племяннице; правда, она ветрена, но — терпение: еще лет двадцать — и, ручаюсь вам, она исправится (в отношении Керн он ошибался: через два десятка лет она вышла второй раз замуж за своего дальнего родственника, бывшего на

двадцать с лишним лет моложе ее.— *Авт.*). Что касается до ее кокетства, то вы совершенно правы: оно способно привести в отчаяние. Как не довольствоваться тем, чтобы нравиться своему повелителю г. Керну, коль скоро она имеет это счастье? Так нет, нужно еще кружить голову вашему сыну, своему кузену! Приезжает она в Тригорское, и ей приходит на ум пленить г. Рокотова (И. М. Рокотов — пожилой помещик, сосед Осиповых.— *Авт.*) и меня...» И дальше все письмо написано в таком же шутливом тоне, сквозь который иногда прорывается досада.

Письмо к самой Керн вложено в тот же конверт и тоже написано в полушутливом тоне. Он приглашает ее срочно бросить мужа и приехать в Михайловское, чтобы удивить всю родню. «А главное, дайте мне надежду вновь увидеть вас. Иначе, я, право, постараюсь влюбиться в кого-нибудь другого. Но, право, если приедете, обещаю вам, что буду необыкновенно любезен; я буду весел в понедельник, восторжен во вторник, нежен в среду, находчив в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, буду всем, чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног...»

И еще через месяц, 22 сентября 1825 года, поэт снова послал письмо Керн, в котором ревнует ее к Алексею Вульфу и снова надеется на ее приезд.

В октябре Керн ненадолго приехала вместе с мужем в Тригорское, якобы мириться с тетушкой. Конечно, это был только предлог, на самом деле ей хотелось повидать Пушкина, а может быть, и получить новую поэтическую дань. Она видела его несколько раз в присутствии мужа и всего семейства Осиповых-Вульф и вскоре снова уехала в Ригу.

Неожиданно для Пушкина пришла для него посылка от Керн — собрание сочинений его любимого поэта Байрона. Пушкин послал ей благодарственное письмо 8 декабря 1825 года: «Никак не ждал, очаро-

вательница, что вы обо мне вспомнили, и благодарю вас от души. Байрон получил теперь для меня новую прелесть. В моем воображении все героини его облекутся отныне для меня в черты незабвенные... Вы отправляетесь в Петербург, мое изгнание тяготеет надо мной, как никогда». (А. П. Керн окончательно порвала с мужем и поехала жить в Петербург.) И заканчивает свое последнее любовное письмо к Анне Петровне: «Беру снова перо, чтобы сказать вам, что я у колен ваших, что все люблю вас, что ненавижу вас порою... что больше сил моих нет, что вы божественны и пр.»

Анна Петровна с нетерпением ждала возвращения Пушкина в Петербург. Была знакома с его родителями и дружила с сестрой. Жила с ними в одном доме и лишь позднее переехала в дом, где жили молодожены Дельвиги.

...Чем могла ответить молоденькая жена Дельвига на рассказы своей старшей подруги о своих победах и романах? Она испытала только одно увлечение до брака, и то о нем можно было рассказывать шепотом и под большим секретом: предмет ее любви недавно закончил жизнь на эшафоте. Как романтическую легенду могла она поведать Анне Петровне о своем романе с Петром Григорьевичем Каховским, одним из участников восстания 14 декабря 1825 года.

Летом 1824 года она гостила вместе с отцом под Смоленском, в имении своих родственников Пассеков. Их сосед, молодой Петр Каховский произвел на нее большое впечатление. «Каховский заставлял нас много смеяться,— рассказывала она подруге.— Сколько ума, сколько воображения было в этой молодой голове! Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость!.. Он был хорошо образован, воспитан, и хотя никогда не говорил по-французски, однако знал этот язык, читал свободно, но не любил, как русский, помня, как мальчиком был в плену у францу-

зов, в Москве в 1812 году. Русская литература составляла его отраду, у него была редкостная память,— я не могу сказать тебе, сколько стихов прочел он мне!.. Пушкин и его поэма «Кавказский пленник» нравились ему невыразимо, он знал поэта лично и декламировал очень много его стихов, которые были не напечатаны и которые поэт сообщил только своим друзьям».

Вскоре Каховский объяснился в любви и предложил руку и сердце. Но отец избранницы наотрез отказал ему, как человеку, не имеющему состояния и определенного рода занятий, и заставлял Софи возвращать письма Каховского нераспечатанными. После этого она решила, что если когда-нибудь выйдет замуж, то не «по страсти», потому что увидела, что все первые порывы страсти лишь безрассудство, которое ведет к раскаянию и дает лишь призрачные радости. Через год она вышла замуж за доброго, умного Дельвига.

Грустно, наверное, было Дельвигу смотреть на двух кокетливых подруг, одна из которых была его женою. Однажды супруги взяли с собой Керн в гости и Дельвиг пошутил, указав на Софи: «Это моя жена», а потом на Анну Петровну: «А это вторая». Шутка эта повторялась, так как Софи Дельвиг и Керн какое-то время были совершенно неразлучны. Все в их жизни складывалось не совсем так, как они мечтали. Они не стали идеалом литераторов. Изменилось время, особенно после событий 1825 года. Менялись и идеалы.

Пушкин, вернувшийся из ссылки, и его ближайшие друзья не остались в стороне от этих событий, они высоко оценили нравственное величие декабристов и их жен, последовавших за ними в ссылку. Пушкин сам провожал в Москве, в доме Зинаиды Волконской, Марию Волконскую. Он же вручил Александре Муравьевой стихи «Во глубине

сибирских руд» и для личной передачи Ивану Пущину — «Мой первый друг, мой друг бесценный».

Стало ясно, что женщина живет не только отраженным светом мужской половины рода, но является его равноправным другом и может даже разделить его политическую судьбу. Заложенные в детские и юношеские годы нравственные принципы, в формировании которых большую роль играли литература и искусство, дали о себе знать в переломный момент истории, в поступках жен декабристов.

Их подвиг оказал на всю общественную жизнь глубокое нравственное влияние. Все увидели лучшие душевные качества женщин, их способность к самопожертвованию, мужеству, энергичному сопротивлению несправедливости. Эти женщины не были идейными борцами в нашем понимании этого слова, но они показали всепонимающую любовь к пострадавшим, их главная сила заключалась в верности долгу и душевной стойкости. Недаром А. И. Тургенев писал в своем дневнике, что воспоминание о женщинах, которые целовали кандалы своих мужей, «усладило его сердце».

В конце 1820-х годов женский идеал, воспетый Карамзиным и Жуковским, уходит в прошлое. Умирает Маша Протасова. Тихо чахнет в далекой Италии Воейкова. Скоро туда же уедет на всю жизнь поэтесса и музыкантша Зинаида Волконская. «Ночная княгиня» покинет Петербург и будет жить в Париже. Мысли многих несутся в Сибирь... Там лучшие из женщин, а здесь пустота и мишура светского безделья. Наступает безвременье. Новый идеал еще не родился.

Думается, Пушкин, увидев вновь Анну Петровну Керн в Петербурге в 1827 году, сильнее ощутил ее слабости и не нашел в своей душе былого чувства. Он видал ее у родителей, которых она ежедневно посещала, но часто был рассеян и холоден. Анне Пет-

ровне очень хотелось привлечь его внимание, и она дарит ему в день рождения кольцо своей матери. На семейном празднике не было младшего брата, Льва. И Анна Петровна кокетливо прочла его стихи, ей посвященные:

Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь;
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь;
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас прятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!

Пушкин похвалил стихи брата. Он не ревновал больше Анну Петровну ни к кому, ни к своему брату Льву, ни к ее кузену Вульфу. Он мог кататься с ней на лодке, отдарить кольцо с тремя маленькими бриллиантами, находиться в близких отношениях, когда ему этого хотелось, и совершенно отдаляться, когда его занимала работа или другие увлечения.

Анна Петровна видела его нечасто, потому что он редко посещал родителей. А ей, наверное, хотелось не только быть к нему поближе, чаще видеть, разговаривать, но она еще мечтала, что вернется былая страсть и новое вдохновение подарит ей новые стихи. Но ни стихов, ни писем уже не было.

Можно предположить, что переезд в один дом к Дельвигам был предпринят ею для того, чтобы чаще видеть Пушкина. Привлекало, конечно, и общество литераторов, которое группировалось вокруг Дельвига. Но новой Пономаревой, как мы уже говорили, не получилось ни из Софьи Дельвиг, ни из Анны Керн. Однако отблеск общения с людьми талантливыми и даже гениальными падал на них, и впоследствии они обе не устают об этом вспоминать.

Весной 1827 года молодой 22-летний литературный критик (позднее профессор русской словесности, академик, цензор) А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Несколько дней тому назад госпожа Штерич праздновала свои именины (родственница М. А. Щербатовой, которой посвящал стихи М. Ю. Лермонтов.— *Авт.*). У ней было много гостей и в том числе новое лицо, которое, должен сознаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Когда я вечером спустился в гостиную, оно мгновенно приковало к себе мое внимание. То было лицо молодой женщины поразительной красоты. Но меня всего больше привлекла к ней трогательная томность в выражении глаз, улыбке, в звуках голоса.

Молодая женщина эта — генеральша Анна Петровна Керн». Далее он записывает, почему Анна Керн разошлась со своим мужем, видимо сочувствуя ей. После он еще не раз встречался с ней, все более очаровываясь прелестью ее обращения и тем вниманием, которое она ему оказывала. Он восторженно говорит с ней о литературе, о чувствах, о жизни.

«Я не могу оставаться в неопределенных отношениях с людьми, с которыми меня сталкивает судьба,— говорила ему Керн.— Я или совершенно холодна к ним, или привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь».

Так как эти слова были произнесены особым тоном и сопровождались тем неотразимым взглядом, который отмечал неоднократно еще Пушкин, то молодой человек был наверху блаженства. Но, увы, оно скоро кончилось. На другой же день она посмотрела на него очень холодно. Анна Петровна с восторгом рассказывала о приезде в Петербург А. С. Пушкина, была полна новых надежд, и на долю Никитенко уже ничего не оставалось. Понуро он удалился, давая себе слово забыть кокетку.

Но на этом их знакомство не закончилось. Керн сама пригласила молодого человека к себе через несколько дней и опять кокетничала с ним. «Она говорила, что понимает меня, что желает участвовать в моих литературных трудах, что она любит уединение, что постоянна в своих чувствах, что ее понятия почти во всем сходны с моими...» Никитенко даже приболел от волнения. А за это время Керн переехала на другую квартиру, в дом к родителям Пушкина, и имела возможность часто видеть поэта (это было еще до переезда в дом Дельвигов). Но и о своем новом поклоннике она не забыла и пригласила его письмом. Он пришел, долго разговаривал с обольстительницей и когда уже уходил, появился Пушкин. Он поразил Никитенко своей внешностью, особенно выражением глаз. «Глаза непременно остановят вас,— записал он в этот день в своем дневнике,— в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи,— прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства».

Умный, тонко чувствующий юноша произвел впечатление на Керн, и она затеяла с ним переписку, а потом дала почитать часть записок из своей жизни, которые уже тогда были первыми опытами в собственном литературном творчестве. Никитенко очень трезво оценил и тон ее записок, и ту роль, которую она хотела сама в них играть. Его оценка касается не только характера Керн, но и многих женщин ее круга, имеющих склонности к поэзии и искусству:

«...Люди, одаренные пламенным воображением, но без сильного рассудка и твердой воли, напрасно думают, что они сотворены с таким-то сердцем или такими-то наклонностями; я полагаю, что при лучшем воспитании то и другое было бы у них лучше. Мечтательность, неопределенность и сбивчивость понятий считаются ныне как бы достоинствами, и люди с благородными наклонностями, но увлекаемые ду-

хом времени, располагают свое поведение по примеру героев нынешней романтической поэзии... Надо заставить себя мыслить: это единственный способ сбить мечтательность и неопределенность понятий, в которых ныне видят что-то высокое, что-то прекрасное, но в которых на самом деле нет ничего, кроме треска и дыму разгоряченного воображения».

А. В. Никитенко, сын крепостных, выкупленный на волю при содействии К. Ф. Рылеева, умел трезво мыслить и хорошо понял природу таких женщин, как Керн или Софи Дельвиг, склонных совершать опрометчивые поступки, сбивчивые по своим нравственным понятиям и неподвластные рассудку.

И если вспомнить, как молодой Языков или доктор Зейдлиц поклонялись Маше Мойер (Протасовой) или ее сестре А. А. Воейковой (Зейдлиц в память Маши провел несколько лет у постели ее больной сестры, забросив все другие занятия.— *Авт.*), то мы увидим, что исчезновение идеала рождало горькие и трезвые мысли у молодых людей и страдания у более старшего поколения, воспитанного на поэзии Карамзина и Жуковского.

Никитенко откровенно записывает в своем дневнике: «Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной (Керн.— *Авт.*). Она удивительно неровна в обращении, и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает ее от них».

И когда он высказал ей что-то в этом роде, то встретил отпор, Керн хотела по-прежнему оставаться в глазах других «гением чистой красоты». Они обменялись письмами по поводу своих литературных трудов и уже окончательно поняли несходство в своих воззрениях, и прежде всего в главной теме — любовных чувств. «Я нежен,— пишет Никитенко,—...но сие тонкое чувство слишком глубоко скрыто в моем сердце, оно слишком дорого для меня,

слишком разборчиво, чтобы быть обыкновенным явлением в моей жизни». Какой урок женщинам, кокетство которых превращалось в неискренность, а страсть — в разменную монету за новые поэтические посвящения.

Несходство взглядов и трезвая оценка молодого человека, говорящего: «Женщина эта очень тщеславна и своенравна. Первое есть плод лести, которую, она сама признавалась, беспрестанно расточали ее красоте... а второе есть плод первого, соединенного с небрежным воспитанием и беспорядочным чтением».

Этот несостоявшийся роман, видимо, оставил след в душе А. В. Никитенко (в трех томах «Дневников» он никогда больше не пишет о своих увлечениях, лишь упоминает, что женат, имеет детей и снимает для них дачи).

...О доме Дельвига очень подробно пишет его племянник А. И. Дельвиг, часто там бывавший: «В доме Дельвига открылся для меня новый мир...», и среди гостей и завсегдатаев он перечисляет Пушкина, его родителей и брата Льва, П. Плетнева, В. Одоевского, М. и П. Яковлевых, О. Сомова, А. Илличевского, Е. Розена, А. Подолинского, В. Щастного и многих других поэтов, музыкантов, художников, друзей по Лицею.

И далее он описывает хозяйку дома: «Софье Михайловне Дельвиг... только что минуло 20 лет. Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся».

Далее он вспоминает, что в зиму 1826/27 года приехал из Москвы в Петербург молодой поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов: «...человек с большим дарованием, отлично образованный и весьма

красивый собой. Он был у Дельвига как в своей семье. Его очень любили, ласкали и уважали». 15 марта 1827 года он умер в возрасте 22 лет.

Пушкин не застал его в живых и как-то спросил Керн: «Зачем вы допустили его умереть? Он тоже был влюблен в вас — не правда ли?» И она отвечала ему, что Веневитинов выказывал только нежное участие и был другом и что сердце его давно уже принадлежало другой (Зинаиде Волконской — поэтессе и певице). Тут, кстати, рассказала и о беседах с Веневитиновым, полных высокой чистоты и нравственности; о его желании нарисовать ее портрет (Веневитинов хорошо рисовал, известны его портреты Зинаиды Волконской) и о той скорби, какую испытывала при получении от Хомякова (поэт, глава славянофилов, друг Веневитинова) посмертного изображения Веневитинова. Пушкин слушал ее рассказ внимательно, выражал досаду, что так рано умер чудный поэт...

Керн в своем альбоме рядом с портретом Веневитинова переписала стихи Дельвига:

НА СМЕРТЬ ВЕНЕВИТИНОВА

Дева

Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался!
Розе подобный красой, как Филомела ты пел,
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты.

Роза

Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! И любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.

Племянник Дельвига вспоминает, что Керн в 1827—1828 годах была уже не так хороша собой

(конечно, ему, тогда 16-летнему юноше, она казалась и не очень молодой) и что ему не нравилась тесная дружба жены дяди с Керн. Ему казалось, что она старается поссорить мужа с женой. Кроме того, он был недоволен тем, что Анна Петровна завела интригу с его старшим братом Александром, а поссорившись с ним, стала соблазнять и его самого.

Но в душе у нее надолго оставался Пушкин. Каждую встречу с ним она запоминала особо и потом описала в своих «Воспоминаниях». Она вспоминала тот день, когда восхищалась его чтением «Цыган» в Тригорском и попросила экземпляр себе на память. Он прислал их в тот же день с надписью на обложке: «Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут № 10 (Пушкин жил по этому адресу.— *Авт.*)». Вероятно, Пушкин и совсем бы с нею не встречался, если бы Керн не жила «при Дельвигах». А туда он ходил очень часто. И если уезжал, то по приезде сразу же бежал к Дельвигу, и та же Анна Петровна так описывает встречу друзей: «Они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».

И когда в доме Дельвигов собирались литераторы, то обе дамы не упускали случая получить какую-либо дань в свой альбом.

«Однажды,— описывает Керн,— Пушкин зашел... и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.
Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,

И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.
Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души».

Это были последние стихи, написанные в альбом Анне Петровне. Но и они уже были не о ней, а об обманутых надеждах, о поверженных идеалах, отчего и «душе влюбленной грустно было». Однако это стихотворение уже касалось его неразделенного увлечения дочерью А. Н. Оленина.

С досадой признается Керн, что Пушкин в это время «очень усердно ухаживал за одной особой (имеется в виду Анна Оленина.— *Авт.*), к которой были написаны стихи... Несмотря, однако же, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об Олениной с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них».

Из дневника Керн видно, как ревниво относится она к тем «прелестным стихам», которые посвящает Пушкин А. Олениной (ее двоюродной сестре) и А. Закревской. Ведь стихи, которые посвящают ей другие поэты, далеко не так «прелестны».

Но страстной любительнице возвышенных чувств и поклонения блеснул луч надежды в лице молодого поэта, двадцатидвухлетнего Андрея Ивановича Подолинского. Он увлекся Керн, правда ненадолго, и посвятил ей восторженные стихи:

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темно-русы,

Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы,
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей,
И тихий звук ее речей
Рождает негу и желанье
В груди тоскующей моей.

Анна Петровна не замедлила показать Пушкину альбом, куда были вписаны эти стихи. Ей хотелось вызвать у него ревность. А он засмеялся и написал тут же, чуть пониже:

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «В день Ильи-пророка
Она была разведена».

Анне Петровне стало очень обидно, и другое стихотворение Подолинского «К ней» она уже Пушкину не показала, хотя, по ее мнению, оно заканчивалось прекрасно:

Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно...
Звезды златой, звезды прекрасной
Не досягнет его рука.

1828 год был полон развлечений, увеселительных поездок для всех членов кружка Дельвига. Сам он был занят кипучей деятельностью сбора материалов для «Северных цветов», восхищаясь творческим подъемом поэзии Пушкина.

«Зимой 1828 года Пушкин писал «Полтаву»,— вспоминает А. П. Керн,— и полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне

в комнату, повторяя последний написанный им стих: И грянул бой, Полтавский бой!»

Он мог читать ей стихи как домашнему человеку Дельвигов, но посвятил свою любимую поэму далекой Марии Волконской, уехавшей в Сибирь разделить участь мужа. Туда снова и снова несутся мысли поэтов в поиске идеала чистой любви, преданности долгу и чести.

А дома у Дельвигов Пушкин видел все не таким, как мечталось, как хотелось бы. Он замечал, что многие пользуются снисходительностью, терпимостью и даже великодушием хозяина дома. Дельвиг молчал, когда ему что-то не нравилось, и только иногда говорил: «Забавно». О жизни в доме Дельвигов написано очень много и в «Воспоминаниях» А. П. Керн, и племянника — А. И. Дельвига. Оба они очень много пишут о Пушкине и его необычайной дружбе с Дельвигом. В их воспоминаниях все кажется безоблачным — веселые вечеринки, литературные чтения, прогулки в Юсуповом саду, поездка целым обществом на Иматру, музыка молодого М. И. Глинки, который также вошел в тесный круг питомцев муз.

Многие считали, что Дельвиг — один из добрейших, примечательнейших людей своего времени. Что он самый лучший из друзей и уж конечно лучший из мужей. Он всегда всем старался доставить радость, сделать приятное. Но мало кто замечал, как он страдает. Наверное, это все-таки чувствовал Пушкин, по-видимому не питая симпатии к его жене. В письмах он называет ее сухо «баронесса». Иногда спрашивает: «Что баронесса?»— и все. Ее же письма звучат всегда восторженно по отношению к Пушкину, особенно в начале их знакомства. В мае 1827 года она пишет своей подруге А. Н. Карелиной: «Я познакомилась с Александром (Пушкиным),— он приехал вчера и мы провели с ним день у его родителей... Надобно было видеть радость матери Пушкина:

она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе,— я думала, что их объятьям не будет конца». И через несколько дней: «Вот я провела с Пушкиным вечер... Он мне очень понравился...» Прошло менее года, и при посылке «Северных цветов на 1828 год» с портретом поэта работы О. А. Кипренского, гравированным Н. Уткиным, Софи Дельвиг пишет: «Вот тебе наш милый, добрый Пушкин. Его портрет поразительно похож, как будто ты видишь его самого. Как бы ты его полюбила, ежели бы видела его, как я, всякий день. Этот человек, который выигрывает, когда его узнаешь».

Но 18 октября 1828 года произошло непредвиденное. Жена Дельвига была наедине с Алексеем Вульфом на квартире Керн. Пришел Пушкин и увидел их довольно растерянными. Когда вернулась Керн, Софи ей все рассказала и очень сокрушалась, что мнение о ней Пушкина теперь самое плохое, и не без оснований. Чтобы ее несколько утешить, Керн показала ей стихотворение Пушкина, присланное в 1825 году А. Родзянке в ответ на их совместное письмо и переписанное ею:

Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной...
Поговорим опять об ней...

. . . .

Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода!
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:

При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои:
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

Эти стихи несколько утешали Софи.

Но, когда дело касалось его любимого друга Дельвига, Пушкин сделался непримиримым. Вопросы чести поэт ставил выше жизни. Его юношеские стихи были просто шуткой.

В 1830 году к завсегдатаям общества прибавились поэт М. Д. Деларю и младший брат поэта Баратынского Сергей. Красивый, умный, пылкий юноша увлекся Софьей Дельвиг, начался новый роман этой легкомысленной женщины, у которой на руках была маленькая дочь Лизонька.

Дельвиг весь ушел в литературные занятия: кроме альманаха «Северные цветы» он стал издавать в 1830 году «Литературную газету». Сам он к тому времени почти ничего не писал, но однажды не смог сдержать нахлынувших чувств:

За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
«Верь сердцу, я тебя люблю!»
И мне ль не верить? Я так много,
Так долго с пламенной душой
Страдал, гонимый жизнью строгой,
Далекий от семьи родной.
Мне ль хладным быть к любви прекрасной?
О, я давно нуждался в ней!
Уж помнил я, как сон неясный,
И ласки матери моей.
И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.

Чувство достоинства было оскорблено в личной жизни. Вскоре это коснулось и его общественного положения. Раннюю смерть Дельвига связывают с нравственным потрясением от вызова к шефу жандармов А. X. Бенкендорфу, который обрушился на него по поводу якобы антиправительственного направления «Литературной газеты» и кричал: «Вон, вон, я упрячу тебя вместе с твоими друзьями в Сибирь!»

Эта грубость выходила за всякие рамки приличия. Через несколько дней Бенкендорф прислал Дельвигу свои извинения. Но оскорбленный Дельвиг уже ни на что не реагировал. Для него круг замкнулся. Покой и достоинство, необходимые поэту, всю жизнь ищущему гармонию в жизни, были безжалостно разбиты. Он слишком долго и молчаливо страдал, и это его убивало. Он хотел только одного — умереть. 14 января 1831 года Дельвиг тихо скончался.

Смерть друга потрясла Пушкина. 21 января он писал Плетневу: «...никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели». Ему же писал Е. Баратынский: «Потеря Дельвига для нас незаменима. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, боже мой! Как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратимо прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения таких выражений».

И каким контрастом, даже можно сказать духовным диссонансом, звучат слова Керн в письме к Алексею Вульфу, когда среди новостей и пустой болтовни она вдруг спохватывается: «Забыла тебе ска-

зать новость: Б. Д. (барон Дельвиг.— *Авт.*) переселился туда, где нет ревности и воздыханий!»

Она к этому времени была уже в ссоре с его женой, отселилась от них и так скорее всего выразила свою досаду. Позднее помнила только хорошее и писала в своих «Воспоминаниях» о Дельвиге восторженно, его жену не поминала почти совсем. Но это много позднее...

Она не приехала утешать вдову, оставшуюся с маленькой дочерью на руках. Софи Дельвиг была крайне непрактична, неопытна в делах и совсем растерялась. Она была потрясена смертью мужа и в феврале 1831 года писала подруге в Оренбург: «Это рана, которая никогда не закроется. Потерять такого друга, как он, в таком возрасте! После того, что я испытала такое глубокое счастье в продолжение пяти лет. Можно ли когда-нибудь забыть его! Он был человек необыкновенный и муж необыкновенный. Конечно, я не была достойна такого человека, однако было слишком жестоко отнять его у меня...»

Обливаясь слезами, читала она одно из самых последних стихотворений покойного мужа, которое могла понять, как никто другой:

Смерть, души успокоенье!
Наяву или во сне
С милой жизнью разлученье
Объявить слетишь ко мне?
Днем ли, ночью ли задуешь
Бренный пламенник ты мой.
И в обмен его даруешь
Мне твой светоч неземной?

. . . .

Но ночною тишиною
Съединиться можно нам:
На одре один в молчанье
О любви тоскую я,
И в напрасном ожиданье
Протекает ночь моя.

После смерти мужа она наняла маленькую квартирку и решила посвятить жизнь своей дочери, которой было всего 8 месяцев. Плетнев и Деларю, Сомов и Михаил Яковлев бывали у нее почти каждый день. Ей приходилось трудно: она совсем не понимала условий практической жизни, ей неизвестно было, как и на что жить дальше. Но прошло всего два месяца, как лицейский товарищ Дельвига Михаил Яковлев предложил ей выйти за него замуж и описал подробно план их будущей жизни. Софья Михайловна оставила это письмо без ответа. Но через неделю Яковлев снова прислал письмо, в котором повторял изложенное в первом о своей любви, прибавляя, что, разделяя ее горе, готов ждать, сколько ей будет угодно, до того момента, когда она осчастливит его своим согласием; умолял подать хоть какую-нибудь надежду. И это письмо было оставлено без ответа.

Однако в конце мая приехал Сергей Баратынский, который проявил настойчивость, уговаривая молодую вдову составить его счастье.

«Его отчаяние,— писала Софи подруге,— малая надежда на изменение его страшного решения (грозил самоубийством), отвращение к предстоящей мне совместной жизни с моим отцом, наконец, одна минута слабости — и все это решило мою судьбу, и я не смогла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием».

Вскоре они тайно для всех обвенчались. После этого Софья Дельвиг все же уехала к отцу в Москву, где ее каждый день стал посещать Сергей Баратынский. Всех поражало, как бесцеремонно он обходился с вдовой поэта, однако позднее стало известно, что они уже поженились спустя полгода после смерти Дельвига. Родные были в отчаянии, узнав об этом новом браке, зная вспыльчивость и несдержанность ее нового мужа и предвидя для нее несчастную

жизнь. Они понимали, как она была избалована необыкновенным добродушием и терпением Дельвига. Их предчувствия сбылись.

Второй брак Софьи Михайловны был крайне неудачным. Уже в самые первые месяцы их совместной жизни обнаружился тяжелый, деспотичный характер нового мужа. Он увез ее в глухую деревню Тамбовской губернии, и началась нелегкая жизнь, слухи о которой доходили до Петербурга. Сестра Пушкина, Ольга Сергеевна, дружившая в свое время с Керн и Софи Дельвиг, писала в 1835 году своему мужу Павлищеву: «Софи живет с мужем, как собака с волком. Он под предлогом посещений больных (Сергей Баратынский серьезно занимался медициной и был хорошим и бескорыстным врачом.— *Авт.*) целыми месяцами не бывает дома... Он ее чубуком бьет беспрестанно».

Брат мужа, Евгений Баратынский, шутя называл ее «вдовой великой армии поэтов», о чем и она не могла и не хотела забыть в далекой деревне Мары. Она жила только воспоминаниями, переписываясь со всеми друзьями мужа. Очень редко пишет она теперь своей лучшей подруге Саше Карелиной. В письмах прорывается недовольство жизнью. Как луч света восприняла она появление Е. Баратынского, с женой которого Анастасией Львовной она подружилась. Но через полгода она печально сообщает: «...мне грустно по случаю отъезда моего шурина Евгения (он теперь единственный, который связывал ее с прошлым.— *Авт.*) и его семейства: они уехали надолго в Москву, оставив у нас большую пустоту».

На большом письме Софьи Михайловны от 20 января 1837 года переписка подруг прекратилась уже навсегда. В этом есть что-то роковое. Пока письмо шло в Оренбург, оборвалась жизнь Пушкина, поэзию которого так любили обе подруги. С того времени, как его не стало, им как будто не о чем стало писать.

Думала ли пламенная поклонница поэзии Пушкина А. И. Карелина, что ее младшая дочь Елизавета станет бабушкой замечательного поэта будущего — Александра Блока.

Конец жизни Софьи Михайловны Баратынской был печален. По рассказам знавших ее в последние годы, она любила читать одно из предсмертных посланий К. Ф. Рылеева, которое когда-то она собственноручно переписала. И еще одной радостью было читать альманах «Северные цветы на 1832 год», изданный в пользу вдовы и родных Дельвига Пушкиным. У нее был экземпляр с его дарственной надписью: «Софье Михайловне Баратынской —15 января 1832 г. Спб.» С нею он больше никогда не встречался, так же как и Анна Петровна Керн. Пути бывших неразлучных подруг разошлись навсегда. И насколько завидна была судьба Софьи Дельвиг в пору их дружбы и неопределенна у Анны Петровны, настолько с годами все изменилось. Несчастья обрушились на голову не умеющей строить жизнь Софьи Михайловны, совершенно забытой в глухой деревне бывшей «литературной героини» Петербурга.

Совершенно по-другому сложилась вторая половина жизни Анны Керн. С 1831 года оборвались ее связи с литературным миром. В 1832 году она похоронила мать, и Пушкин по своей доброте помогал в ее хлопотах по наследству через влиятельную и готовую всем помочь Е. М. Хитрово. Но добиться ничего не удалось. Керн была бедна, но держалась стойко, потому что всегда ее занимали прежде всего сердечные привязанности. Сначала в ее жизни появился некто Флоренский, которым она была сильно увлечена. Позднее юноша — дальний родственник А. В. Марков-Виноградский. После смерти бывшего мужа в 1841 году, летом 1842 года, она официально вышла замуж за этого юношу, моложе ее на двадцать

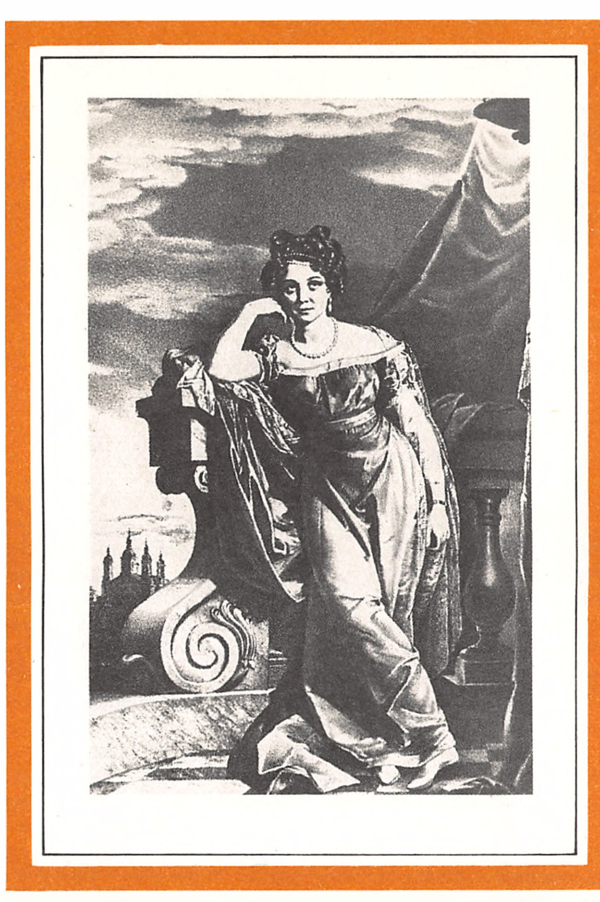
два года. Большое счастье пришло, когда ей уже минуло 40 лет. Они были счастливы оба и всегда вместе вспоминали о необыкновенном прошлом Анны Петровны, о тех интересных людях, которых она встречала в свои молодые годы.

Многих и позднее привлекала эта немолодая уже женщина, как бывшая литературная героиня, которой поклонялся Пушкин. Она начала писать свои мемуары.

В 1879 году, потеряв мужа и пережив его на четыре месяца, Анна Петровна скончалась. Была весенняя распутица, гроб не удалось довезти до Прямухина, имения Бакуниных, где был похоронен Марков-Виноградский. Ее похоронили у дороги, на маленьком погосте деревни Прутня, близ Торжка. Существует легенда, что гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Остается память. Портретов Софьи Дельвиг и А. П. Керн немного, и большинство из них не доносят той прелести, которая вдохновляла поэтов. Некоторые из этих изображений лишь предположительны. На достоверном портрете 1827 года К. Шлезингера у Софьи Михайловны Дельвиг выражение лица капризное и слишком напряженное. Она была недовольна работой художника: «Мне сделали лицо немного широкое, так же как и нос».

Приятное, чисто русское лицо у А. П. Керн на известной миниатюре 1840-х годов. Здесь у нее красивые глаза и весь облик мягкий и женственный. Лицо печально, она уже немало пережила. Жизнь ее не назовешь гладкой. В 1840 году ее портрет написал крепостной художник А. А. Арефов-Багаев. Она изображена в домашней обстановке, и художник сумел уловить присущее Анне Петровне несколько наивное очарование. Этот портрет найден сравнительно недавно (в 1977 г.), и он дополнил иконографию Керн и подтвердил, что рисунок Пушкина в профиль



А. Ф. ЗАКРЕВСКАЯ.
Литография Е. И. Гейтмана с портрета Дж. Доу.
1827 г.

необоснованно многие годы считали ее изображением.

Пушкин был необыкновенным мастером как художественных, так и метких словесных портретов. Одно из его стихотворений 1828 года так и называется —«Портрет»:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой.
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Эти строки посвящены Аграфене Закревской — тогдашнему краткому, но бурному увлечению поэта. Однако умение создать типичный образ, определить его как явление времени настолько присуще Пушкину, что стихотворение это можно отнести и к Анне Петровне Керн, и к Софи Дельвиг и ко многим другим женщинам, которые не желали подчиняться условностям света, жаждали личной свободы, которая замыкалась в любовной сфере.

Этих женщин тогда еще не называли «фатальными», светскими львицами, губящими себя и других, имеющими право безнаказанно шокировать общество и делать что заблагорассудится, доходя даже до открытого скандала. Определение «роковая женщина» появилось в 1840—1850-х годах. А до этого времени все, кто стремится не считаться с условностями света, всего лишь «беззаконные кометы», как метко определяет их Пушкин. Среди них первое место безусловно занимает Аграфена Закревская. Ее литературный портрет наиболее закончен и многогранен как предмет страсти двух поэтов — Евгения Баратын-

ского (влюбленного в нее долгие годы) и Пушкина (мимолетно увлеченного).

Аграфена Федоровна Закревская, урожденная графиня Толстая, дочь известного собирателя рукописей Ф. А. Толстого, в 1818 году стала женой Арсения Андреевича Закревского, генерал-лейтенанта, министра внутренних дел, позднее — московского военного генерал-губернатора. Она имела блестящие связи при дворе, богатство, устойчивое положение в обществе, но ей не хватало одного — полной свободы в проявлении своего характера.

Идеалы прежние рухнули, новые еще не народились, и настала пора, когда самыми заметными литературными героинями становятся те, что не считаются с условностями света, громко отстаивая свое право любить, или, вернее, предаваться своим страстям.

Когда еще совсем юный Баратынский был исключен за неблаговидный поступок из привилегированного Пажеского корпуса, он сам почувствовал «свинцовый груз» судьбы, взявшей его в свои руки. С тех пор он стал бояться роковых стечений обстоятельств, но они от него не отступали. Он служил солдатом (единственный тогда выход искупления позора, проступка или даже преступления). В Петербурге познакомился с Дельвигом и поселился с ним в одной квартире (служба одно время была условной). Дельвиг приобщил его к поэзии, ввел в литературные круги, где вскоре Баратынский занял на Парнасе чуть ли не первое место (в то время Пушкин отбывал ссылку). Он оказался необычно талантливым и в поэзии чувствовал ту гармонию, в которой отказала ему жизнь. Более того, в творчестве он вновь обрел веру в себя и нравственно воскрес.

Но неожиданно его снова настиг удар «гневного и сурового рока» — его переводят в Нейшлотский пехотный полк и отправляют в суровую Финляндию.

Однако Баратынский не был совсем оторван от литературной жизни Петербурга. В Финляндии поэта окружили люди, относившиеся к нему доброжелательно. Он становится певцом Финляндии, ее экзотической природы.

Баратынский часто ездил в Петербург и подолгу жил там. Он привлекал внимание столичных дам своей интересной наружностью: «задумчивое бледное лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман горящий тихим пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; легкая черта насмешливости приятно украшала его», к тому же «благородный тон и изящные манеры» его чрезвычайно нравились женщинам. Его поэтическая муза выбирала между женщиной «небесной» (А. А. Воейковой) и «земной» (С. Д. Пономаревой). Обеим он посвящал стихи.

Месяцы жизни в Петербурге обычно проходили быстро, и нужно было снова возвращаться в Финляндию. «Освобождения» Баратынскому пришлось ждать долгие годы. В конце 1823 года он неожиданно приобрел новых друзей — Н. Путяту и А. Муханова, приехавших в свите нового генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского. По их хлопотам Баратынского перевели в Гельсингфорс — новую столицу северного края. Он был принят в доме губернатора, душой которого была его жена Аграфена Федоровна — очень красивая, высокая, эффектная и эксцентричная дама. На Баратынского она произвела буквально ошеломляющее впечатление. Его поразила противоречивость ее натуры. Легкомыслие и доброта, пороки и добродетели уживались вместе с полным пренебрежением к мнению света. Вскоре после знакомства он писал о ней:

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!

А. Ф. ФУРМАН-ООМ.
Портрет К. К. Гампельна.
1820-е гг.

В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!

Более всего Баратынского пленяли (как ему казалось) трагические черты ее страстной натуры, которая может погибнуть из-за ее необузданных страстей. «Опасная» красота и сложная натура навсегда запечатлелись в душе поэта. В письме к Путяте он пишет: «Вспоминаю общую нашу Альсину (так он называл Закревскую с ее непоэтичным именем Аграфена.— *Авт.*) с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это царица цветов, но поверженная бурею — ее листья чуть держатся и беспрестанно спадают...»

Закревскую он решил сделать героиней своей новой поэмы «Бал», к созданию которой приступил в самом начале 1825 года в Финляндии, закончил ее только осенью 1828 года.

И в Гельсингфорсе, и позднее в Петербурге Баратынский более всего был около А. Закревской. Увлечение перешло в сильную, всепоглощающую страсть. Летом 1825 года он написал своему другу Путяте: «Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия». Только поэзия удерживает его от «волшебных сетей» искушения. «Поэзия чудесный талисман,— пишет он,— очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары». Он пытается спастись поэтическим словом:

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!

. . . .
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи, обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Но наваждение не проходило... Уже выйдя в отставку и поселившись в Москве, он признавался другу в январе 1826 года: «До сих пор еще эта женщина преследует мое воображение, я люблю ее и желал бы видеть ее счастливою». Работать над ее образом в поэме «Бал» он продолжал и тогда, когда нашел противоположный ей идеал кроткой и нежной женщины. 9 июня 1826 года он женился на Анастасии Львовне Энгельгардт. Женитьба Баратынского стала неожиданным сюрпризом для всех его друзей. Хотя его жена была умной и доброй женщиной, но после поклонения таким красавицам, как Софи Пономарева и Аграфена Закревская, она казалась слишком обыкновенной и прозаической. Они считали, что женитьба отразится прежде всего на его поэзии. «Ты знаешь, что твой Евгений захотел продолжиться и женился на соседке моей Энгельгардт, девушке любезной, умной и доброй, но не элегической по наружности»,— пишет Вяземский Пушкину.

Но и после женитьбы поэт не оставляет работы над поэмой «Бал» и власть памяти о Закревской еще очень сильна. Он признается, что она является ему в

снах — опасная, недоступная, но тем более пленительная и соблазнительная.

В 1828 году поэма была закончена и появилась в одной книжке с пушкинским «Графом Нулиным» под общим заглавием: «Две повести в стихах». Для Баратынского Закревская была волнующим прошлым, для Пушкина — настоящим. И поэтому он охотно взялся писать статью о «Бале». Он хвалил в ней общий тон поэзии, и характер героини отмечался особо как «совершенно новый» и развитый «con amore» (увлечение).

Можно добавить, что романтические черты приобретают в описании героини оттенок болезненный и тем самым как бы предрекают появление «роковых женщин» у И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского.

Прототипы у более поздних литературных героинь были, и мы коснемся этого вопроса в очерке об А. К. Воронцовой-Дашковой. А пока все-таки «беззаконная комета», о которой Пушкин в это время много думал и поэтому отмечал в статье о «Бале»: «Мы чувствуем, что он (Баратынский.—*Авт.*) любит свою бедную страстную героиню. Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но еще очаровательного создания».

Баратынский еще долго продолжал жить этими «очаровательными воспоминаниями» и позднее посвятил Закревской «Фею» и «Уверения», сделав ее основным женским образом своей поэзии. И к ней доносится его голос:

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца:

Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

Стихотворение написано в 1828 году. К этому времени Закревская пережила уже немало увлечений. Принц Кобургский, с которым она в 1823 году путешествовала за границей, стал королем Бельгии. Баратынский выбрал путь семейных радостей, но посвящал ей стихи и тогда, когда в ее жизнь вошла сверкающая поэзия Пушкина. 1 сентября 1828 года поэт пишет Вяземскому: «Я пустился в свет потому, что бесприютен... Если бы не твоя медная Венера (Закревская.— *Авт.*), то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи...» Пушкин писал о ней с нежностью, он не осуждал ее эксцентрических выходок.

Вяземский, который и сам был неравнодушен к «медной Венере», вскоре сообщал А. И. Тургеневу: «Пушкин, сказывают, поехал в деревню, теперь самое время случки его с музою — глубокая осень. Целое лето крутился он в вихре Петербургской жизни, воспевал Закревскую...» По словам известного автора мемуаров А. В. Мещерского, «она — женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которыми была обязана, как говорили, „своей красоте“».

Она пленяла всех, кто был около нее. Так, Вяземский пишет Пушкину: «Я уже слышал, что ты вьешься около моей медной Венеры... Спроси ее от меня, как она поступает с тобою — так ли, как со мною: на другую сторону говорит и любезничает, а на мою кашляет...»

Закревскую (под именем Нины Воронской) отметил Пушкин в «Евгении Онегине», в описании бала:

Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,

Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была...

Эту «ослепительную Клеопатру Невы» поэт описал в черновиках несколько подробнее, в прозрачно-соблазнительном костюме, который она часто надевала, чем и обескураживала многих современников:

Смотрите — в залу Нина входит,
Остановилась у дверей,
И взгляд рассеянный обводит
Круги внимательных гостей.
В волненье перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева,
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах.

Такой рискованный поэтический портрет создал Пушкин. С натуры ее писал английский живописец Джордж Доу. М. Ф. Каменская (дочь вице-президента Академии художеств и художника Федора Толстого) писала в своих воспоминаниях: «Закревская была очень хороша собой, что доказывает ее портрет, написанный Доу. Тетка моя изображена на нем в голубом бархатном платье александровского времени с короткой талией и в необыкновенных жемчугах. И глядя на нее теперь, всякий скажет, что Закревская была смолоду красавица. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина (немного легкая на слово), но это не мешало тому, чтоб Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом».

Портрет Доу до нас не дошел, он известен только по гравюре Е. И. Гейтмана. Но даже в этом воспроизведении поражает античная правильность ее фигуры, подчеркнутая художником, ее большие томные глаза и одновременно скучающее, разочарованное выражение лица. Такая женщина может поразить, очаровать, но сама остаться холодной и равнодушной. В портрете она — жрица любви, как древняя статуя, но с живым выражением женщины, опустошенной томительной мечтой.

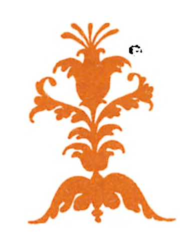
Слова о красоте Закревской подтверждаются портретом. О том же, что Пушкин был другом этой странной женщины, говорит он сам в 1828 году в неоконченном наброске «Гости съезжались на дачу». В образе Зинаиды Вольской подразумевается Закревская. Про нее герой отрывка Минский рассказывает почти словами Пушкина из письма к Вяземскому: «Она занята, я просто ее наперсник или что угодно. Но я люблю ее от всей души, она уморительно смешна». Закревская умела так «рассмешить» высший свет очередной выходкой, что потом все долго не могли опомниться и слагали о ней легенды.

В. В. Вересаев писал о Закревской: «Все стихи поэтов и письма, как Пушкина, так и Баратынского, рисуют ее дерзко презирающею мнение света, бешено сладострастною и порочною — ...Пушкин: „Таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!..“ ...и Баратынский: „Кого в свой дом она манит — не записных ли волокит, не новичков ли миловидных? Не утомлен ли слух людей молвой побед ее бесстыдных и соблазнительных связей? Но как влекла к себе всесильно ее живая красота...“»

Но как бы ни влекла Закревская поэтов, но и одновременно отталкивала. Пушкин, увлеченный Закревской, в то же время пишет стихи Аннет Олени-

ной. Влюбленный Баратынский все же женится на другой женщине, о которой говорит:

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой,
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.



«О, ПАМЯТЬ СЕРДЦА!»

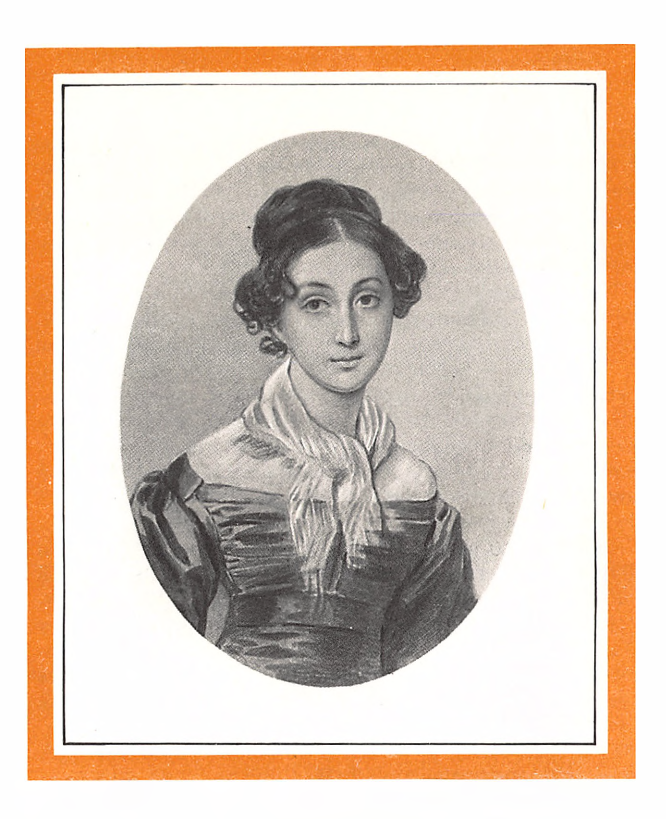
После окончания лицея Пушкина всюду встречали радушно. Он пользовался особой благосклонностью президента Академии художеств (с 1817 г.), директора публичной библиотеки (с 1811 г.), археолога, историка и художника А. Н. Оленина и был дружески принят в его доме на Фонтанке и на даче в Приютине, что в 17 верстах от Петербурга. В 1820 году Оленин, восхищенный талантом юного поэта, нарисовал заглавный лист первого издания поэмы «Руслан и Людмила».

У Олениных в ту пору Пушкин встречал И. А. Крылова, Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, О. А. Кипренского, родственников хозяев — Полторацких и Волконских. И конечно, он не мог не заметить хорошенькую девочку, которую за маленький рост все звали ласково Анеточкой-малюткой. Младшая дочь Олениных, она была любимицей отца. Старшая — Варенька была менее

красива и с детства очень серьезна. Такими они и представлены в рисунке О. А. Кипренского, сделанном в 1812 году.

Разница во внешности сестер заметна и в другом рисунке, принадлежащем художнику Карлу Гампельну, чьи портреты, как правило, отличаются тщательностью и большим сходством с моделями. Этот рисунок, изображающий трех девушек, долгое время оставался загадкой для специалистов. Потомки Олениных сообщали, что изображена Анна Алексеевна с подругами. И так как они знали, что она особенно дружила с сестрами Блудовыми, подразумевали, что изображены именно они. Но время создания портрета, начало 1820-х годов, такое предположение исключает: дочери Д. Н. Блудова — Лидия и Антонина были в то время детьми. А в рисунке около совсем юной девушки, скорее подростка, изображены две девушки, старшие по возрасту. Под деревом справа с книгой в руке сидит Анна Алексеевна. Ее лицо повернуто в профиль. И здесь нельзя не отметить, как точно улавливал Пушкин в своих многочисленных набросках сходство. Он позднее часто рисовал профиль Анет Олениной, и сходство с рисунком Гампельна полное. Образ девушки лет 14—15 поэтичен, нежен и одухотворен. Кажется, что она изображена читающей стихи. Две другие слушают ее, сохраняя внимательное выражение лиц. Одна из них — высокая, стройная, красивая девушка стоит справа. Удалось точно определить, кто эта мечтательная красавица. В альбоме Олениных, хранящемся в Русском музее, имеется рисунок Гампельна, изображающий ее в той же позе и в том же платье; сверху написано чернилами: «Портрет M-me Оом рисовал Кипренский», затем слово «Кипренский» зачеркнуто и написано карандашом: «Гампельн».

Таким образом, стал известен еще один персонаж группового портрета — Анна Федоровна Оом, урож-



А. А. ОЛЕНИНА.
Портрет П. Ф. Соколова.
1825 г.

денная Фурман. Третья девушка небольшого роста, с короткой шеей, длинным носом и большими глазами с любовью смотрит на читающую. По чертам лица, если судить по акварельному портрету К. Брюллова и другим изображениям,— это старшая дочь Олениных Варвара Алексеевна.

«Портрет M-me Оом» можно довольно точно датировать. Он нарисован после 1821 года, когда воспитанница Олениных Анна Фурман стала женой А. А. Оома и переехала сначала в Ревель, а затем стала жить в Петербурге. Судя по костюмам — плоеным воротничкам типа жабо, высокой талии с широким поясом и большой пряжкой, портрет принадлежит 1822—1824 годам. О возрасте Анны Олениной мы говорили, ее сестре 20—21 год, а Анне Оом чуть более тридцати.

Лишившись в раннем детстве матери (Эмилии Фурман), девочка была взята на воспитание к своей бабушке Е. К. Энгель, большого друга Е. М. Олениной. После смерти бабушки девочка стала жить у Олениных. Этой семье она обязана своим воспитанием и образованием, блестящим в ту пору. Она росла среди корифеев тогдашней литературы и науки и, так как дочери хозяев были еще детьми, ей выпал на долю первый успех у поэтов и художников начала XIX века. По свидетельству Д. В. Дашкова, она «пленяла многих, сама того не подозревая». Причиной того была ее скромность. Она любила присутствовать при беседах знаменитостей, посещавших дом Олениных, но участия в разговорах обычно не принимала, а занималась усердно своим рукоделием. Такое поведение вызывало уважение, и все старались оказать ей внимание. По воспоминаниям известно, что Г. Р. Державин всегда сажал ее возле себя за обедом. Драматург В. А. Озеров приглашал на первые представления своих спектаклей, в том числе и на триумфального «Дмитрия Донского». Крылов и Гне-

дич в домашних спектаклях занимали ее в главных ролях.

Орест Кипренский сделал в альбом А. А. Олениной карандашный набросок с Анны Фурман, сидящей с рукоделием за столом, около которого мирно дремлет тучный Иван Андреевич Крылов. Судя по этому портрету, можно предположить, что одна из акварелей П. Ф. Соколова, находящаяся в Третьяковской галерее, куда она попала от потомков Олениных, также изображает Анну Фурман. На всех портретах ее можно назвать воплощением романтической, мечтательной героини немецких баллад. Подчеркнутая поэтичность ее облика, склонность к меланхолическому отрешению не могли не тронуть сердце поэтов. Ее внешность — стройность стана, большие голубые глаза, золотистые локоны, чудесный цвет лица — все предназначало ее к тому, чтобы стать героиней поэтических посланий и нежных воздыханий.

В 1809 году в восемнадцатилетнюю Анну Фурман страстно и безнадежно влюбился Николай Иванович Гнедич. В доме Олениных к нему очень благоволили и посоветовали посвататься к их воспитаннице. Но Анна Фурман не скрыла своего равнодушия и дала почувствовать это Гнедичу. Он понял, что не ему, человеку обезображенному оспой и одноглазому, мечтать о счастье и на что-то надеяться. Об этом же ему писал его самый близкий друг поэт К. Н. Батюшков: «Выщипи перья у любви, которая состарилась, не вылетая из твоего сердца, ей крылья не нужны. Анна Федоровна, право, хороша, и давай ей кадить! Этим ничего не возьмешь. Не летай вокруг свечи — обожжешься. А впрочем, как хочешь...»

Гнедич всю жизнь продолжал мечтать о семейном счастье, так и не найдя его: «Главный предмет моих желаний — домашнее счастье,— пишет он в дневнике.— Но увы — я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не ведал».

И далее находит причину своему несчастью: «Счастлив тот, кому первая, которую он полюбил,— подаст руку и которого желания драгоценнейшие не иссыхают только в глубине сердца».

А Батюшков «обжегся о те же свечи», о тот же взгляд голубых глаз, излучающих задумчивую нежность. Он знал Анну Фурман еще в те времена, когда она была предметом безнадежной страсти своего друга, и отдавал, как видно из письма к Гнедичу, лишь дань ее красоте.

В самый разгар лета 1814 года Батюшков возвратился в Петербург из действующей армии. Его встретили с распростертыми объятиями, особенно по-родственному у Екатерины Федоровны Муравьевой и у Олениных. И здесь Батюшков начинает понимать, что это самые близкие, родные и любимые люди:

Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!

Однако вскоре «единственной на свете» становится Анна Фурман, девушка 23 лет, которой, по понятиям того времени, уже пришла пора устраивать свою судьбу. И родственница Батюшкова Е. Ф. Муравьева, и Елизавета Марковна Оленина старались склонить девушку к замужеству, но она оставалась равнодушной. Батюшков страдал и изливал свои чувства в стихах. Воспоминания о недавнем прошлом сливаются с образом, который жил в нем, как ему кажется, всегда:

Под новым бременем печали!
Как странник, брошенный из недра ярых волн
На берег дикий и кремнистый,

Встает и с ужасом разбитый видит челн...
Рукою трепетной он мраки вопрошает,
Ногой скользит над пропастями он,
И ветер буйный развевает
Молений глас его, рыдания и стон...
На крае гибели так я зову в спасенье
Тебя, последняя надежда, утешенье!
Тебя, последний сердца друг!
Средь бурей жизни и недуг!
Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!
Твой образ я таил в душе моей залогом
Всего прекрасного...
Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страшные чистейших сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях;
И в мире, и в войне, во всех земных краях,
Твой образ следовал с любовию за мною,
С печальным странником он неразлучен стал.

Страстные мольбы Батюшкова, помощь, которую ему оказывали домочадцы, склонили Анну Федоровну к согласию на брак, но она честно сказала поэту, что вручает ему свою судьбу, но не сердце. Он и сам почувствовал в ее согласии «следы сердечного терзанья». Батюшков благородно отказался, и с этих пор неразделенная любовь стала его трагедией. Не найдя покоя и счастья, он горестно восклицает:

Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки...

В стихах Батюшков изливает свои тревожные и печальные чувства, свои безысходные страдания. Он пытается найти забвение, забыть прекрасную мечту, но —

Напрасно; всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,

Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле — блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей,
Меня мертвит и оживляет.

В это же время Орест Кипренский создает его портрет. Батюшков захотел позировать в военном мундире, но по-домашнему расстегнутом. Он задумчив и рассеян, как все влюбленные. Мыслями далеко, с той «милой сердцу, незабвенной». Кипренский сумел выразить внутренний трепет, беспокойные думы, напряженность мыслей, лирическое состояние своего героя.

Тогда же он пишет, может быть по просьбе поэта, с которым его связывала дружба, и портрет Анны Федоровны Фурман, оставшийся неоконченным. Правильные черты лица напоминают античную статую. Понятно, что таким убежденным поклонникам классики — переводчику «Илиады» Гнедичу и создателю цикла переводов античных поэтов Батюшкову нравился этот тип красоты. Взгляд ее больших светлых глаз мечтателен и печален. К ней не пришла любовь, и холодом веет от ее облика, холодом и отчужденностью. Она замкнулась в своих чувствах, их сложность закрыта для посторонних глаз, ее душевный мир непроницаем. И только красная драпировка фона тревожит, как бы давая нам знак о том, что за внешним спокойствием скрыто внутреннее беспокойство. Наверное, нелегко было девушке, живущей на положении воспитанницы, отстаивать свое право на независимость чувств.

Совсем другой — уравновешенной, спокойной будет выглядеть она через 7—8 лет в портрете Гампельна. Батюшков в отчаянии уехал из Петербурга (в 1816 г.) в Вологду. В том же году Анна Федоровна покинула семью Олениных. По желанию отца, агро-

нома Фридриха Антона Фурмана, женившегося второй раз, она переехала к нему в Дерпт. Там она попала в дружескую среду, бывая в семье Мойеров, встречаясь с Марией Андреевной, Александрой Андреевной, поэтами В. А. Жуковским и Н. М. Языковым. И таким образом она сохранила тот круг интересов, которым была пронизана ее жизнь у Олениных. Возобновилось знакомство с Анной Петровной Керн, жившей одно время в Дерпте. Пришла к ней и любовь: в 30-летнем возрасте она вышла замуж за А. А. Оома, богатого коммерсанта, человека далекого от искусства. Молодые переехали в Ревель, а затем вернулись в Петербург, где снова теснейшая дружба связала ее с домом Олениных, с выросшими к тому времени дочерьми — Варенькой и Анной. Она оставалась их доверенным лицом, недаром даже в своем заветном дневнике Анна Оленина давала ей делать приписки и эпиграфом к сочиненному ею роману взяла первые строчки стихов, которые посвятил Батюшков Анне Федоровне:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной...

Батюшков к тому времени был уже душевно больным. «Меня уж нет на свете»,— писал он в самом начале своей тяжкой, страшной и неизлечимой болезни. Оставались стихи и «память сердца» его друзей.

Та, что до конца осталась в его сердце, вела скромную жизнь хозяйки дома и матери четырех детей. Ее муж разорился, и ей пришлось стать преподавательницей в пансионе Гельмерсена. Муж по протекции Оленина получил место надзирателя в Академии художеств. Овдовев в 1827 году, Анна Федоровна для того, чтобы поднять на ноги маленьких детей, поступила на службу и работала старшей надзирательницей петербургского Воспитательного дома и по преобразованию его в Николаевский сиротский институт стала его начальницей. Та самостоятельность и независимость, к которой она стремилась, сделались уделом ее жизни.

По-иному сложилась жизнь других персонажей рисунка Гампельна — дочерей Олениных.

Варвара Алексеевна, девушка скромных внешних данных, но человек чудесной души, рано вышла замуж за своего дальнего родственника Г. Н. Оленина, крупного государственного чиновника, очень доброго и хорошего человека, и была с ним счастлива.

Совсем особенной, блестящей, казалось, будет судьба младшей дочери — Анны Алексеевны, которая была очень хороша собой, обладала живым характером и множеством талантов.

На портрете П. Ф. Соколова семнадцатилетняя Анет Оленина воплощает идеал девушки, живущей в сфере высоких духовных интересов. Она представлена олицетворением нежной мечтательности литературных героинь. Желая подчеркнуть интеллектуальное начало в ее облике, художник не делает акцента на передаче костюма и драгоценностей. Платье лишь слегка намечено приглушенно-коричневым тоном, легкая косынка драпирует шею. Особенно выразительны на портрете ее глаза. Глядя на них, невольно вспоминаешь слова Пушкина:

Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Та, что смотрит на нас с портрета П. Ф. Соколова, еще только входит в жизнь, ее успех у многих, в том числе и у Пушкина, еще впереди. Но особенная атмосфера, в которой она росла, подготовила этот успех, выраженный в поэтических посвящениях и многочисленных портретах.

О доме Олениных пишет С. П. Жихарев: «В первой половине XIX века он был одним из центров дворянской культуры, где сходились писатели и другие деятели искусства, где вырабатывались и составлялись мнения по вопросам литературы и художества. Литературные салоны в первой половине XIX века создавались не случайно. Они отвечали потребностям взаимного общения, обмена мнениями по вопросам литературы, искусства, политики. В первой четверти века особенно любили сходиться в гостеприимные открытые дома для бесед и споров, в которых затрагивались самые животрепещущие вопросы современности. Умели там и развлекаться, привлекая для этого все роды искусств».

Оленины приглашали к себе лучших, интереснейших людей эпохи, их «салон» сделался оживленным интеллектуальным центром, сыгравшим немаловажную роль в духовном развитии их детей.

Особенно друзья любили посещать Олениных на их пригородной даче в Приютине, где всегда жилось весело, привольно и свободно. Дом окружал роман-

тичный парк, откуда открывался вид на ближайшие леса. В парке были построены специальные флигеля для многочисленных гостей. В одном из таких домиков, называемом «Крыловской кельей», проводил все лето Иван Андреевич Крылов, который любил девочек Олениных, как своих дочерей. Не имея собственной семьи, он «приютился» у Олениных как член семьи, близкий, родной человек.

Батюшков написал о нем:

Мечтает там Крылов
Под сению березы
О басенных зверях
И рвет Парнасски розы
В приютинских лесах.

Приютинский дом повидал в своих стенах много гостей. Здесь бывали Г. Р. Державин; В. А. Озеров, прочитавший впервые там трагедию «Эдип в Афинах»; польский поэт Адам Мицкевич импровизировал по-французски, а В. А. Жуковский читал свои баллады. Зная любовь семейства Олениных к музыке, М. И. Глинка играл свои произведения, А. С. Грибоедов и Е. П. Штерич (прекрасный пианист, рано умерший) играли на клавикордах.

Сюда любили приезжать О. Кипренский, братья Карл и Александр Брюлловы, П. Ф. Соколов, Г. Г. Гагарин и другие художники, создавшие многочисленные портреты хозяев и их гостей.

О. Монферран и П. В. Басин обсуждали постройку и росписи Исаакиевского собора. А. Воронихин, С. Гальберг и К. Тон немало способствовали украшению самого приютинского дома. Знаменитый театральный декоратор П. Гонзаго нарисовал для Приютинского домашнего театра декорации и занавес.

Особенно весело бывало 5 сентября, в день именин хозяйки дома. В саду устраивалась ярмарка с разно-

образными лавочками, украшенными забавными надписями. Друзья детей Олениных (трех сыновей и двух дочерей) наряжались в этот день в разнообразные народные русские одежды, получая их из обширной коллекции костюмов, хранившейся в доме. Они встречали гостей шутками и прибаутками, зазывая их в свои лавочки, где раздавались маленькие подарки. В это время другая часть юных гостей в стройных хороводах или веселых «плетнях» и «метелицах» веселилась на лужайке перед домом.

Обед подавался в 6 часов. После обеда обыкновенно устраивались спектакли в домашнем театре, начинавшиеся или прологом в честь Елизаветы Марковны, или хоровым пением. Разыгрывались «провербы» (по мотивам пословиц) — шарады, каламбуры, пьесы (в основном водевили) с пением и танцами. Особенно забавен бывал в этих играх И. А. Крылов, ставивший обыкновенно в этот день свои «басни в лицах».

После ужина танцевали уже при свете свечей, которые по нескольку раз меняли в течение вечера. «Ужинали за маленькими столами без церемоний и, разумеется, «без чинов»,— вспоминала впоследствии А. П. Керн,— да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусством». Танцы обыкновенно начинались полонезом, в котором принимали участие все от мала до велика.

В такой обстановке и среди таких людей росла Анна Алексеевна Оленина. Праздники сменялись буднями, и тогда начинались для нее труды освоения знаний, самых разнообразных. Она ценила часы уединения, о которых в феврале 1825 года написал ей поэт И. И. Козлов:

Если звук волнений страстных
И сердца горестный напев

Встревожит мир долин прекрасных
И нежный хор блестящих дев,
Не сетуй! Но, услышав пенье
Разбитых бурею пловцов,
Благослови уединенье
Твоих приютинских лесов.

События 14 декабря потрясли Анну Алексеевну. Погибли или пострадали многие близкие друзья. На какое-то время замерла жизнь в Приютине. Юная девушка стала еще усиленнее заниматься литературой, стараясь забыть страшные дни. Под руководством отца и часто бывавших у них Крылова и Гнедича она приучалась заниматься серьезным чтением. Обмениваясь со своими замечательными учителями суждениями о прекрасном и отрицательном, она таким образом приобрела «верный вкус и здоровое суждение» об изящной словесности. Усиленно изучала она и западноевропейскую литературу, читая свободно по-французски, владея английским и итальянским языками.

Основательные сведения о музыке она приобрела, занимаясь с М. И. Глинкой. Голос ее был хорошо поставлен, и она часто пела соло, в трио и в хоре. Анна Алексеевна хорошо владела кистью, рисовала и лепила, любила декламировать и сочинять театральные пьесы, шарады и шуточные стихи.

Образованная, хорошенькая, грациозная маленькая женщина смело и изящно ездила верхом, стреляла метко из лука (это увлечение перешло к ней от отца) и ловко танцевала все модные тогда танцы.

Живостью своего характера и веселостью она придавала дому Олениных еще более привлекательности. Она была, по словам Гнедича, «и гордостью семьи и радостью света». Поэт иначе ее и не называл, как «умная и милая Анета» и хвалил «доброту ее сердца и разума приятство». Как многие девушки то-

го времени, она имела альбомы (многие из них, к несчастью, утеряны), которые стали быстро заполняться рисунками и стихами, как только юное «сокровище» дома Олениных появилось в свете. Этот момент ее расцвета отметил Гнедич, знавший ее со дня рождения. Он записал в девичий альбом:

Жила-была...
Но нет, пора прошла,
Как были вы Анеточкой-малюткой,
Как вас я забавлял иль сказкою иль шуткой;
Дни детства протекли;
Вы расцвели;
Вы не Анеточка, вы — барышня Анета:
Не сказкой, истиной пора ваш ум питать.
Внимайте ж голосу питомца муз, поэта,
Он будет истину вещать:
Вы очень умная и милая Анета!
О, будьте ею навсегда!
Блистайте, как теперь, наследственным богатством,
И сердца добротой, и разума приятством.
И если я когда,
В страны далекие заброшенный судьбою,
Опять предстану вам, старик седой с клюкою,
Пускай найду вас тем, чем ныне нахожу:
И гордостью семьи и радостию света.
Пускай и старец я,
Увидев вас, скажу:
«Ах, здравствуй, умная и милая Анета!»

Рассматривая с удовольствием новые автографы в своем альбоме, читая все лестные для себя строки, она еще не знала, что скоро появятся там стихи, которые обессмертят ее имя.

На новый, 1828 год в ее новый альбом делает запись Гнедич:

И новый год и альбом новый!
А что еще милей — владелица его!
Какой предмет прелестный для того...

Я, отставной поэт, Парнасский инвалид,
Служитель истины суровой,
Что нового могу вписать в ваш альбом новый?
Что вы полны приятностей Харит?—
Не новость: зеркало вам то же говорит.
Что милы вы, умны?— Но и в чертогах царских,
И в теремах боярских,
Где вы блистаете умом и красотой,
То ж самое жужжит гостей веселый рой.
Итак, и в истинах, нисколько вам не льстивых,
Я упрежден: все слышали вы их,
И может быть, из уст любезников младых
И более меня красноречивых.
Остались мне для вас желания одни;
Но верьте, искренны и пламенны они:
Цветите вы, как роза молодая
Под небом голубым безоблачного мая;
Неувядаемой и в самых поздних днях
Душевной красотой пленяйте взоры света;
И хоть забудете вы о моих стихах,
Но помните меня, вас часто на руках
Носившего поэта.

«Пришла пора — она влюбилась». Но кто он, избранник сердца? Это оставалось ее тайной, скрытой от всех, даже от родителей и подруг. Теперь можно было довериться только дневнику, в котором она записала: «...зачем называть его! Зачем вспоминать то счастливое время, когда я жила в идеальном мире, когда думала, что можно быть счастливой и быть спутницей его жизни, потому что и то и другое смешивалось в моем воображении».

Но потомкам по многим намекам удалось установить это таинственное лицо. «...Этот незнакомец был не кто иной, как полковник, князь Алексей Яковлевич Лобанов-Ростовский (родной дядя А. К. Воронцовой-Дашковой.— *Авт.*). Ему в то время было 32 года, он овдовел в 1825 году и имел трех малолетних сыновей».

Анна Алексеевна сама писала, что знает его недостатки как человека пустого и неверного, по мнению знавших его близко, но тем не менее любила его всем своим существом, без малейшей надежды соединить с ним свою судьбу. Но чувство ее оживало при каждой нечаянной встрече с ним на прогулке или на бале. И именно в такой момент, когда Анет Оленина считала, что сердце ее разбито, в ее жизни появился А. С. Пушкин.

25 мая 1827 года, накануне дня своего рождения, поэт возвратился из ссылки в Петербург. «Все мужчины и женщины старались оказывать ему внимание, которые всегда питают к гению,— записала в своем дневнике Анна Оленина.— Одни делали это ради моды, другие — чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие нежного почтения к гению...»

Видимо, и сама пишущая эти строки очень хотела иметь в своем альбоме как можно больше «прелестных стихов» гениального Пушкина. И он это чувствовал, написав ей с долей грусти:

Увы! Язык любви болтливой,
Язык неполный и простой,
Своею прозой нерадивой
Тебе докучен, ангел мой.
Ты любишь нежные напевы,
Ты любишь рифмы гордый звон,
И сладок уху милой девы
Честолюбивый Аполлон.
Тебя страшит любви признанье,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь...

В то же время, когда Пушкин, увлеченный дочерью Оленина, посвящал ей свои стихи, «волшебник милый» Кипренский создал ее графический портрет. Художник любуется молодостью и очарованием

своей модели, находящейся в зените успеха. Но все же облик Олениной далек от того романтического ореола, который в своих посвящениях создает поэт.

Портрет работы Кипренского строже поэтического образа Пушкина. И это неудивительно: поэт воспевал идеал, а художник скорее всего стремился передать характер натуры. Тщательно выписаны локоны пышной прически, на край уха посажена серьга, ниточка бус удлиняет чуть коротковатую шейку «маленькой женщины». Портрет удивительно правдив. И эта правда характера известна нам по дневнику Олениной. Кипренский наверняка не знал о дневнике, но ему, как портретисту-психологу, открылось то, чего не замечал влюбленный поэт.

Весна 1828 года была еще временем надежд для Пушкина, мечтавшего сделать Оленину своей женой. Он посвящает ей множество стихотворений, каждое из которых могло бы обессмертить девушку. В стихотворении к английскому живописцу Джорджу Доу — создателю портретной галереи героев 1812 года в Зимнем дворце — Пушкин советует:

Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

Пушкин идеализировал девушку, однако Кипренский воспринимал ее, по-видимому, такой, какой она предстает в своих дневниках, то есть весьма обыкновенной: «...обедала у верного друга Варвары Дмитриевны Полторацкой... Там был Пушкин и Миша Полторацкий. Первый (Пушкин.— *Авт.*) довольно скромен, и я даже с ним говорила и перестала бояться, чтоб не соврал чего в сентиментальном роде». На портрете Кипренский прекрасно уловил настороженность и одновременно тонкое кокетство Олениной.

Из строчек дневника видно, что она остерегается Пушкина, хотя и интересуется им. Она мечтает выйти замуж (хотя ее мечта исполнилась лишь через двенадцать лет), как каждая девушка, но не считает Пушкина «большой партией». Она не из тех «романтических особ», которые способны «потерять голову». Она даже несколько кичится своими добродетелями. Рассуждая, к примеру, о непостоянстве мужей, она тут же восклицает о себе: «...но я преступлю ли законы долга, будучи пренебрегаема мужем? Нет, никогда!»

Анет Оленина считает себя достаточно наблюдательной (в портрете Кипренского она все как будто присматривается к чему-то), и не без основания. Она обожает всем давать оценки и характеристики, и даже Пушкину. Правда, больше распространяется о его «непривлекательной наружности», чем о «странности нрава», порожденного «гением единственным», который она, безусловно, признает. Она, конечно, очень гордилась вниманием столь прославленного поэта и сама признается, «что это была честь, которой все завидовали».

О своей внешности Оленина довольно высокого мнения, особенно охотно она говорит о своих красивых глазах и маленьких ножках. Интересно, что она отмечает в своих записках именно то, что особенно воспето Пушкиным, невольно подпадая под влияние его поэзии.

Роман продолжался все лето.

По некоторым сведениям, Пушкин сделал Анет предложение. Родители девушки ему категорически отказали. Их дочь так и осталась посторонним наблюдателем, тем более что сердце ее не было свободно. Но гений Пушкина щедр, и поэт написал ей позднее, в 1829 году, прощальные стихи, несравненные по силе возвышенных, идеальных чувств:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит:
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Однако в дневнике, начатом еще летом 1828 года, она возвращается к событиям прошедшей весны, которые постоянно тревожили ее воображение. Чаще всего она вспоминает того, кому, как ей казалось, принадлежало ее сердце, хотя скорее всего это больше был плод воображения неискушенного сердца молоденькой особы, чем та страсть, которую она сама описывала, начитавшись модных романов.

Анет Оленина немного кокетничала даже перед собой, ей нравилось испытывать «роковую страсть», которая не мешала ей веселиться и кружить головы молодым людям. Она была невысокого мнения о мужчинах вообще и о супружестве в частности: «И так как супружество есть вещь прозаическая, без всякого идеализма, то рассудок и повиновение мужу заменят ту пылкость воображения и то презрение, которым я отвечаю теперь мужчинам на их высокомерие и мнимое их преимущество над нами. Бедные твари, как вы ослеплены! Вы воображаете, что управляете нами, а мы... не говоря ни слова, водим вас по своей власти — она существует и окружает вас. Презирая нас, вы презираете самих себя, потому что презираете тех, которым повинуетесь».

Как не вспомнить, что Анна Алексеевна с возмущением приводит слова Пушкина: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я сам слажу», которые ей передали досужие языки. Ей уже было известно об ухаживаниях Пушкина за Аграфеной Закревской.

И она решилась дать всем своим поклонникам отповедь в своем дневнике: «Ум женщины слаб, говорите вы? Пусть так, но рассудок ее сильнее. Да ежели на то и пошло, то, оставив в стороне повиновение, отчего не признаться, что ум женщины так же обширен, как и ваш, но что слабость телесного сложения не дозволяет ей высказывать его. Да что ж за слава — быть сильным? Ведь медведь людей ломает, зато пчела мед дает».

В запальчивости спора Оленина так воодушевилась, что заговорила и прозою, и стихами. Последние она отправляет своей подруге и родственнице Варваре Дмитриевне Полторацкой, которая усиленно пыталась ее сосватать за своего брата, красивого, но небогатого Николая Дмитриевича Киселева. В стихах Оленина подводила итоги настоящему и пыталась заглянуть в будущее:

Искавши в мире идеала
И не нашед его,
Анета счастия искала
В средине сердца своего.
Все в двадцать лет ей надоело:
Веселье, балы и пиры,
Младое счастье улетело
И юности прекрасные дары...

И что же ждет ее в будущем? Об этом она повествует насмешливо:

Заняться просто садом,
Садить капусту «рядом»,
Расходы дома проходить
И птичий двор свой разводить...

Все последующие записи в основном посвящены тому, что нужно все же выходить замуж, а то «я

много стою родителям. Пора, пора мне со двора. Хотя это будет ужасно!». И далее следуют рассуждения об обязанностях жены, которые ее страшат. Рассуждения о замужестве прерывались описанием претендентов на ее руку. Среди них и Пушкин. Именно о нем говорит она с лучшим другом семьи И. А. Крыловым и записывает этот разговор: «Он вообразил себе, что двор вскружил мне голову и что я пренебрегла бы хорошими партиями, думая выйти за какого-нибудь генерала. В доказательство, что я не простираю так далеко своих видов, я назвала ему двух людей, за которых бы вышла, хотя и не влюблена в них: Майендорфа и Киселева. При имени последнего он изумился. „Да,— повторила я...— Я думаю, что они не такие большие партии, и уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или за Пушкина“.— „Боже избави,— сказал он,— но я желал бы, чтобы вы вышли за Киселева и, ежели хотите знать, он сам того желает. Но он и сестра (Варвара Дмитриевна.—*Авт.*) говорят, что нечего ему соваться, когда Пушкин того же желает“».

Женихов было много. Но как это бывает — разборчивая невеста не выходит замуж вовсе. Так случилось и с Анет Олениной. Тем не менее ее так воодушевлял успех (хотя он и длился недолго), что она решила даже писать роман, который по форме все же напоминает дневник. В нем Оленина пыталась дать портретные характеристики всех претендентов на ее руку. Подводя резюме своим длинным рассуждениям, касающимся Пушкина, она пишет о его наружности и манере обращения с женщинами: «Итак все, что Анета (о себе она пишет в третьем лице.— *Авт.*) могла сказать после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен». В этих словах чувствуется досада, Пушкин к тому времени уже

перестал за ней ухаживать. Впрочем, и она быстро утешилась, заинтересовавшись молодым человеком, офицером Казачьего полка А. П. Чечуриным. Она очень подробно описывает в своем «романе-дневнике» это знакомство и особо подчеркивает: «Он поведал мне, по особой ко мне доверенности, что в Чите он видел „всех“». «Все» — это ссыльные декабристы.

11 августа 1828 года Олениной минуло 20 лет. Эти именины описаны ею очень подробно: «Стали приезжать гости. Приехали премилый Сергей Голицын (Фирс), Крылов, Гнедич, Зубовы, милый Глинка, который после обеда играл чудесно и в среду придет дать мне первый урок пения. Приехал, по обыкновению, Пушкин... Он влюблен в Закревскую, все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности. Но любезным героем сего дня был милый казак Алексей Петрович Чечурин. Он победил всех женщин, восхитил всех мужчин и посмеялся над многими из них».

Интересно, что Чечурин и другие в этот день говорили ей, что она слишком избалована вниманием окружающих и даже иногда капризна и ведет себя вздорно...

Праздники шли один за другим, 5 сентября. в день именин Елизаветы Марковны, Пушкин упомянут снова. Вечером молодежь увлеклась фокусами, и только ночью все разъехались. «Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, прибавил он с чувством»,— не забыла записать в свой дневник Оленина.

После этого в дневнике он не упомянут ни разу. Пушкин перестал посещать дом Олениных.

Весной ей прочили в женихи П. Д. Дурново, но она не скрыла в дневнике своем, что смотрины провалились. Затем все родные, и в особенности сестра,

хотели выдать ее замуж за пожилого Матвея Юрьевича Виельгорского. Многие строчки дневника посвящены ожиданию его предложения. Но он его не сделал, и Оленина делает печальный вывод о том, что ее уже нельзя полюбить: «Как грустно мне на балах. Теперь мне все равно, я ко всему равнодушна. Сегодня весела, игрива, но не от души. Все в ней пусто, все спокойно и как холодно! Мне кажется, что с прошедшей зимы я прожила век и стала стара душой...»

В таком грустном состоянии она уехала в Москву навестить сестру и там снова встречалась на балах с Пушкиным и получила бесценный его автограф в альбом —«Я вас любил...».

После отъезда Пушкина на Кавказ, в мае 1829 года, Вяземский пишет: «А мы, то есть я и Баратынский, танцевали в Москве с Олениной...»

Пушкин еще долго не мог забыть свое увлечение Олениной. В конце 1829 года в черновиках поэмы «Тазит», там, где говорится о неудачном сватовстве героя, снова появляется профиль Олениной, удивительно похожий на ее изображение у Гампельна. Зимой 1830 года Пушкин посетил дом Олениных на святках, когда все ездили друг к другу ряжеными, в масках и домино. Поэт был в компании Елизаветы Михайловны Хитрово. «Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны»,— записала в свой дневник Д. Ф. Фикельмон.

В то время когда все веселились, Анна Алексеевна грустила. 2 февраля она записала в свой дневник: «Пустота, скука заменили все другие чувства души. Любить? Я почти уверена, что более на это не способна,— но это все равно!»

Видимо, такие настроения длились недолго. И в мае 1831 года она опять описывает свою веселую жизнь, балы, успех в танцах и отмечает, что в искусстве верховой езды она привлекает все взоры. Такой оживленной, веселой, непоседливой изобразил ее в

1833 году художник-любитель Г. Г. Гагарин. Замечательный рисовальщик, ученик Карла Брюллова, он сумел передать ее умение нравиться, любовь к светским удовольствиям. Такое впечатление, что она на минуту приостановилась. В руках у нее шляпа, и через секунду она выйдет, чтобы ехать с очередным визитом...

Оленина все еще не нашла своего счастья в жизни. Не было никого достойного ее внимания, и она забросила свой дневник. После записи о больших светских успехах, сделанных в мае 1831 года (Пушкин уже был женат на Наталье Николаевне), она возвратилась к записи всего один раз, в феврале 1835 года.

Эта последняя запись передает ее новое состояние души: «Прошло целых четыре года, и мой журнал не подвинулся вперед. Дружба моя с милыми Блудовыми (Антониной и Лидией, дочерьми Д. Н. Блудова.— *Авт.*) занимает все минуты, остающиеся от шумной, пустой светской жизни... Наш мир — не светский мир, он — мир души, он — мир воображения». И далее, обращаясь к милым ее сердцу подругам, восклицает: «Вы извлекли из сердца моего терн, который там оставили обманы света». Этой строчкой заканчивается дневник, к которому Анна Алексеевна более не возвращалась.

Дальнейшие ее настроения, состояние души нам известны по портретам, которые составили целую галерею. Здесь также Анна Оленина находится в исключительном положении. Художники в доме президента Академии художеств А. Н. Оленина были завсегдатаями. Но портрет 1835 года написан скорее всего не в Петербурге, а в Воронеже, в доме старшей сестры Варвары Алексеевны, муж которой в это время находился там на службе. Приехавшая в гости к сестре Анна Оленина позировала художнику-самоучке И. В. Шевцову. Она изображена в темном пла-

тье, в широкополой соломенной шляпе, из-под которой свободно выбиваются локоны. Грустный и задумчивый взгляд придает выражению лица унылую отрешенность от всего житейского. Уже не осталось следа от ее прошлого изящного кокетства, теперь ее мир —«мир души, мир воображения». В портрете это ясно выражено.

Прошли годы, и Оленина стала любить тихие дружеские беседы с подругами, обмен мнениями о серьезных книгах, в том числе о философии Канта и Фихте, метафизике и богословии.

В июне 1838 года она пережила тяжелую утрату — скончалась ее мать Елизавета Марковна Оленина. А. Н. Оленин был особенно безутешен, и Анна Алексеевна старалась его поддержать как могла. Все друзья разделяли горе семьи. И. А. Крылов сочинил для памятника на могиле эпитафию (Е. М. Оленина похоронена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.— *Авт.*):

Супруга нежная и друг своих детей,
Да успокоится она от жизни сей.
В бессмертье там, где нет ни слез, ни воздыханья,
Оставя по себе тоску семье своей
И сладостны воспоминанья!

Вскоре после печальных событий Оленин заказал Александру Брюллову (и он, и его брат Карл после возвращения из Италии продолжали дружбу с Олениными) исполнить планы и рисунки фасадов всех приютинских построек в связи с объявленной продажей имения (такова была предсмертная воля Елизаветы Марковны). В это же время А. Брюллов пишет портреты Оленина и всех его детей и невесток. Портрет Анны Алексеевны известен нам только по черно-белой репродукции. Она сидит у стола опершись на руку, в глубокой печали.

В следующем, 1839 году, после года траура, она была помолвлена с полковником лейб-гвардии гусарского полка Ф. А. Андро, сыном французского эмигранта графа А. Ф. Андро де Ланжерон и Анжелики Дзиержановской. Портрет Олениной в подарок жениху написал входящий в моду акварелист В. И. Гау. На этом портрете она грустна и меланхолична. Глубокая печаль и тревога видны в ее прекрасных глазах, маленький рот скорбно сжат. Но все же к светлым локонам прикреплена гирлянда цветов с пышной розой. Не увядание молодой женщины, которой только что минуло тридцать лет, а ее будущий расцвет хотел изобразить художник нежными акварельными красками, написав ее в светлом платье на фоне голубого неба.

В последние месяцы перед свадьбой она захотела как бы отдать дань бурному прошлому. По письму Софи Карамзиной к брату Андрею известно, что Анна Оленина на обеде у их общих знакомых в Павловске весело обсуждала свой будущий день рождения с подругами. «Вы не можете себе представить,— описывает далее Софи,— смех, шалости, кокетство, шептанье... Каждая из этих дам на вечере (Анна Алексеевна, видимо, решила в последний раз перед замужеством вспомнить былые традиции их семейных празднеств.— *Авт.*) будет фигурировать в костюмах, напоминающих московские колокола. На вечер будут допускаться только мужья (не являющиеся мужчинами, как они говорили). Я слышала, как княгиня Щербатова спросила Анет: «Вы не приглашаете Софи?» А та ответила: «Нет, Софи будет скучать, она любит беседовать, а мы будем лишь смеяться между собой и беситься...» Я притворилась глухой, услышав это странное слово. Лермонтов был удивлен моим серьезным лицом и видом, так что мне стало совестно, и я кончила тем, что вместе с ними стала шутить и смеяться от чистого

сердца и даже бегать взапуски с Олениной...» Софи, видимо, очень хотелось все же попасть на день рождения Анны Алексеевны.

Известно, что в доме Карамзиных и у родственницы старого друга семьи Е. Штерича красавицы Марии Щербатовой Оленина встречалась с М. Ю. Лермонтовым. 11 августа 1839 года он прибыл на день рождения Олениной (теперь праздники членов семьи справлялись не в Приютине, а в Петербурге, в доме на Большой Морской). Поэт был простужен и всячески отказывался писать стихи, ссылаясь на головную боль. Но Анна Алексеевна настояла, и новый автограф украсил ее альбом:

Ах, Анна Алексевна,
Какой счастливый день!
Судьба моя плачевна,
Я здесь стою как пень.
И что сказать не знаю,
А мне кричат: «Plus vite!»*
Я счастья вам желаю
Et ji vous félicite**.

Позднее Варвара Алексеевна Оленина написала пояснение к этому экспромту: «Приветствие больного гусарского офицера и поэта г. Лермонтова Анне Алексеевне Олениной в ее альбом». Видимо, сестре хотелось объяснить, почему стихотворение звучит несколько вынужденно. Хотя, судя по присутствию Лермонтова на дне рождения, Оленина пересмотрела свое первоначальное решение «приглашать только мужей».

С 16 февраля 1840 года молодая чета Андро поселилась сначала в доме отца, а потом, после кончины Алексея Николаевича в 1843 году, уже с двумя ма-

* Скорей! (Франц.).
** И я вас поздравляю (франц.).

ленькими дочерьми (Александрой и Софией) переехала в Варшаву. В 1844 году Ф. А. Андро получил туда назначение на службу, немного позднее он занял должность президента польской столицы, на которой находился в течение 14 лет. Семья увеличилась. В Варшаве в 1845 году родился сын Федор, а в 1847 году — младшая дочь Антонина.

В качестве супруги столь важной особы Анне Алексеевне пришлось открыть двери своего дома широкому кругу лиц, но среди них уже не было людей искусства, тех, в окружении которых прошла первая половина ее жизни. Она считала ее лучшей! Это не могло нравиться мужу, человеку другого круга. Потомки рассказывают, что Федор Александрович был «красивый, представительный голубоглазый блондин, весьма аккуратный, честный до щепетильности, формалист. Хотя он имел весьма доброе сердце, но тяжелый нрав, вспыльчивый, обидчивый, не терпевший возражений». Это делало жизнь Анны Алексеевны довольно сложной.

В портрете Карла Брюллова (который мы знаем по копии А. Попова) 1842 года она очень грустна. В глазах ее запечатлелись полная отрешенность и покорность обстоятельствам. На ней роскошная меховая накидка, богатое платье, драгоценности, но ушли былые радость и оживление. Она захотела позировать около мраморного бюста отца: может быть, думала, что прежде всего выполняла его волю, выходя замуж так, как предсказала сама когда-то в своих стихах:

Супруг не идеальный, а простой,
Не Аполлон он Бельведерский,
Не Феба дивный ученик,
А просто...
Офицер гусарский.

Но Андро был богат и, видимо, считался хорошей партией. Он владел замком Ланжерон во Фран-

ции и виллой «Woerndle» близ Инсбрука, в Альпах, в Австрии. Туда съезжались на лето его дети, а позднее и внуки. Он считал, что семейная жизнь, воспитание детей и обязанности, наложенные на его жену их положением в Варшаве, должны составлять ее единственный интерес в жизни. «К ее блестящему прошлому он относился скептически, с затаенным чувством,— вспоминают потомки,— и поэтому все, что некогда наполняло ее девичью жизнь, не должно было более существовать, даже как воспоминание».

На портрете супругов, исполненном в 1866 году известным художником И. К. Макаровым, Федор Александрович крупный сановник, увенчан наградами. Он держится прямо и сдержанно, маленький узкий рот крепко сжат, светлые глаза смотрят холодно и презрительно. Совсем иной образ Анны Алексеевны. Здесь она в возрасте пятидесяти восьми лет, однако еще моложава. Мягким голубым цветом платья художник оттенил ее глаза, выразительные как в других портретах, так и в этом, последнем. В портрете Макарова видно мудрое спокойствие. Она уже подвела итоги, оставив воспоминания в глубине души. Перед нами человек долга. Ее альбомы и письма (весь архив, столь дорогой сердцу) лежат в большом сундуке. Он отправлен в дальнее имение России, на Волынь (где нашел свое место на чердаке). Там он покоился более 40 лет, увидев свет только после смерти Федора Александровича.

Но сразу же после смерти мужа, похоронив его в семейном склепе замка Ланжерон, Анна Алексеевна уехала туда, где хранились дорогие ее сердцу реликвии, в деревню Держну Волынской губернии, которая к тому времени принадлежала младшей дочери, вышедшей замуж за А. А. Уварова. Туда стали к ней съезжаться все дети и внуки. И вот что они вспоминают: «Из нашей памяти никогда не изгладится та умилительная

картина, которая предстала перед нашими глазами, когда мы застали Анну Алексеевну, нашу милую 77-летнюю бабушку, точно помолодевшую при воспоминании о прошлом... Все любимое, пережитое воскресало в ее памяти.

Из сундука были уже вынуты нашей бабушкой и лежали около нее на столе всевозможные предметы: веера с автографами великих людей и художников; миниатюрные портреты отца и матери, окаймленные веночками из незабудок; разные художественные «carnets de bal» (бальные карточки) с именами Пушкина, Вяземского и других ее кавалеров, с которыми она должна была танцевать экосезы, попурри или мазурки; зрительные театральные трубки ее отца, афиши, отпечатанные на розовом и белом атласе, крошечные коробочки для мушек, принадлежавшие ее матери...

Тут же лежала вылитая из бронзы, в натуральную величину, работа скульптора С. Гальберга, прелестная рука бабушки, служившая ее отцу пресс-папье на рабочем столе. Рядом находилась отлитая тем же художником из бронзы ножка Анны Алексеевны, узенькая и маленькая, которая была восторженно воспета великим поэтом...»

И тогда, конечно, всем вспомнились стихи Пушкина о Петербурге, о Летнем саде, где они встречались с Анет Олениной:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

«Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью. Она всегда говорила,

что „в его обществе никогда никому скучно не могло быть — такой он был веселый, живой, интересный, особенно в интимном кругу, когда он чувствовал, что к нему относятся доброжелательно"».

Анна Алексеевна тщательно берегла альбом с автографами и рисунками Пушкина (все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 г.), не любила, чтобы мы выражали о них наше мнение и не допускала ни малейшей критики с нашей стороны».

Под некоторыми стихотворениями Пушкина Анной Алексеевной были сделаны пометки. Так, под «Ты и Вы» было написано: «А. А. ошиблась, говоря Пушкину «ты», и на следующее воскресенье он привез эти стихи:

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она обмолвясь заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!»

Это было записано в альбом 23 мая 1828 года. Продолжая воспоминания, она записала около стихотворения «Ее глаза» стихотворение «Твоя Россети-егоза...», впоследствии смягченное словами: «Придворных витязей гроза». Пушкин написал его в том же году в ответ на посвящение П. П. Вяземским Александре Осиповне Россет «Черных очей». А к автографу 1829 года стихотворения «Я вас любил...» самим Пушкиным в 1833 году сделана приписка: «Plusquamperfekt»— давно прошедшее.

И внукам казалось, что бабушке чуть досадно было, когда они это читали. Понятно, что её часто спрашивали, почему она не вышла замуж за Пушкина. И она всегда отговаривалась: «Такова была воля божия»— или: «Видно, не суждено было», а однажды вскользь за-

метила: «Он ведь был небогат...» Видимо, с годами ей стало ясно, что богатство не приносит счастья.

А настоящее счастье заключалось, по ее мнению, в общении с замечательными людьми, о которых она не уставала вспоминать и рассказывать своим близким. Любила также показывать им рисунки О. Кипренского, братьев Брюлловых, Гампельна, Гау и других художников. В одном альбоме был рисунок ювелирных украшений, Анна Алексеевна мысленно перенеслась в тот вечер, когда на костюмированном балу в Эрмитаже она изображала «Вечер» в платье и плаще из серого тюля, а украшениями служили платиновые пряжки, диадемы, запястья и ожерелье с халцедонами, сделанные по рисунку ее отца, знатока античной археологии.

«А это,— с особенным вниманием останавливалась она на страницах с нотными записями,— это музыкальные записи Михаила Ивановича Глинки, сделанные им после его уроков. Какое было счастье учиться у него! Как я всегда волновалась перед его приходом!»

И внуки вспоминают, что «чудные глаза бабушки особенно блестят, когда она вспоминает проказы и шутки Ивана Андреевича Крылова. Она прямо молодо смеется, рассказывая нам, как он был забавен, когда в шарадах исполнял иногда женские роли, а также когда изображал зверей своих басен в «баснях в лицах». А как мы любили слушать Крылова, когда он в длинные осенние вечера в Приютине читал вслух моей матери. Читал он так внятно и живо.

Крылов был добрейший, умный и весьма доброжелательный человек... мы к нему прибегали во все трудные минуты нашей жизни. И он всегда умел нас успокоить и направить».

О другом друге Оленинского дома, Гнедиче, Анна Алексеевна также отзывалась с большим уважением: «Он был менее прост в обращении, чем Крылов, но это был человек чистой души, правдивый, искренний».

О Батюшкове она говорила с грустью, вспоминая начало его тяжкого недуга в связи с отказом Анны Федоровны Фурман разделить его судьбу.

У Анны Алексеевны была завидная и долгая жизнь, наполненная встречами с замечательными людьми, счастьем воспоминаний, которые украсили ее старость. Природа одарила ее красотой, умом, всевозможными дарованиями, прекрасными родителями, верными, преданными друзьями. Способность глубоко чувствовать все прекрасное дала ей много высоких переживаний, и радостных, и грустных. Ее любили родные и близкие, и это сделало ее старость спокойной. Любовь к родине до последних дней одухотворяла ее жизнь. Она гордилась славой России и завещала похоронить ее скромно, не в семейном склепе Ланжеронов, а на монастырском кладбище в местечке Корец, в пяти верстах от Деражни.

15 декабря 1888 года Анны Алексеевны не стало. В некрологе, написанном неизвестным автором, сказано: «Необычайный ум, светлая душа и чистое русское сердце покойной надолго оставили по себе во всех знавших ее самое искреннее, самое неизгладимое чувство любви». Это чувство столетиями будет поддержано тем содружеством муз, которые окружали Оленину в юности, и бессмертными словами Пушкина: «Я вас любил...»

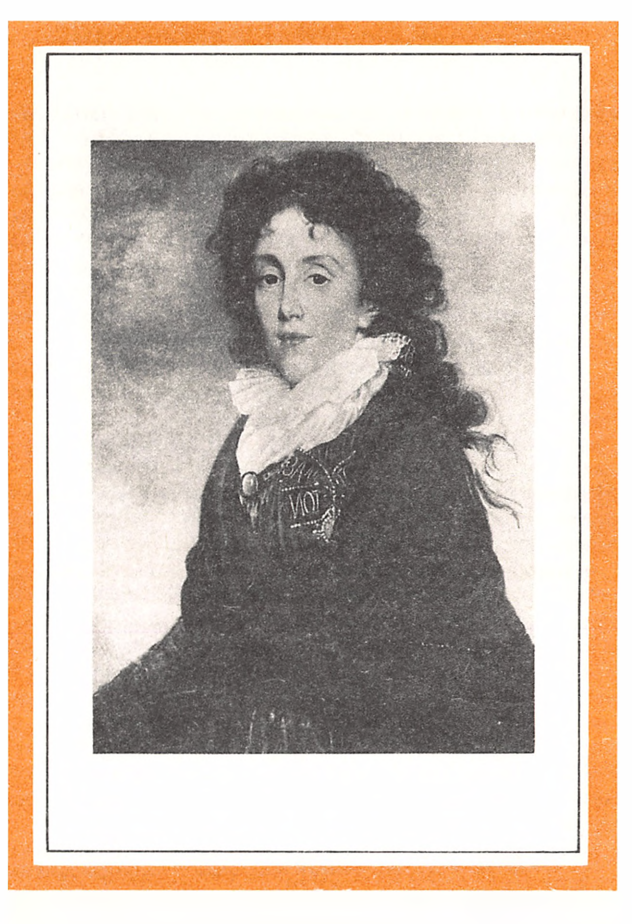
ЖЕНЩИНЫ РОДА КУТУЗОВА

В 1795 ГОДУ ЗНАМЕнитая Мари Луиза Элизабет Виже-Лебрен, личный живописец свергнутой французской королевы Марии Антуанетты, член многих европейских художественных академий, прибыла в Петербург. В течение шести лет она писала самых прекрасных, самых знаменитых и самых значительных дам Петербурга. На ее портретах все они чем-то похожи друг на друга. Исключения редки. И все же портрет Екатерины Ильиничны Голенищевой-Кутузовой, дочери генерал-поручика И. А. Бибикова и жены прославленного полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, выделяется среди прочих. На фоне беспокойных облаков изображена женщина независимая, крайне эмоциональная, с решительным характером. Гордо поднятая голова, огромные глаза с высоким изломом бровей, как на старинных иконах, небольшой сжатый рот. Видимо, желая подчеркнуть

энергию, сильный темперамент и артистичность натуры, прославленная художница окружила лицо каскадом пышных локонов, падающих на плечи, задрапированные огненно-красной шалью. Если бы на Кутузовой не было знаков отличия кавалерственной придворной дамы (портрет императрицы, бант с бриллиантовым орденом св. Екатерины), мы вполне могли бы предположить, что перед нами великая актриса. Настроение портрета приподнято-патетическое.

В апреле 1778 года двадцатичетырехлетняя Екатерина Бибикова вышла замуж за Михаила Кутузова. Брак был удачен. Совпали духовные интересы молодой пары. Они оба страстно увлекались литературой, театром, философией, путешествиями. Кутузов смолоду считался одним из самых образованных офицеров своего времени, обладавшим к тому же большими артистическими способностями имитации манер окружающих его людей. Видимо, ему претило всякое притворство, и он со свойственным ему юмором высмеивал вельмож. Однажды даже пострадал за неуважение к начальству и стал осторожнее. Но дома он давал себе волю, встречая полное понимание своих домашних, увлекавшихся всем, что относилось к актерской игре.

Екатерина Ильинична всегда была неизменным другом своего мужа, она сопровождала его даже в военных походах, когда это было возможно. Они много путешествовали по Европе, долго жили в Лейдене — тогдашнем центре науки, встречались с учеными, передовыми людьми Европы. Но главным увлечением Екатерины Ильиничны всегда оставался театр. Описывая свои посещения в молодые годы дома Александра Семеновича Шишкова, Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминает: «Почетные гости Шишкова заметили меня (мой сценический талант) — Н. С. Мордвинов (будущий министр, единст-



Е. И. КУТУЗОВА.
Портрет Л.-Е. Виже-Лебрен.
1800-е гг.

венный не подписавший смертный приговор декабристам.— *Авт.*), М. И. Голенищев-Кутузов, М. М. Бакунин, и более всех жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина чрезвычайно умная, образованная и страшная любительница театра (она была другом знаменитой трагической французской актрисы Жорж)... Кутузова изъявила мне искреннее сожаление, что я дворянин, что такой талант, уже много отработанный, не получит дальнейшего развития на сцене публично...»

Кто знает, может быть, говорившая это и сама не раз сожалела, что ее положение придворной дамы не дает ей возможности стать актрисой.

С далеких театров военных действий ее муж будет в письмах неизменно спрашивать не только о политических новостях столицы, но и о новых театральных постановках, о гастролях европейских знаменитостей, о новых пьесах.

Пройдут десятилетия — и в больших войнах, решая судьбы государств, борясь с умнейшими политиками, будет побеждать Михаил Илларионович Кутузов, один из образованнейших людей своего времени, побеждать могучим интеллектом, позволившим ему мудро решать задачи стратега и дипломата. При этом у него всегда оставался сильный и верный тыл в лице жены, шедшей с ним рука об руку по пути познания жизни и культуры. Именно Екатерина Ильинична умела создать окружение, достойное человека мыслящего и образованного.

Среди их ближайших друзей были Г. Р. Державин, Н. И. Гнедич, И. А. Крылов, уже упомянутый адмирал Шишков, другой ученый и адмирал И. Л. Голенищев-Кутузов (переводчик Вольтера), дальний родственник Кутузова и муж сестры Екатерины Ильиничны (Евдокии). Ученых, писателей, актеров Кутузовы предпочитали кругу придворных и военных. Исключение составляли А. В. Суворов и П. И. Багра-

тион, с которыми семья Кутузовых находилась в большой дружбе.

Суворов и Багратион были несчастливы в личной жизни, они разъехались со своими женами и не имели семейного дома в столице. Дружный, гостеприимный дом Кутузовых был им в радость. В нем кипело оживление, освещенное умственными интересами, и одновременно становилось уютно от топота ножек маленьких дочерей. У Кутузовых был один сын, умерший ребенком, и пять дочерей: Прасковья, Анна, Елизавета, Екатерина и Дарья — с небольшой разницей в летах. Они росли в семье, объединенной общими духовными интересами и преклонением перед славой отца.

12 декабря 1790 года М. И. Кутузов писал своей жене из Измаила: «Любезный друг мой, Катерина Ильинична. Я, слава богу, здоров и вчерась тебе писал... что я не ранен и бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках, а ввечеру приехал домой как в пустыню... кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами... Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось...»

Думается, что, читая это письмо, плакали жена полководца и его три старшие дочери, воспитанные в духе страстного, деятельного патриотизма. Они с детства учились понимать, как нелегок путь к победе, усеянный многими жертвами. «Не было крепче крепости, обороны отчаянней, чем Измаил,— сказал Суворов,— только раз в жизни можно пускаться на такой штурм...» Донося о победе, Суворов просил наградить Кутузова, «который оказал новые опыты искусства и храбрости своей... Он шел на левом фланге, но был моей правой рукой...»

Кутузов остался комендантом Измаила. В 1791 году в городе Яссы был заключен мир, по которому Турция уступала России земли между реками Южный Буг и Днестр и согласилась признать присоединение Крыма к России. Этим закончилась вековая военная борьба за выход в Черное море, необходимый для экономического развития страны.

С 1793 года начался новый этап борьбы — дипломатический. На этот труднейший участок был послан Кутузов — чрезвычайным и полномочным послом России в Константинополе. Снова пришлось разлучиться с семьей, снова полетели от него письма к жене, от нее — со светскими, театральными и литературными новостями. В переписке начинают принимать участие старшие дочери.

А через год Кутузовы уже в Петербурге, где для них началось счастливое десятилетие мирной жизни. Но мирной ее можно назвать относительно. В 1796 году на троне Екатерину II сменил Павел I. «Суворовцев» полностью заменяют «гатчинцами». Кутузова отправляют в Швецию. Суворов непримиримо отстаивает свои позиции. Сосланный Павлом I в Кончанское и затем вызванный к войскам, когда иного выхода не было, он вновь покрыл славой русское оружие в Альпах.

Но в России Суворова ждала новая опала и смерть в полном одиночестве в квартире родственника на Крюковом канале. Боясь царского гнева, к нему почти никто не смел прийти. Перед самой смертью к Суворову буквально прорвался Багратион, да Кутузов в каждом письме из-за границы запрашивал с волнением о своем учителе и друге.

Суворов умер. Плакали русские солдаты — герои беспримерных суворовских походов, плакали выпестованные им офицеры. В глубочайшей скорби проводил своего генералиссимуса русский народ. В последний путь его провожали все ближайшие друзья

Кутузовых — А. С. Шишков, А. А. Шаховской (лишившийся руки в одном из сражений под предводительством Суворова), Г. Р. Державин. Последний не побоялся обвинить Павла I в смерти мужественного полководца:

Восторжествовал и усмехнулся
Внутри душой своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою...

Но и Павлу оставалось жить меньше года. В темную мартовскую ночь 1801 года заплаканный Александр I вышел из спальни, где лежал его задушенный отец, и дрожащим голосом сказал караулу солдат Семеновского полка: «Батюшка скончался апоплексическим ударом. Вы при мне будете, как при бабушке...» Для видимости он стал приближать к себе суворовцев. В придворном кругу часто повторяли слова Екатерины II, которые она произнесла перед отправлением Кутузова в чужие края: «Надобно беречь Кутузова, он будет у меня великим генералом». Александр I назначает Кутузова генерал-губернатором столицы. Но вскоре высказывает недовольство «за неисправности в полицейской службе» и в августе 1802 года удаляет его из Петербурга в деревню Горенки Волынской губернии. Судьба Суворова при Павле I повторилась для Кутузова при его наследнике.

Снова разлука с семьей. Кутузов писал Екатерине Ильиничне грустные письма: «Посылаю, мой друг, тысячу рублей и еще, сколько могу, посылать буду до отъезда своего. Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей-богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю божию.

Видя же себя в таких летах и здоровье, что другого имения не наживу, боюсь проводить дни старо-

сти в бедности и нужде, а все труды и опасности молодых лет и раны видеть потерянными; и эта скучная мысль отвлекает меня от всего и делает неспособным...»

Екатерина Ильинична не могла уехать с мужем в деревню по положению придворной дамы и потому, что пришло время вывозить в свет и выдавать замуж подраставших дочерей. Нужны были и деньги на приданое. Но хорошее воспитание, доброта и разнообразные таланты, а также отсвет кутузовской славы помогали им составить хорошие партии.

В 1798 году старшая дочь Прасковья вышла замуж за сенатора Матвея Федоровича Толстого. Позднее она станет матерью большого семейства, радуя своих родителей внуками (8 сыновей) и внучками (2 дочери).

За генерал-майора Н. З. Хитрово вышла замуж вторая дочь Анна. И наконец пришел черед третьей дочери — Елизаветы. Живость характера, бесконечная доброта и внимание к родителям отличали ее от других сестер. Она была любимицей отца, с которым до конца его дней сохранила самые близкие и доверительные отношения.

Несмотря на то что любимая дочь Кутузова была пожалована во фрейлины в беспокойное время царствования Павла I, молодость и случай защитили ее от «заботы» императора и замужества по его произволу. Елизавета Кутузова вышла замуж по взаимной любви уже в самом начале правления Александра I, 6 июня 1802 года, девятнадцати лет от роду, и навсегда осталась под покровительством всех «высоких особ», присутствовавших в придворной церкви Павловска на ее свадьбе со штабс-капитаном инженерных войск Фердинандом (Федором Ивановичем) Тизенгаузеном.

Брак был счастливым. В 1803 году родилась дочь Екатерина, в 1804 году — Дарья. У Кутузова не было

сыновей, и он считал своего зятя Фердинанда своим сыном. В каждом письме видна его любовь к этой молодой семье: «Итак, ты — мать, дорогая Лиза, люби своих детей, как я люблю моих — этого довольно... Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или, лучше сказать, за большое письмо. Благодарю за комплименты, которые он Лизаньке делает... Ежели быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд...»

В конце XVIII и начале XIX века наступила пора самого счастливого времени супругов Кутузовых. Они радовались, видя счастье старших дочерей. Именно в эти годы окрепли дружеские связи с любезным их сердцу миром литераторов и театральных деятелей. На рубеже XVIII—XIX веков чета Кутузовых была близка литературному салону Г. Р. Державина. Собирались по воскресеньям. Обычно присутствовали И. Ф. Богданович, А. Н. Оленин, Н. А. Львов, Ф. П. Львов, П. Л. Вельяминов и В. В Капнист (когда приезжал с Украины), баснописцы И. И. Хемницер и И. А. Крылов. Позднее в державинский кружок вошли А. С. Шишков, Д. И. Хвостов, А. А. Шаховской, С. А. Шихматов. В 1807 году организовались литературные субботы, предтечи будущей «Беседы любителей российского слова». Они собирались поочередно у Державина, Шишкова, А. С. Хвостова и И. С. Захарова.

Чем же была близка Кутузовым эта литературная среда? Прежде всего, ярко выраженной русской ориентацией. С другой стороны, почти все члены этого кружка отдавали большую дань театру. Круг Державина-Львова, переросший потом в «Беседу», стал местом, где встречались интереснейшие люди своего времени, объединенные любовью к своему отечеству, чувствами возвышенного патриотизма. Там создалась тесная, дружеская литературно-театральная обстановка, где такие люди, как супруги Кутузовы, почита-

лись примером гражданственных и семейных добродетелей.

Кроме того, многие из участников салона Державина были не чужды театральной деятельности. И прежде всего сам хозяин — крупнейший поэт XVIII столетия — в начале XIX века, на склоне лет, обратился к сочинению трагедий.

Увлеченная театром, Екатерина Ильинична Кутузова, естественно, рукоплескала патриотическим трагедиям В. А. Озерова и Г. Р. Державина. Их постановки совпали с подъемом национальных чувств всех русских, вступивших в борьбу с тираном Европы Наполеоном.

В 1805 году еще раз подтвердилась схожесть судеб Суворова и Кутузова: их забывали, подвергали опале в дни мира и вспоминали, когда над Россией нависала опасность, отвратить которую не в силах ни монархи, ни их любимые придворные льстецы и лицемеры, в основном иностранцы.

Кутузова назначили командовать армией, которая шла навстречу французским войскам освобождать Европу. 20 ноября (2 декабря) произошло сражение под Аустерлицем. Русские войска отступали, Кутузов был ранен, его зять Ф. Тизенгаузен со знаменем в руках повел один отступающий батальон — и пал, пронзенный пулей насмерть.

Этот эпизод боя под Аустерлицем, прочитанный в книге А. И. Михайловского-Данилевского «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, в 1805 году», послужил впоследствии материалом Л. Н. Толстому для изображения сцены ранения князя Андрея Болконского в романе «Война и мир».

Потухали кровавые зори Аустерлица. Наутро 3 декабря в доме австрийского крестьянина «рыдал неутешно» старик Кутузов. Друзья пытались успокоить его, напоминая, что в самые страшные минуты

боя, раненный, видя смерть своего зятя Тизенгаузена, он оставался тверд.

«Вчера я был полководец,— отвечал Кутузов,— сегодня я отец...» Кутузов оплакивал не только смерть родного человека, и не свои раны вызывали слезы. «Рана здесь»,— указывал он на солдат, отданных на избиение при Аустерлице, когда ему говорили, что он ранен в щеку и нужно уходить... Царь убежал уже давно, его, как говорится, и след простыл. Кутузов уходил последним...

Гром орудий раздавался на полях сражений, и в те же дни гром рукоплесканий сопровождал слова патриотизма и героизма, произнесенные со сцены. Екатерина Ильинична не пропускала спектаклей, они соединяли ее мысли с самыми близкими людьми, которым грозила опасность.

В 1806 году вся семья снова была в сборе. Она увеличилась в связи с замужеством двух младших дочерей: Екатерина вышла за генерал-майора, грузинского князя Н. Д. Кудашева, Дарья — за Ф. П. Опочинина. Удаленный из армии Кутузов был назначен генерал-губернатором Киева. С горечью узнали все о тяжелом Тильзитском мире. Державин читал друзьям свою новую трагедию «Евпраксия», исполненную высокого патриотического пафоса, все монологи которой насыщены политическими аллегориями.

Князь Федор, упрекая князей в малодушии, восклицает:

Где князи, где вожди, о, россы! Где ваш дух?
Бывало, сильные страны вы потрясали,
Сестр греческих царей и веру присвояли,
На струги паруса вам шили из камки,
Купили златом мир от вашей все руки.
А ныне сами вы дотоль уничижились,
Что срамом покупать покой вы свой решились!

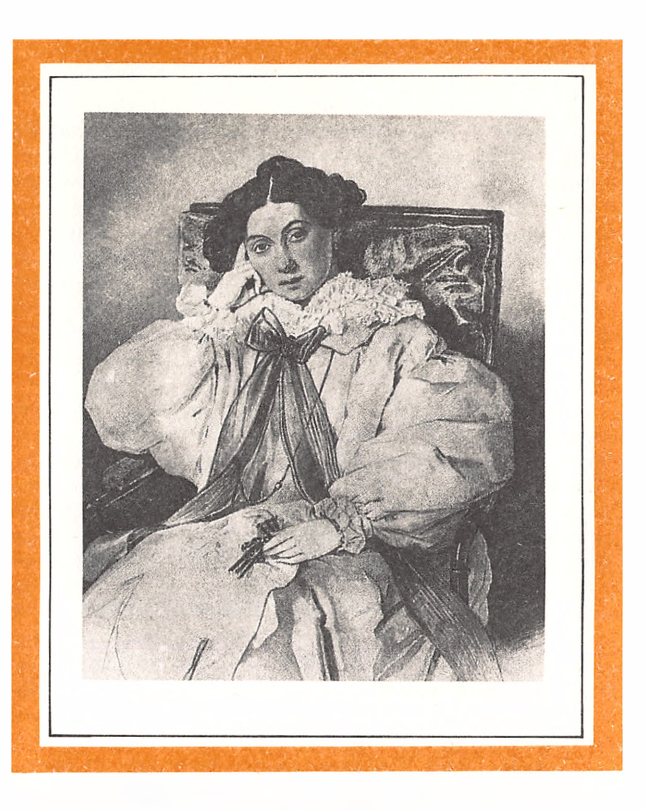
В свете только что заключенного Тильзитского мира подобные тирады наполнялись особым смыслом, хорошо понятным современникам драматурга.

В 1808 году в Петербург приехала гонимая Наполеоном знаменитая французская трагическая актриса Жорж. Всеми отмеченная дружба Екатерины Ильиничны с молодой Маргарит Жозефин Жорж не была случайной. С одной стороны, их объединяла общая ненависть к Наполеону (известно, что Жорж отвергла его домогательства, затрагивающие ее честь), с другой — одинаковое понимание классической школы искусства трагедии.

Кутузовы ценили высокий стиль трагедии, ее патетику, героический пафос. Новые веяния, а именно сентиментализм, отраженный в трагедиях В. А. Озерова, были понятны им в меньшей степени. Поэтому в соперничестве игры русской актрисы Екатерины Семеновой и француженки Жорж Кутузовы остались на стороне последней.

Главная тема театра начала XIX века — патриотическая — имела широкий отклик в сердцах всех людей, она воспитывала молодежь в духе высоких стремлений души, верности, любви, дружбы и национального самосознания.

Именно так были воспитаны дочери Кутузовых, и одна из них — Елизавета Михайловна, вдова героя, сумела продолжить роль матери как покровительницы искусств. Все последующие годы после гибели мужа тоска, слезы и отчаяние стали ее уделом. Ее тяжелое состояние особенно переживал отец: «Милый друг, Лизанька; я еду по твоим следам. Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что ты там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мною вместе». Ф. Тизенгаузен был похоронен в Ревеле, оттого Кутузов и ждал много слез.



Е. М. ХИТРОВО.
Портрет П. Ф. Соколова.
1830-е гг.

Елизавета Михайловна все годы вдовства старалась быть поближе к отцу, и это не только утешало ее в скорби, но и невольно расширяло ее представление о мире, природе, людях. В 1811 году она приезжала к отцу, командующему армией на Дунае, в Бухарест. Там встретил ее А. Я. Булгаков и написал брату: «У нас здесь несколько дней находилась г-жа Тизенгаузен, дочь генерала (Кутузова.— *Авт.*)... Это очень любезная женщина... Она настроена романтически, только что совершила путешествие в Крым и очарована этою страною».

«Романтическое» настроение, видимо, сменило меланхолическое, и летом этого же года Елизавета Михайловна вышла замуж вторично за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово (родственника Н. З. Хитрово, мужа ее сестры Анны), который, видимо, не обладал достоинствами первого мужа и не пользовался расположением Кутузова. Особенно пришлось не по сердцу фельдмаршалу то обстоятельство, что его новый зять по состоянию здоровья не принимал участия в сражениях Отечественной войны 1812 года. «Что поделывает Хитрово со своим несчастным здоровьем?» — несколько насмешливо замечает в письме к дочери Кутузов 2 октября 1812 года.

Другие зятья Кутузова были на войне. В самое тревожное время отступления наших войск Кутузов находился в Петербурге. Будучи избранным начальником петербургского и московского ополчения, он часами просиживал над картой военных действий, внимательно изучая движение войск. Неожиданно пришло письмо императора. «Михаил Илларионович! — писал Александр I Кутузову, назначая его главнокомандующим всей русской армией.— Известные военные достоинства ваши, любовь к отечеству и неоднократные опыты отличных подвигов приобретают вам истинное право на сию доверенность. Изби-

рая вас для сего важного дела, я прошу всемогущего бога, да благослови все деяния ваши к славе российского оружия и да оправдаются тем счастливые надежды, которые отечество на вас возлагает. Пребываю к вам благосклонный Александр».

Царь лицемерил. В те же дни он писал своей сестре Екатерине Павловне: «В Петербурге я увидел, что решительно все были за назначение главнокомандующим старика Кутузова: это было общее желание. Зная этого человека, я вначале противился его назначению, но когда Ростопчин письмом от 5 августа сообщил мне, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал армией, находя, что Барклай и Багратион оба неспособны на это... мне оставалось только уступить единодушному желанию, и я назначил Кутузова. Я должен был остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глас».

За назначением Кутузова последовало назначение его жены статс-дамой двора. Екатерина Ильинична получила высший женский придворный чин. Такую награду сочли возможным дать после Бородинского сражения.

Напряжение событий на фронте тревожно отзывалось в Петербурге. Взгляды петербуржцев были прикованы к спасительному имени Кутузова. Его семья была в особенном положении. И снова, как и в дни мира, в самые тяжкие дни войны его жена с достоинством выполняла свою роль сподвижницы и друга народного героя. Кутузов, как видно, делился с ней своими делами и мыслями, и многие в эти дни ожидали, что скажет Екатерина Ильинична.

Дочери Кутузова, проводив своих мужей к месту боев, старались быть рядом с матерью. Вслед за своим отцом они повторяют всем тем, кто пришел в отчаяние после сдачи Москвы: «Самой сдачей Москвы он подготовил гибель Наполеону». Им было очень трудно появляться по обязанности при дворе.

Александр I почти не мог скрыть своей ненависти к Кутузову, их отношения обострились. Но удалять Кутузова из армии царь на этот раз боялся.

И вскоре весь Петербург уже знал, что Наполеон предлагает кончить войну. Что Лористон молил об этом Кутузова, на что получил ответ: «Кончить войну? Да ведь мы ее только начинаем...» В те дни друг семьи Крылов написал басню «Волк на псарне». Все узнали в волке Наполеона, в ловчем — Кутузова. Однажды перед собравшимся народом Кутузов прочел эту басню и, читая последние слова: «Ты сер, а я, приятель, сед...» — снял фуражку, открывая седую голову.

Французская армия отступала поспешно. Скорее это было похоже на бегство. «Мог бы я гордиться, что от меня первого бежит Наполеон,— писал Кутузов жене,— но бог смиряет гордыню». Семья Кутузова, его многочисленные друзья гордились своим полководцем, и имя его сияло во славе. Расчетливо и уверенно вел Кутузов преследование. Солдат русских старался беречь, где только мог.

Прошло три месяца со дня вторжения Наполеона. «Мог бы я сказать,— писал Михаил Илларионович Екатерине Ильиничне,— что Бонапарт, этот гордый завоеватель, бежит передо мной как школьник от учителя...» И в другом письме чуть грустно звучит: «Я все скитаюсь, окружен дымом, который называют славой». Когда Екатерина Ильинична прислала из Петербурга оду, в которой было сказано, что он сдал Москву, чтобы сберечь воинов, Кутузов ответил: «Я весил Москву не с кровью воинов, а с целой Россией, и с спасением Петербурга, и с свободой Европы».

Европу освобождали русские войска. Штаб армии Кутузова расположился в маленьком немецком городке Бунцлау. В те дни стояла сырая, ветреная погода. Михаил Илларионович сообщает жене 3 апреля

1813 года: «Мое здоровье, мой друг, так расстроено, что мне немного надобно, чтобы на несколько дней не быть ни на что годну». И тем не менее он продолжал много работать.

Незадолго до смерти к нему приехал Александр I. Он просил умирающего о прощении. «Я, ваше величество, прощаю, но простит ли Россия»,— ответил Кутузов.

11 апреля он диктует свое последнее письмо Екатерине Ильиничне: «Я к тебе, мой друг, пишу в первый раз чужою рукой, чему ты удивишься, а может быть, и испугаешься — болезнь такого роду, что в правой руке отнялась чувствительность перстов. Посылаю 10 т. (талеров) на уплату долгов. 3 т. Анушке и 3 т. Парашеньке — всем, кажется, по надобности...»

Денежные долги, преследовавшие Кутузова всю жизнь, тревожили его и на смертном одре. Главнокомандующий умирал далеко от своих близких, думал о них — с любовью и заботливой тревогой. Конец наступал неотвратимо.

Вместе с народом семья Кутузова встретила его гроб в Петербурге. Хоронили его в Казанском соборе, куда на руках принес народ его останки с заставы столицы.

Отсвет его немеркнущей славы осенил жизнь его жены и дочерей, им передал он негасимый факел любви к отечеству, к народу, к русской культуре. Кутузов защищал Родину, его потомки с патетической гордостью чтили его заветы, хотели быть достойными его памяти в своих поступках и мыслях.

Екатерина Ильинична, бывая теперь одна или с дочерьми в домах, где раньше бывали с Михаилом Илларионовичем, пользовалась большим почетом. Она не отказалась от духовной жизни, интересовалась всем новым, что приносила литературная и театральная жизнь столицы.

По вторникам она часто ездила на Фурштадтскую улицу (ныне улица Петра Лаврова, 14) к старому другу А. С. Шишкову, бывшему адмиралу, а в то время президенту Российской академии. Там она встречала старых друзей — Крылова, Гнедича, Оленина, князя Шаховского и знакомилась с новыми литераторами — А. С. Грибоедовым, А. А. Жандром и другими.

В 1815 году к ней в дом на Гагаринской набережной (ныне наб. Кутузова, 30) по ее личной просьбе пригласили В. А. Жуковского. Кроме Екатерины Ильиничны присутствовали многие из ее домашних, не только дети, но и внуки. Сын младшей дочери Дарьи, восьмилетний Костя Опочинин, прочел с детским смущением кусочек из «Светланы», чем очень растрогал поэта. Сама Екатерина Ильинична в духе патетической актерской игры XVIII века продекламировала его «Стансы»:

Можно ль в жизни молодой
Сердце мучить ложной тенью.

«Мне было это приятно»,— сообщал под впечатлением этого вечера Жуковский своему другу А. А. Плещееву.

На прощание поэт написал в альбом хозяйки экспромт:

Я счастлив был неизъяснимо!
Семью вождя великого я зрел.
И то, что я смиренной лирой пел
В честь памяти его боготворимой,
Теперь вдове его дерзаю посвятить!
Дерзаю гордое в душе питать желанье:
С воспоминанием о нем соединить
И обо мне воспоминанье.

Мог ли думать тогда молодой поэт, что в дальнейшем его будет связывать долгая дружба с дочерью

Кутузовых Елизаветой Михайловной Хитрово и внучками Екатериной и Дарьей. Не раз, вероятно, вспоминал он с ними этот вечер.

Екатерина Ильинична оставалась до самой своей смерти (в 1824 г.) главой семьи, и на нее пали многие заботы.

В 1813 году овдовела дочь Екатерина, но вскоре вышла замуж вторично — за генерал-майора И. С. Сарагинского.

Старшая дочь Прасковья потеряла мужа в 1815 году, и на ее руках осталось десять сирот. Приходилось заботиться, помогать материально. На просьбы о денежной помощи Александр I отказывал. Очень скучала Екатерина Ильинична о близкой ей духовно дочери Елизавете, отбывшей с семьей в 1815 году в Италию.

Несмотря на то что муж Елизаветы Михайловны, видимо, не относился к героическим натурам, он по воспоминаниям современников, «был умен, блистателен и любезен... образован и в своем роде литературен». Эти последние качества и привлекли к нему внимание Елизаветы Михайловны, которая всегда была неравнодушна к одаренным и образованным людям.

В 1815 году Н. Ф. Хитрово получил назначение русским поверенным в делах во Флоренции. Это определило дальнейшую жизнь Елизаветы Михайловны и ее дочерей, приобщило их к европейской культуре и политике. Неожиданное переселение в Италию было в какой-то мере спасением в огромном незабываемом горе — смерти отца. Память отца чтила Елизавета Михайловна истово и даже зачастую подписывалась «урожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя и не совсем законно, потому что этот титул полководец получил в 1812 году, когда его дочь уже была замужем. Но все же ореол дочери великого русского полководца, победителя Наполеона, был так

велик и значителен, что положение русского посланника при Тосканском дворе в немалой степени упрочилось и благодаря личности его жены, а несколько позднее — очарованию падчериц. Правда, отчим застал только начало их больших светских успехов. В 1819 году Елизавета Михайловна вторично овдовела.

Несмотря на то что жизнь Хитрово в роли посланницы продолжалась недолго, однако общение с интересными людьми, знакомство с искусством эпохи Возрождения и крупнейшими музеями мира не могли не сказаться на дальнейшем формировании ее интеллекта. А для ее дочерей Италия во многом стала духовной родиной.

Елизавета Михайловна, помнящая заветы отца, была заботливой и любящей матерью и сумела дать своим дочерям отличное воспитание и образование, оставаясь и после смерти мужа в Италии.

С 1818 года очень многие русские посещали Флоренцию, которая постепенно становилась самым излюбленным городом всех европейских путешественников. Дом Хитрово, украшенный старинными картинами и гравюрами, что говорило об интересе хозяев к искусству, был достаточно открытым. Вот что пишет о хозяйке дома один из ее гостей: «Она скорее некрасива, чем красива, но очень романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене... а также о своем славном старике отце Кутузове... Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично».

Это свидетельство очень ясно обрисовывает характер Елизаветы Михайловны, круг ее интересов и увлечений. Играя охотно и в любительских спектаклях, она подражала манерой игры подруге своей матери, великой европейской трагической актрисе

Жорж, отсюда еще более развился свойственный ее натуре романтический пафос.

Близость к дипломатической жизни европейских дворов не прерывалась со смертью мужа. Среди поклонников ее дочерей находились лица очень знатного происхождения. А 3 июня 1821 года, не достигнув еще семнадцати лет, младшая дочь Долли вышла замуж за австрийского посланника при королевстве обеих Сицилий в Неаполе графа Шарля Луи Фикельмона, известного европейского дипломата, который был старше ее на 27 лет.

В январе 1821 года Екатерина Ильинична Кутузова получила письмо Шарля Луи Фикельмона, тогда еще только объявленного женихом ее внучки:

«Княгиня. Нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, княгиня, обязанность вам писать: я исполняю ее с величайшей поспешностью. Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастье, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию. Теперь его единственной целью будет счастье той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены, и, поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастье.

Как военный, я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова и я имею честь принадлежать вашей семье...»

Вероятно, Фикельмоны впоследствии получали те книги, которые описывали жизнь и подвиги Михаила Илларионовича Кутузова. 5 декабря 1821 года в Петербурге, в Вольном обществе любителей

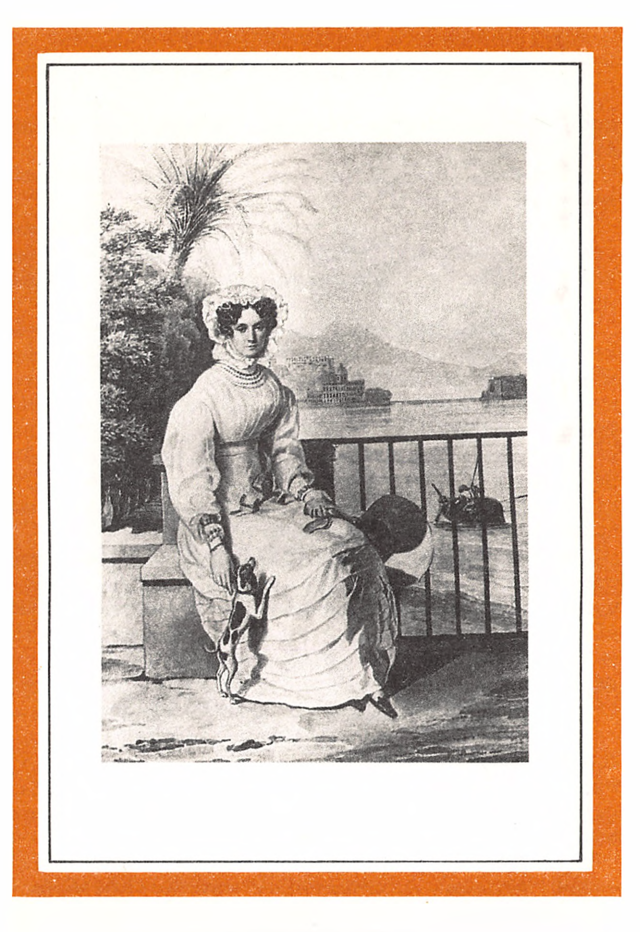
словесности, в присутствии жены и родных великого полководца В. И. Панаев прочитал «Историческое похвальное слово св. князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому». В 1823 году этот доклад был напечатан в типографии Н. Греча.

Выйдя замуж, Долли стала жить вместе с сестрой и матерью в Неаполе.

По-видимому, они были счастливы, снова заняв в любимой ими Италии соответствующее положение. Елизавета Михайловна продолжала оказывать покровительство русским художникам. В апреле 1825 года Александр Брюллов (брат знаменитого Карла Брюллова) писал родным: «Одна русская, госпожа Хитрово, быв у королевы, случайным образом разговорилась о моих портретах; ее величество пожелала их видеть, и мне предложили сделать портреты королевской фамилии...» Здесь же, в Неаполе, Александр Брюллов написал портреты В. П. Шуваловой, Н. М. Голицыной, В. А. Перовского, а также дочерей Е. М. Хитрово — Долли Фикельмон и Екатерины Тизенгаузен. Последний имеет подпись и дату: 1825 год.

На большого формата листе бристольской бумаги сестры написаны акварельными красками в полный рост. Это не просто портрет, а целая картина, где пейзаж играет значительную роль. В статичном покое две молодые женщины изображены на фоне Неаполитанского залива, с видом набережной Санта-Лучиа, замка и далекого дымящегося Везувия. Долли сидит, опершись на выступ балконной решетки. Екатерина стоит рядом с нею, касаясь рукой руки младшей сестры. На этом композиционная связь кончается: фигуры смотрятся изолированно, и каждая из молодых женщин погружена в своим мысли.

Долли задумчиво смотрит вдаль, легкая шаль покрывает ее голову, плечи и драпирует талию. Видимо, шаль должна скрыть ее беременность. Единственная



Е. Ф. ТИЗЕНГАУЗЕН.
Портрет А. П. Брюллова.
1825 г.
Публикуется впервые.

дочь Фикельмонов — Элизалекс родилась в конце 1825 года.

В другом портрете на этом же балконе А. Брюллов написал одну Е. Тизенгаузен.

Художник мастерски передал атмосферу величественной красоты природы и архитектуры Италии, которую позднее Долли назовет «своим возлюбленным раем».

Как жили в этом «раю» женщины рода Кутузова, об этом известно немного. В 1822 году они встретились наконец с Екатериной Ильиничной, которая вместе с младшей дочерью Дарьей Опочининой провела несколько месяцев во Флоренции. В 1824 году вдова полководца скончалась, и Фикельмону уже некому было писать в Петербург, изливая свои восторги по поводу красоты и любезности своей молодой жены, «этого существа с совершенным характером и умом».

Вероятно, нелегко было Долли в столь юном возрасте начать свою взрослую жизнь, с серьезными обязанностями посланницы при Неаполитанском дворе. Но у нее были прекрасные взрослые наставники: мать и муж — и она, по воспоминаниям современников, справлялась отлично со своими сложными обязанностями. Через восемь лет ей предстояли еще более сложные испытания. Летом 1829 года Фикельмон прибыл в качестве австрийского посла в Петербург. Начинался новый период в жизни дочери и внучки Кутузова, оставившей заметный след в русской литературе и общественно-политической жизни столицы.

«Любезным трио» называли многие трех женщин, очень заметных в придворных кругах Петербурга: Елизавету Михайловну Хитрово, Екатерину Федоровну Тизенгаузен и Дарью Федоровну Фикельмон, мать и двух дочерей-погодок, чрезвычайно дружных между собой.

Центром этого трио долгое время оставалась мать, умевшая, по словам одного из своих биографов,

Д. Ф. ФИКЕЛЬМОН.
Портрет П. Ф. Соколова.
1837 г.

бить «скорее сотоварищем и другом своих дочерей, чем матерью». И такому влиянию Елизаветы Михайловны не только на своих незаурядных дочерей, но и на многих близких друзей было много причин.

Интерес к общественным событиям и любовь к людям, желание быть им полезной — качества достаточно редкие в придворных кругах, и они по достоинству оценены лучшими из современников, и прежде всего ее неизменным другом — поэтом и славой России Александром Сергеевичем Пушкиным.

Летом 1827 года он вошел в круг знакомых Елизаветы Михайловны. (Хитрово приехала с Екатериной Тизенгаузен в Петербург окончательно в 1826 году). Через три года, в связи с приездом Долли, «трио» восстановилось, и с тех пор в доме австрийского посольства на набережной Невы (ныне Дворцовая наб., 4), около Летнего сада, стали бывать самые интересные люди столицы. Салоны Хитрово — Фикельмон приобрели славу светского, политического и литературного центра столицы, постоянным посетителем которых становится А. С. Пушкин.

Об их приемах рассказал в своих воспоминаниях П. А. Вяземский: «В летописях петербургского общества имя ее (Е. М. Хитрово.— *Авт.*) осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведе-

ниями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут и обозрение текущих событий; был и Premier Pétersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон нравоописательный и живописный. А что всего лучше — эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь».

Вяземский сумел показать то, что находили в доме австрийского посольства посещающие его в качестве друзей регулярно В. А. Жуковский, И. И. Козлов, А. И. Тургенев, братья Михаил и Матвей Виельгорские, В. А. Соллогуб, родственники хозяек по линии Кутузовых и Тизенгаузенов и многие интересные люди из дипломатических кругов. Всех этих людей часто встречал там Пушкин, и со многими у него были дружеские отношения. Их образы он частично использовал в отрывке «Гости съезжались на дачу» (1828 г.). Разговоры были самыми разнообразными, но, прикрываясь рассуждениями о жизни древных афинян, Вяземский ясно дал понять, что в этих салонах можно было узнать такие политические новости, которые не сообщались в официальных петербургских газетах.

Преобладание общественных интересов в жизни их салонов неотделимо от личности хозяек. И если говорить о Елизавете Михайловне, то можно согласиться с характеристикой того же Вяземского: «Она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала, не жалея себя, не опасаясь для себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого...»

Пушкину, не избалованному настоящей, можно сказать материнской, добротой, видимо, она была необходима. Но как всякая чрезмерность, даже самая высокая по чувствам, иногда трогала, иногда казалась утомительной. Сказывалась и разница в возрасте. Елизавета Михайловна годилась поэту в матери, а ей хотелось и более нежных чувств. Когда читаешь их переписку, то невольно думаешь о том, что в ее письмах много лишнего, а в его ответах — тактичный обход всех тем, которые он считал неуместными в их отношениях. Зато с какой живой благодарностью принимает он все то, что касается удовлетворения его литературных и общественных интересов. Елизавета Михайловна об этом знала и старалась дать ему в письмах хорошую информацию.

В марте 1830 года, когда Пушкин уже неоднократно сумел дать ей понять, что ничего не чувствует, кроме дружеского расположения, и не желает других разговоров на темы чувств, она пишет коротко и ясно: «...Я буду говорить вам о большом свете, об иностранной литературе — о возможности перемены министерства во Франции, я у самого источника всех сведений, но, увы, мне не хватает только счастья...» Люди возраста молодого считали Хитрово уже пожилой женщиной (ей было около 50 лет) и немножко смешной в своих претензиях быть наравне с молодежью. Они позволяли себе насмешки в ее адрес в разговорах и письмах, которые, однако, не касались ее душевных качеств, а только манеры молодиться, слишком открывать плечи и употреблять прочие уловки обольщения. Об этом ходили эпиграммы, некоторые из них (впрочем, без достаточных оснований) приписывали Пушкину. Остроумные шутки жестокой молодости Елизавета Михайловна тяжело переживала, и в основе ее страданий было безответное чувство к поэту, гениальность которого она отлично осознавала, может быть так, как немногие.

Недавно стал известен новый портрет Хитрово. Его прислали в 1979 году из Венеции в Музей А. С. Пушкина, в Москву, по завещанию потомка Фикельмонов князя Клари. Автор акварельного портрета — лучший художник этого жанра в России в первой половине XIX века П. Ф. Соколов. Портреты художника отличаются не только безусловным сходством с оригиналом, но и умением передать характер. Облик Елизаветы Михайловны как нельзя более подходит к тому нравственному идеалу, к которому всегда стремился художник. Она изображена в кресле, в просторном домашнем наряде, наедине с собой, погруженной в свои невеселые мысли. Кажется даже, что ее глаза заплаканы. Георгиевский крест фельдмаршала, с которым она пожелала позировать, как бы еще раз подчеркивает, кого она не перестает оплакивать. Елизавета Михайловна кажется на этом портрете моложе своих лет — грустная, женственная, но несчастная женщина, безнадежно ушедшая в свои воспоминания. Годы короткого счастья юности давно прошли, а теперь угасают последние надежды на взаимность кроткого и нежного сердца, которое еще способно любить и сильно чувствовать,— таково содержание этого портрета, написанного в нежных голубовато-дымчатых тонах прозрачной акварелью.

Несмотря на то что Пушкин часто общался с Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон, это дружеское общение не вдохновило его на создание стихов. Той же, с кем он встречался значительно реже, Екатерине Тизенгаузен (она постоянно жила в Зимнем дворце), были специально посвящены стихи. Правда, они были написаны не по зову сердца, а по заказу, но вполне непринужденно и охотно. Дата — 1 января 1830 года. Петербург.

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:

Единый глаз в главе моей.
Когда б судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

«Само собой разумеется, графиня, что Вы будете настоящим Циклопом. Примите эту плоскость, как доказательство моей полной покорности Вашим приказаниям. Если бы у меня было сто голов и сто сердец, они все были бы к Вашим услугам. Примите уверения в совершенном моем почтении». Это стихотворение написано к костюмированному балу, который состоялся в Аничковом дворце 4 января 1830 года. Всего в программе было 17 стихотворений, из них 3 русских и 14 по-французски. Все эти стихи, среди которых было и пушкинское, предполагалось пропеть или прочитать соответствующей аллегорической фигуре. Весь комический эффект этого представления заключался в том, что женские роли исполнялись мужчинами, а мужские — изящными женщинами. Чудовищного «Циклопа» изображала молодая Екатерина Тизенгаузен, она же читала стихи поэта. Самого Пушкина почти наверняка на этом балу не было.

В этом же году Елизавета Михайловна узнала о помолвке Александра Сергеевича с Натальей Николаевной Гончаровой, которая состоялась 6 мая 1830 года в Москве. 9 мая Хитрово не выдержала и написала ему письмо: «...Я не имею для вас никакого значения. Расскажите мне о своей женитьбе, о планах на будущее... Долли и Катрин просят передать вам, что вы можете рассчитывать на них, чтоб ввести вашу Натали в свет...»

Пушкин ответил коротко и сдержанно, хотя и закончил письмо светски любезно: «Не знаю еще, приеду ли я в Петербург. Покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для

моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как и у ваших» (18 мая 1830 г.).

Посылка только что полученной из Франции книжной новинки — драмы Виктора Гюго «Эрнани» дала возможность Хитрово написать Пушкину большое письмо, высказав все то, что ее, по-видимому, мучило: «Я боюсь за вас: меня страшит прозаическая сторона брака! Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и в конце концов довольно однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта! И может быть, именно это — после личной боли — поразило меня больше всего в первый момент... Отныне мое сердце, мои сокровенные мысли станут для вас непроницаемой тайной, и письма мои будут такими, какими им следует быть,— океан ляжет между вами и мной,— но рано или поздно вы всегда найдете во мне для себя, для вашей жены и ваших детей друга, подобного скале, о которую все будет разбиваться. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть, располагайте мною во всем без стеснения. Обладая характером, готовым для других пойти на все, я драгоценный человек для своих друзей: я ни с чем не считаюсь, езжу разговаривать с высокопоставленными лицами, не падаю духом, еду опять, время, обстоятельства — ничто меня не пугает. Усталость сердца не отражается на моем теле — я ничего не боюсь, и многое понимаю, и моя готовность услужить другим является в такой же мере даром небес, как и следствием положения в свете моего отца и чувствительного воспитания, в котором все было основано на необходимости быть полезной другим!

Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я все же останусь тем же страстно любящим, кротким

и безобидным существом, которое готово пойти за вас в огонь и в воду, ибо так я люблю даже тех, кого люблю мало!»

Это письмо хорошо раскрывает характер Хитрово, повышенно-чувствительную старомодность ее воспитания, ее экзальтацию и склонность к преувеличению, особенно когда дело касается ее чувств или добродетелей. Все это, конечно, было достаточно чуждо Пушкину и, с его точки зрения, неуместно накануне его свадьбы. И он тактично оставляет все ее излияния без ответа и без внимания, останавливаясь в ответном письме лишь на том, что считал для себя важным: «Прежде всего позвольте, сударыня, поблагодарить вас за «Эрнани». Это одно из современных произведений, которое я прочел с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв — бесспорно, единственные французские поэты нашего времени, в особенности Сент-Бёв, и, к слову сказать, если в Петербурге можно достать его «Утешения», сделайте доброе дело и, ради бога, пришлите их мне.

Что касается до моей женитьбы, то ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы вы менее поэтически судили обо мне. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплыть жиром и быть счастливым...»

Ответ Пушкина явно показывает, что отныне их отношения должны быть ограничены сферой деловых и литературных интересов. В свой приезд в Петербург в июле 1830 года Пушкин, видимо, сумел это ясно показать и при личных встречах. Во всяком случае, сразу же после его отъезда в Москву (10 августа 1830 года) Елизавета Михайловна пишет ему письмо, в котором очень старается касаться только интересующих поэта тем; и более всего — событий Французской революции 1830 года: «Это письмо бу-

дет отправлено, только когда придет пароход (доставляющий вести из Франции.— *Авт.*) Вы сейчас настолько счастливы, что интерес к друзьям, конечно, сильно померк... Но высокие материи всегда будут интересовать гения, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился!..»

И далее еще всевозможные политические новости, а также театральные. И только раз, как крик души, прорвалось: «Вспомните ли вы хоть раз о фанатичной старухе, которой суждено вскоре одряхлеть от душевного страдания...»

Пушкин, видимо, был тронут этим письмом и тотчас на него отозвался: «Как я вам признателен за ту доброту, с которой вы посвящаете меня в европейские события. Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экартэ («экартэ» — игра в карты.— *Авт.*), и среди этих-то орангутанов я принужден жить в самое интересное время нашего века...» Далее в письме Пушкин остро реагирует на все события Французской революции, что характеризует его страстный интерес к европейской политике в это тревожное время. Равнодушных к политике людей он считает «орангутанами»...

1830—1831 годы вообще были очень насыщенными и напряженными для Пушкина и в личной жизни (18 февраля 1831 года он наконец женился на Н. Н. Гончаровой), и в сфере общественных интересов.

После женитьбы он пишет Елизавете Михайловне время от времени коротенькие записки, но они в основном касаются пустяков и забот о появлении в свете его красавицы жены и ее родных: «Конечно: я не забуду про бал у посланницы и прошу разрешения представить на нем моего шурина Гонча-

рова (судя по всему, Ивана Николаевича.— *Авт.*). Я очень рад, что Онегин Вам понравился: я дорожу Вашим мнением»,— пишет он Хитрово в конце января 1832 года. Последняя переписка еще раз указывает на то, что их личные взаимоотношения были гораздо серьезнее и значительнее, чем это старался показать самолюбивый и насмешливый поэт в кругу своей семьи и друзей. 8 октября 1833 года он пишет жене: «Да кланяйся и всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь, с твердостью, достойной дочери князя Кутузова?»

Когда в следующем году Наталья Николаевна уехала с детьми в Полотняный Завод, Пушкин почти в каждом письме сообщает, что бывает у Фикельмонов. Но теперь он чаще общается с Долли, которая для него более интересна как человек и которую он почитал образцом светского такта в обращении. Он считал, что знакомство с такой дамой интересно не только ему, но и полезно как наглядные уроки и его жене, о светских манерах и достоинстве которой он очень заботился. Его нервозность по этому поводу сразу заметила наблюдательная «посланница», заметила также, что он очень посерьезнел после женитьбы.

После первого посещения дома поэта и его молодой жены она писала П. А. Вяземскому: «Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его — прекрасное созданье, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья... Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены — меланхолия отречения от себя».

Долли умела необычайно тонко разбираться в человеческих отношениях и предсказывать их будущее развитие, за что еще в молодости, в Италии, все называли ее «Флорентийской сивиллой».

К несчастью, предчувствия не обманули ее и относительно семьи Пушкиных. В своем дневнике чуть позднее она отмечает: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания». Такие наблюдения говорят о большом уме и исключительной интуиции еще совсем молодой женщины.

Столь тонкое предчувствие чужих несчастий вряд ли могло быть присуще человеку, упоенному собственным счастьем. Вероятно, Долли и сама была не слишком счастлива. Недаром Козлов писал ей:

О, милый друг! Какой судьбой страданье встретилось с тобой
И муки бренные земли с эфирным ангелом любви...

Однако это лишь предположения. А ее необычайная эрудиция, умение разбираться в политических ситуациях своего времени — бесспорны. Исследователи ее дневников и архива отметили, что она не только читала, но и изучала сочинения Цицерона, Вергилия, Данте, Петрарки, Гете, Шиллера, Байрона, Ларошфуко, Ламартина, Гюго и многих других писателей. Долли была достойной собеседницей Пушкина и его друзей. Поэт неизменно бывал в салоне Фикельмонов даже тогда, когда вел замкнутый образ жизни. В его письмах к Наталье Николаевне весной и летом 1834 года часто упоминаются посещения этого семейства: «...графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда...» (5 мая 1834 г.) и снова:

«...был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я, кроме как в клубе, нигде не бываю...» (11 июня 1834 г.).

К сожалению, сохранилось только одно пушкинское письмо к хозяйке салона, написанное незадолго до его женитьбы. Он пишет из Москвы 25 апреля 1830 года: «Графиня. Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомогание вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно.

Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки также несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.

Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения».

Читая это остроумное письмо, один из крупнейших исследователей творчества поэта Д. Д. Благой отмечает, что «...за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непринужденностью — сочетание, столь редко встречающееся в женщинах ее круга,— видимо, в какой-то мере напоминала его „милый идеал“ — Татьяну последней главы «Евгения Онегина».

Ведь недаром, по выражению Вяземского (также большого друга и поклонника графини), в салоне Долли „дипломаты и Пушкин были дома".

В Петербурге Долли могла быть довольна своей судьбой. Около нее любящий муж, мать, сестра. У нее много друзей, и среди них такие интересные, значительные люди, как Пушкин и П. А. Вяземский. Но все же иногда она испытывала безотчетное чувство печали. В первый год пребывания в Петербурге она записывает в свой дневник: «Влияние севера на настроение человека должно быть очень сильным, потому что посреди такого счастливого существования, как мое, я испытываю постоянную потребность бороться со своей грустью и меланхолией».

Ежедневные светские обязанности, необходимость скрывать всегда свои истинные чувства, окружение различных людей, с которыми всегда нужно быть любезной... Умная, образованная женщина не могла не тяготиться временами от пустоты этикета, от каждодневного спектакля для себя. Вернувшись с дачи на Черной речке в город 11 сентября 1830 года, Долли записывает: «Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче; здесь (в Петербурге.— *Авт.*) светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю, почему бог сделал меня посольшей, я действительно не была рождена для этого». Немало двойственного было в натуре Долли. С возрастом ей очевиднее становилось «соединение низостей и моральных ничтожеств» (по ее собственным словам) в окружающем ее светском обществе. Она была духовно значительно богаче, для того чтобы раствориться в пустоте светской жизни.

И поэтому старалась создать свой мир, любила свой уютный дом, где могла собирать людей, близких ей по духу. И среди них настолько выделяла Пушкина, что дала повод некоторым исследователям думать, что он явился тайной причиной ее «душевной

трещины» (Н. Раевский) или «душевного диссонанса» (Н. Каухчишвили).

Пушкин, в свою очередь, несомненно, считал ее одной из самых незаурядных женщин, с которыми свела его судьба. Или как он сам писал: «Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам». Как всегда у Пушкина, сказанное очень точно определяет основное противоречие Долли — ей душно, тесно в великосветской оранжерее, куда определила ее судьба навечно, где ей дано такое высокое положение. Большой свет прежде всего угнетал ее духовным убожеством. Вот как она говорит об этом в одном из писем к Вяземскому: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом». Дневник Фикельмон рисует гнетущую атмосферу сплетен, интриг и холодного любопытства, которые окружали Пушкина в последние месяцы его жизни. Долли была одним из немногих истинных друзей поэта, и в день его смерти оставила подробнейшую запись в своем дневнике: «Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы! И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный, сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы!..»

Фикельмон тяжело перенесла безвременную гибель поэта. В этот же год она пережила еще одну потерю — смерть друга своего детства Ричарда Артура. Семью англичан Артуров рекомендовала в 1816 году m-me де Сталь. Незадолго до этого скончалась в возрасте двадцати пяти лет ее горячо любимая двоюродная сестра Адель Штакельберг. Все эти события привели Долли к душевному потрясению, усугубившемуся сильными невралгическими болями,

которые заставили ее весной 1838 года навсегда покинуть Петербург, не дождавшись отставки мужа.

В 1837 году П. Ф. Соколов написал ее большой акварельный портрет. Он не противоречит тому, что мы знаем о ее состоянии в тяжком для нее траурном году. Перед нами — грустная, с печальными глазами женщина, которая выглядит старше своих тридцати трех лет. И в то же время — это светская дама, сдержанная и умеющая «властвовать собой». Видимо, портрет, созданный незадолго до ее отъезда из столицы России, предназначался для подарка матери и сестре, остающимся в Петербурге. Он написан художником очень тщательно, с большим вниманием к деталям, красив по цвету — с контрастами теплых, мягких палевых тонов платья и ярко-изумрудных шали и лент чепца. Фигурой Долли очень походила на мать — те же круглые покатые плечи, коротковатая шея, которую художник прикрывает легкой косынкой. Великолепно написаны кружева, обрамляющие темные волосы и длинные серьги. Серьги Соколов писал довольно часто, а вот кольца почти никогда. Здесь же сделано исключение — широкое кольцо на четвертом пальце правой руки похоже на то, что изображено в более позднем портрете австрийского художника И. Крихубера (написанного, по-видимому, в конце 1840-х годов).

В том же, 1837 году восходящая звезда того времени в области акварельного портрета В. И. Гау написал портрет Е. М. Хитрово. В настоящее время оригинал утерян, и известен только по литографии Шевалье. На оттиске, находящемся в Чехословакии, имеется дата — 1837 год. На портрете уже немолодая, полная женщина, глубоко задумавшаяся. В нем нет той психологической глубины, которая свойственна портретам П. Ф. Соколова. Гау скорее стремился передать внешние черты Елизаветы Михайловны: ее пышные плечи, маленькие пухлые руки, круг-

лое лицо — все, что описано во многих мемуарных источниках. Примерно такой описывает ее насмешливая А. О. Смирнова-Россет: «Элиза... была... очень декольте, ее пухленькие плечи вылезали из платья, на указательном пальце она носила георгиевскую ленту и часы фельдмаршала Кутузова...» Георгиевская лента, как и в портрете П. Ф. Соколова, также видна и в этом портрете. Он сделан Гау как парадный, с подробным изображением кресла с гербом Кутузова. Видимо, такой хотела Е. М. Хитрово остаться в памяти своих дочерей.

1837 год начался для Хитрово ужасно. Было только что получено анонимное письмо, касающееся чести Пушкина. Она ничего не поняла и сочла это своим личным позором: «Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий позор — уверяю вас, что я вся в слезах — мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную клевету!..» Позднее, когда смертельно раненный Пушкин умирал, она стояла на коленях у его кабинета и многое становилось (и не для нее одной) ясным, но было уже поздно...

Через день, 1 февраля, она вместе с дочерьми и зятем присутствовала в Конюшенной церкви на отпевании Пушкина.

Елизавета Михайловна не надолго пережила Пушкина. Она скончалась два года спустя, 3 мая 1839 года, на 56-м году жизни. Все друзья ее горевали. Вяземский писал: «При возвращении из-за границы в Петербург... узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы, вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок, опустел, замер один из петербургских салонов, и так уже редких в то время».

Поэтесса Е. П. Ростопчина посвятила ее памяти элегию, ценную для будущих поколений тем, что она подчеркивает, кем была Елизавета Михайловна для Пушкина:

Прощальный гимн воспойте ей, поэты!
В вас дар небес ценила, поняла
Она душой, святым огнем согретой,—
Она друг Пушкина была!..

САЛОН КАРАМЗИНЫХ

Исследователи творчества Пушкина считают, что его юношеская «Элегия» 1816 года посвящена Екатерине Андреевне Карамзиной, жене писателя и историка Н. М. Карамзина.

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет;
. . . .
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!

Екатерина Андреевна была внебрачной дочерью А. И. Вяземского и Е. К. Сиверс. Брак невозможно было оформить, так как у Елизаветы Карловны не

было развода с первым мужем. Дочери, родившейся 16 ноября 1780 года, дали фамилию Колыванова, от старинного названия Ревеля (теперь Таллин), где она родилась. В дальнейшем судьба развела родителей Екатерины Андреевны. Она воспитывалась в семье родной тетки своего отца — княгини Е. А. Оболенской. В 1804 году, двадцати четырех лет, вышла замуж за Н. М. Карамзина. Счастье надолго и прочно поселилось в их доме.

Все знавшие Екатерину Андреевну отмечали ее ум, образованность, необычайно деликатную манеру обращения с людьми, сердечность к родным и друзьям и постоянную деятельность. Она обладала самыми высокими душевными качествами и все силы своей души посвятила мужу, падчерице Софье и пятерым своим детям. Такой увидел ее юный Пушкин. Тогда ей было 36 лет. По свидетельствам современников, в молодости она была необыкновенно красива. Словесный портрет в «Записках» Ф. Ф. Вигеля подтверждает это мнение: «Если бы в голове язычника Фидиаса (Фидия) могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости...» И далее приводит для ее характеристики слова пажа Керубино о графине Альмавива из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро»: «Ах, как она благородна и прекрасна. Но и как она величественна!» Все отмечали ее величественную осанку и манеру держаться с большим достоинством, что ясно выражено в портрете Ж.-А. Беннера, созданном по заказу великой княгини Екатерины Павловны в 1817 году.

Николай Михайлович Карамзин не любил разлучаться с женой, а если все-таки изредка приходилось, писал к ней подробные и очень доверительные письма. В одном их них, посланном в феврале 1816 года в Москву, он остроумно описывает ей свою жизнь в столице: «Муж твой сделался здесь героем: в

одном маскарадном платье (графа Румянцева) и в башмаках ходил по холодным коридорам (Петергофского дворца.— *Авт.*), два часа сидел в холодной комнате, чтобы смотреть фейерверк, и после, вышедши в поту из огромной залы, опять в холодные сени, нимало не простудился!.. Ты, милая, требуешь от меня журнала: итак, знай, что в субботу обедал я у Полторацкого, часть вечера был у брата Федора и добрых, любезных племянниц, которые от тебя без памяти... В 12 часу ночи отправился на большой бал к графине Лаваль, где начинали только съезжаться... В воскресенье обедал у Олениных. Они ко мне очень ласковы, хотя и новые знакомые...»

И дальше, описывая старых знакомых, никогда не забывал добавить: «...они всегда говорят о тебе с любовью». Екатерина Андреевна как бы незримо присутствовала рядом с Карамзиным.

Она всегда особо спрашивала мужа, кто с ним «всех сердечнее, ласковее», и в этом открывала свое сердце, склонность ценить душевность человеческих отношений.

Разлука с мужем была недолгой. 18 мая 1816 года вся семья выехала навсегда из Москвы в Петербург. Они тяжело на первых порах привыкали к Петербургу. Карамзин жалел жену, которая, по его мнению, «приносит жертву», оставаясь в столице: «Двор не подходит ее характеру и складу ума...»

Екатерина Андреевна была не только «доброй и милой женой», но и другом, помощником своего мужа. Когда Карамзин писал «Историю государства Российского», она правила корректуру и считывала привозимые из типографии экземпляры.

В одном из писем Карамзин как бы делился своими размышлениями: «Я смею еще надеяться на счастье... Моя первая жена (Елизавета Ивановна Протасова, родная тетка по отцу Маше и Саше Протасовым.— *Авт.*) меня обожала; вторая же (Екатери-

Е. А. КАРАМЗИНА.
Портрет Ж.-А. Беннера.
1817 г.
Публикуется впервые.

на Андреевна Колыванова.— *Авт.*) выказывает мне более дружбы. Для меня этого достаточно...»

Однако один историк замечает: «Катерина Андреевна, от которой Карамзин ожидал более дружбы, чем любви, оказалась женой хорошей; едва ли не идеальной... Наверное, ни у одного известного русского писателя не было лучшей жены».

В лице Екатерины Андреевны Карамзин обрел надежного друга, умную, прекрасно образованную помощницу и идеальную мать своих детей. Она обеспечила ему тот душевный покой и условия для творчества, без которых был бы невозможен его огромный подвижнический труд во славу русской истории.

Карамзины всегда имели множество друзей. И душой этого круга была Екатерина Андреевна, о которой Пушкин вспоминал и в ссылке.

В своих стихах Пушкин мечтал об образе, гармонично сочетавшем в себе все добродетели:

Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством,
Владея чувствами, умом — она
Сияла совершенством...

И когда читаешь эти строки, кажется, что перед мысленным взором поэта предстает идеал поэзии Карамзина и Жуковского, который для него воплощался в образе Екатерины Андреевны. Память сердца у поэта искренняя, щедрая. В письмах к Жуковскому, П. А. Вяземскому, Н. И. Гнедичу он не раз спрашивает о Карамзиных, говорит о своей любви к ним: «Скажи им (Карамзиным.—*Авт.*), что я для них тот же. Обними из них кого можно, прочим — всю мою душу» (из письма Жуковскому в октябре 1824 г.), и в ноябре того же года снова прорывается: «Ты (Жуковский.— *Авт.*) увидишь Карамзиных — тебя да их люблю страстно».

Встретились они, однако, нескоро, в конце мая 1827 года. Екатерине Андреевне уже было под 50 лет — возраст, располагающий к поклонению и дружбе, но не к любовному увлечению. Пушкин стал серьезнее. С этого момента он постоянно общается с семейством Карамзиных, которое после смерти Карамзина (в 1826 г.) возглавляет Екатерина Андреевна.

К началу 1840-х годов относится портрет работы неизвестного художника (предположительно кисти известной английской художницы Христины Робертсон). Грустно, но с большим достоинством смотрит с портрета вдова Карамзина. Удивительно умное лицо женщины, внимательной и отзывчивой к чужому горю. Внешне она и в этом портрете, так же, как в портрете Беннера, походит на поэта П. А. Вяземского, который был моложе ее на 12 лет. В руках у нее цветок — как дань сентиментализму, памяти о муже. Память эту она хранила свято и в благоговении к ней воспитывала детей.

Ее отношение к мужу с особой ясностью выразилось в письме, которое было написано после смерти Карамзина к его лучшему старинному другу, поэту И. И. Дмитриеву: «...зная вашу постоянную и искреннюю связь с единственным моим другом, я знала, как кончина его поразит Ваше сердце. Мне так жаль всех тех, которые его любили и которых он столько любил: Вы можете вообразить, какое чувство я имею к себе несчастной, более всех любимой и столь нежно любившей — 22 года; любовь эта была моя жизнь, все мое существование...»

Современники признавали Екатерину Андреевну бесспорно одной из самых выдающихся женщин эпохи. При жизни мужа она участвовала в его работе над «Историей государства российского», а после его смерти помогла Д. Н. Блудову и К. С. Сербиновичу закончить и издать последний — 12-й том; ради де-

тей продолжала поддерживать все светские и литературные знакомства Карамзина, даже в какой-то мере их расширила. Но она и ее дети своими самыми близкими друзьями считали Жуковского, Пушкина и других литераторов.

Вероятно, наиболее точно определяет ее характер один из современников: «Женщина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца доброго, хотя, повидимому, с первой встречи холодного». Но Пушкин хорошо знал, что Екатерина Андреевна умела действительно горячо и нежно любить своих детей и друзей, делить их радости и печали, поддерживать советом в трудные минуты. В поворотный момент своей жизни, когда он стал женихом Натальи Николаевны, он обращается к сердцу Екатерины Андреевны, ищет ее участия, желает знать ее мнение и получить от нее благословение. «Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке? — спрашивал он в письме к Вяземскому.— Я уверен в ее участии — но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому...» (2 мая 1830 года). «Не совсем счастливому» — потому что Пушкин не совсем был уверен во взаимной любви своей невесты, в той гармонии, к которой он всегда стремился и лишь надеялся найти в юной красавице, своей «Мадонне».

Екатерина Андреевна сразу же после сообщения Пушкина о предполагаемой женитьбе ответила ему письмом: «Я очень признательна, что Вы подумали обо мне в первые же минуты вашего счастья, это — истинное доказательство вашей дружбы. Я повторяю мои пожелания, или, скорее, надежду, что ваша жизнь станет столь же сладостной и спокойной настолько же, насколько до этой поры была бурной и мрачной, и что избранная вами нежная и прекрасная подруга будет вашим ангелом-хранителем, что сердце ваше, всегда такое доброе, очистится возле вашей

молодой супруги... Уверьте ее, что несмотря на мою холодную и строгую внешность она всегда найдет во мне сердце, готовое любить ее, особенно, если она обеспечит счастье своего мужа. Дочери мои, как вы сами можете представить, нетерпеливо желают познакомиться с прекрасной Natalie».

Наталья Николаевна по приезде в Петербург стала украшением гостиной Карамзиных, где вообще первенствующую роль играли женщины, но душой общества оставалась Екатерина Андреевна, которая, по словам современников, «всегда умела направлять разговоры на предметы интересные... беседы, продолжающиеся до поздних часов ночи, освещали и питали наши души и умы, что в тогдашней петербургской душной атмосфере было для нас особенно полезно...» Вечера в доме Е. А. Карамзиной были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски.

В черновых набросках к «Евгению Онегину» Пушкин написал о Татьяне, используя свои впечатления от посещений салона Карамзиных:

В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный.
. . . .
И новичка-провинциала
Хозяйка спесью не смущала:
Равно для всех она была
Непринужденна и мила...

Одна из частых посетительниц салона Карамзиных, интереснейшая женщина своего времени А. О. Смирнова-Россет, со свойственной ей наблюдательностью характеризует отношение Пушкина к

Екатерине Андреевне: «Я наблюдала за его (Пушкина.—*Авт.*) обращением с Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой (Карамзиной в это время было 52 года.— *Авт.*) — это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, с мадам Хитрово, но его обращение к Карамзиной совсем не то...»

Пушкин продолжал восхищаться тактом и душевными качествами идеала своей молодости — этот идеал не померк для него с годами.

Младшие представительницы семейства Карамзиных также были в дружеских отношениях с Пушкиным. Приехав из ссылки, он увидел, что девочки превратились во взрослых девушек, и посвятил им — таким разным по характеру — свои стихи. По воспоминаниям современников, Софи (дочь Карамзина от первого брака, двоюродная сестер Протасовых.— *Авт.*) была очень живой, насмешливой, любопытной и одновременно восторженно-сентиментальной. Она легко переходила от смеха к слезам. Она всегда была готова придумать развлечения и принять в них деятельное участие. Софи была знакома со всеми выдающимися людьми эпохи, в ее альбоме были автографы Пушкина и Лермонтова. Пушкин, глядя на 25-летнюю девушку, вспоминал, какой он видел ее еще при жизни отца, и эти воспоминания придали стихотворению, записанному ей в альбом, тон философско-элегического раздумья:

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

Едва ли Софи Карамзина тогда задумалась над образно-философским смыслом стихотворения, записанного ей в альбом. Она была слишком увлечена светскими удовольствиями, путешествиями и поклонниками. Все серьезное как-то скользило мимо ее увлекающейся натуры. До конца дней своих Софи так и не нашла себе спутника жизни и жила во многом интересами других людей.

Ее сводная сестра Екатерина Николаевна во многом являлась ее противоположностью и по внешности, и по характеру. Она была умна, остроумна и держалась с большим достоинством, как мать. Если мы посмотрим на их портреты — копии маслом Е. Б. Барсуковой с оригиналов художников П. Орлова (София) и Барди (Екатерина), то увидим ту разницу во внешности и в манере себя держать, о которой говорили в свете. По портрету Софи видно, что это экспансивная, даже несколько экзальтированная девушка. Она явно позирует, поэтому в позе есть элемент напряженности. У нее огромные черные (такие же, как у матери и тетки) «протасовские глаза». В руках книга и лорнет. Она явно хочет произвести впечатление, вся устремлена на общение с окружающими.

В портрете Барди, напротив, изображена женщина, погруженная в свои мысли. Она сидит спокойно, подперев голову рукой. Катрин красива, у нее очень пластичные округлые руки, нежный овал лица, светлые глаза. В ней чувствуется большое внутреннее обаяние.

В 1827 году ей 21 год, и Пушкин, глядя на нее, восторгается тем, как она выросла, как стала похожа на мать. Ведь он помнил ее неуклюжим подростком, а теперь она невеста.

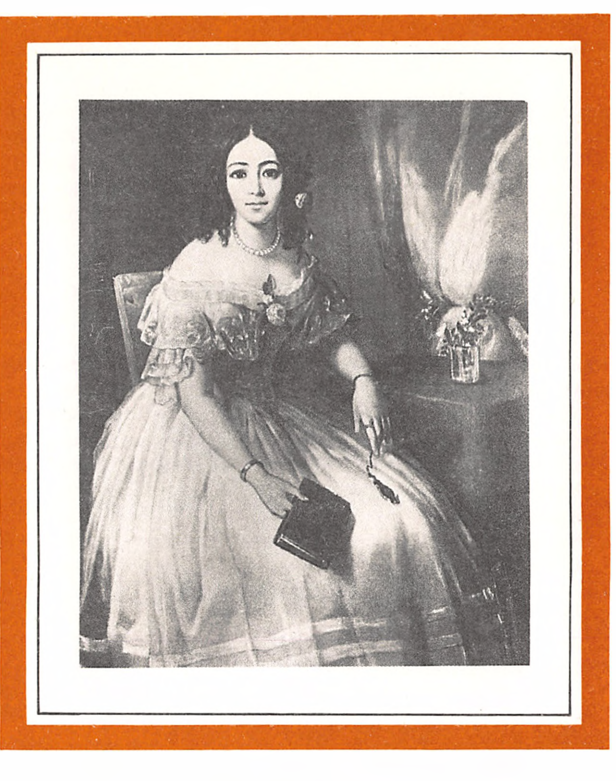
После долгих лет ссылки Пушкин радуется, что снова видит своих друзей, и записывает в 1827 году в альбом Екатерины Николаевны полушутливый «Акафист»:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.
Так посвящаю с умиленьем
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

Та, которой Пушкин записывал посвящение, пользовалась большим успехом в обществе. Александра Андреевна Воейкова мечтала увидеть дочь Карамзина женой Жуковского. Но надежды ее не сбылись, и весной 1828 года Жуковский сообщает своей племяннице в Италию, что Екатерина Николаевна вышла замуж за богатого и знатного князя П. И. Мещерского. После замужества она стала меньше принимать участия в жизни карамзинского салона. И в 1830-х годах душою салона оставалась по-прежнему Екатерина Андреевна, а всем ритуалом приемов заправляла Софи. Ее в шутку называли «Самовар-пашой», так как она постоянно занималась разливанием чая.

Жизнь Карамзиных и их знакомых с мая 1836 года по октябрь 1837-го предстает в письмах всех домашних старшему сыну историографа Андрею, уехавшему за границу. Ему сообщают все семейные новости и даже маленькие тайны.

Дядюшку Вяземского тревожило, по-видимому, что Софи так долго не выходит замуж. Еще в 1831 году поговаривали о женитьбе Жуковского, но это были пустые разговоры. А в 1836 году Софи не без некоторой досады уже пишет сама о А. И. Тургеневе: «По вечерам у нас дома всегда одни и те же лица к чаю, Тургенев почти всегда. Он воспылал ко мне чрезвычайной нежностью, и Вяземский, обрадованный таким поводом для шутки, предложил ему жениться на мне. Ты



С. Н. КАРАМЗИНА.
Копия Е. Б. Барсуковой с портрета П. И. Орлова.
1840-е гг.

знаешь, что на этот счет думает бедный Тургенев: он искренне уверен, что каждая девица желает его поймать и что ему трудно вывернуться, он неловко противится всякому серьезному намерению. Дядюшка (Вяземский.— *Авт.*) смеялся до слез и непременно хотел убедить Катрин войти в заговор, чтобы поволновать этого бедного человека...»

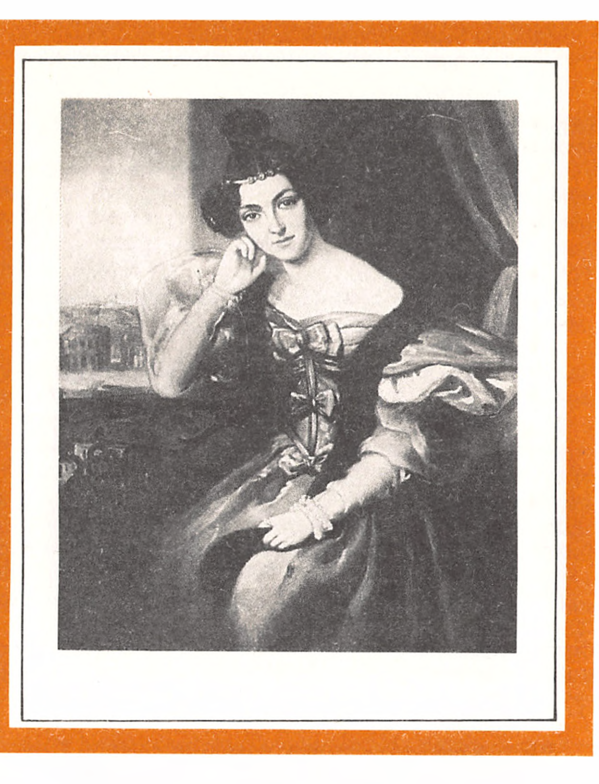
Трудно, в самом деле, Жуковскому и Тургеневу, любившим сестер Протасовых так возвышенно, теперь, в зрелом возрасте, увлечься суетной, светской и легкомысленной Софи Карамзиной или какой-либо другой светской девушкой.

К Софи все относились хорошо, но и только... Больше всего на свете она любила светские удовольствия, балы и в особенности верховую езду. По этому поводу Вяземский посвятил ей стихи «Прогулка в степи»:

Мой добрый конь, мой верный конь!
Люблю ноздрей твоих огонь,
И стать твою, и гордый рост,
И развевающийся хвост.
Люблю, красавец удалой,
Когда ты скачешь подо мной,
И мерный стук твоих копыт
Один в глухой степи звучит.

В забвенье бурном бытия
Не человек, не птица я,
Не на земле, не в облаках,
Нет нужды в крыльях мне, в ногах.

И Софи Карамзина действительно порхала от одного удовольствия к другому, интересовалась всеми событиями с их интригами, сплетнями, пересудами. Увлекаясь верховой ездой, как и сестры Гончаровы, она сошлась с ними. Софи имела возможность близко на-



Е. Н. КАРАМЗИНА-МЕЩЕРСКАЯ.
Копия Е. Б. Барсуковой с портрета Барди.
1830-е гг.

блюдать драму поэта, но так и не поняла ее, судя по письмам, написанным в ироническом духе.

В письмах к сыну Екатерина Андреевна, не желая повторять светские сплетни, сообщала, что они «ей противны», и дополняла: «Пусть Сонюшка тебе их опишет». В 1836 году эти сплетни более всего касались Пушкина. Карамзина тревожилась за судьбу поэта: она чувствовала и понимала больше других и каждый раз повторяла: «Ну, о всех светских известиях Сонюшка тебе напишет...»

Она пишет сыну о своей большой материнской любви, тревогах о его здоровье и нравственности. Какие прекрасные и поучительные слова она находит и просит сына отвечать ей по-русски: «...прошу тебя возвратиться к русской корреспонденции... я нахожу, что письма русские оригинальнее и милее...» В ее письмах еще и еще раз отражаются большой ум и глубокая душа этой поистине замечательной женщины. Иногда она шутит о самой себе: «Я ревнива (или завистлива, как тебе угодно). Внимание, оказываемое другим раньше, чем мне, всегда маленький укол в сердце... Но это только шутка». И заканчивает письмо: «Несмотря на все, что говорят и чувствуют другие, ничто не может сравниться с материнским сердцем».

Часто в письмах она вспоминает покойного Карамзина: «Пусть ум твой и сердце всегда сохраняют память о твоем нежно любимом отце, и да поможет это тебе сделаться лучше». А затем, вспоминая друзей их дома, заключает: «Ты ведь знаешь, я люблю хороших людей». И в последующих письмах, развивая такую близкую ее сердцу тему, взывая к памяти семейных нравственных традиций, пишет сыну: «Раз навсегда знай, что никогда, никогда в жизни твоя мать не окажется неправой по небрежности или по какой-либо другой причине, которая позволила бы усомниться в глубоком чувстве, наполняющем сердце вашей мате-

ри... И пусть почитаемый образ твоего отца всегда будет тебе защитой не только от дурных поступков, но даже и от дурных мыслей». И заканчивает письмо взволнованно: «Размышляй, дорогой мой, размышляй, это так необходимо для того, чтобы испытывать меньше разочарований в этой жизни, где их бывает так много. Но в нежности твоей матери ты никогда не обманешься, дорогой и любимый Андрей».

Во всех письмах чувствуется забота о нравственных устоях любимого сына. Она ставила их на первый план, много говорила об этом на страницах писем, а потом извинялась: «Ты прощаешь меня, дорогой друг, за то, что в своих письмах я говорю языком немного строгим, но тебе не понять страха и огорчений матери, когда дело идет о благополучии любимого дитяти, находящегося далеко от ее неусыпных глаз».

И в последующих письмах ей хочется еще и еще раз повлиять на сына с самой лучшей стороны: «До тех пор, друг мой, пока я доверяю тебе, твоему сердцу, твоим принципам, я буду делать все, что смогу, и так же для всех других моих детей; я очень требовательна, потому что, как мне кажется, должна так поступать; вы молоды, и я стараюсь привить вам хорошие черты, хорошие навыки; я как надежный часовой охраняю вас...»

Наступил 1837 год. Андрей путешествовал по Италии. 26 января Екатерина Андреевна ему пишет: «В Италии ты насладишься больше (чем в Париже) телом и душой; прекрасная земля, прекрасные небо, искусство; там, мне кажется, мы находимся более перед лицом создателя... А в Париже мы находимся перед лицом человеческого убожества, или, может быть, я ошибаюсь?..»

Об Италии Екатерина Андреевна много слышала от Софи и Мещерских, которые в 1834 году ездили за гра-

ницу... После этого письма Андрею в Италию прошло несколько дней...

И как гром среди ясного неба звучат горестные слова той, что навсегда простилась с Пушкиным: «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина. Он дрался в середу на дуэли с Дантезом (сохраняется орфография подлинника.— *Авт.*), и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горкую сладость проститься с ним в четверьг, он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо если узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще», тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице...» (30 января (11 февраля) 1837 г.)

Вслед за этим письмом, через несколько дней, свое удивительно глубокое понимание событий, связанных со смертью и похоронами великого русского поэта, дает Екатерина Мещерская в письме к сестре мужа Марии Ивановне (будущей жене Ивана Николаевича Гончарова — второго брата Натальи Николаевны).

«М. И. Мещерской. 16 февраля 1837 года. В течение трех дней, в которых тело его (Пушкина.— *Авт.*) оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснилось пестрою толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмо-

тьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которые поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению обольстителя и проходимца, у которого были три отечества и два имени. Можно ли после этого придавать цену общественному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами».

Когда по Петербургу разнеслась весть о том, что смертельно ранен на дуэли Пушкин, Лермонтов написал свое сразу ставшее знаменитым стихотворение «Смерть поэта». Среди стихов многих русских литераторов, откликнувшихся на гибель поэта,— В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, В. К. Кюхельбекера и других — стихотворение Лермонтова было самым глубоким и самым гневным, непримиримым к виновникам свершившегося. Правительство отправило молодого поэта в первую ссылку. И только в апреле 1838 года Лермонтов возвратился в Петербург, а 14 мая прибыл в свой полк в Царское Село.

Как и в прежние годы, в то лето в Царском Селе жила дружная семья Карамзиных. Все члены этой семьи и их прежние друзья очень интересовались автором «Смерти поэта». Общая любовь к Пушкину и скорбь о нем необычайно сблизили их. С лета 1838 года и до самой своей ранней смерти Лермонтов стал частым гостем у Карамзиных. Он любил этот гостеприимный дом, и к нему относились там с неизменной сер-

дечностью и доброжелательностью, особенно Софи Карамзина. «Присутствие Лермонтова всегда приятно и живо»,— писала Софи 30 июля 1839 года. Кроме того, что он был симпатичен ей как человек, она еще очень ценила талант поэта. «Софи Карамзина без ума от его таланта»,— сообщал П. А. Плетнев Я. К. Гроту 3 декабря 1840 года. В последний год своей жизни поэт записал в ее альбом дружеские стихи:

Любил и я в былые годы
В невинности души моей
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.

Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...

Немного домов было в столице, где Лермонтов мог себя чувствовать так хорошо и непринужденно. Современники утверждают, что «карамзинский дом был единственным в Петербурге, в гостиной которого собиралось общество не для светских пересудов и сплетен, а исключительно для беседы и обмена мысли».

После смерти Пушкина в салоне Карамзиных встречались люди, которых соединили любовь и память о великом русском поэте. В этой среде видное

место заняли молодые поэты — М. Ю. Лермонтов и его друг Е. П. Ростопчина. Стихотворение Ростопчиной «Где мне хорошо», написанное в 1838 году, посвящено дому Карамзиных. В нем передана духовная атмосфера дома, и словно видишь тех, чьи портреты оставило нам время:

Когда, насытившись весельем шумным света,
Я жизнью умственной вполне хочу пожить
И просится душа, мечтою разогрета,
Среди душ родственных свободно погостить —

К приюту тихому беседы просвещенной,
К жилищу светлых дум дорогу знаю я
И радостно спешу к семье благословенной,
Где дружеский прием радушно ждет меня.
Там говорят и думают по-русски,
Там чувством родины проникнуты сердца...

Отбросивши подчас сует и дел оковы,
Былое вспоминать готовые всегда,
Там собираются, влекомые туда
Старинной дружбою (приманкой вечно новой!)

Все те, кто песнею, иль речью, иль пером
Себя прославили, кто русским путь открыли
К святой поэзии, кто в сердце не забыли,
Что этот мирный кров был их родным гнездом,
Они там запросто и дома и спокойны,
Их круг разрозненный становится тесней,
Но много мест пустых!..
Но бури ветер знойный,
Недавно проходя над головой гостей,
Унес любимого!..

В этом стихотворении, вспомнив Пушкина, Ростопчина отдает особую дань хозяйке дома:

О, кто видал ее, о! кто ей близок был,
Тот знает, тот постиг, каким обвороженьем

Она влечет к себе!.. Тот скоро полюбил
И оценил ее! Тот собственным стремленьем
Почувствует, зачем своим благоговеньем
Ее поэтов сонм издавна окружил,—
Зачем она была средь огненных светил
Звездою мирною, священным вдохновеньем!

Так воспевает молодая поэтесса ту, которая последней благословила умирающего Пушкина.

«РОССЕТИ СТРАШНО КАК МИЛА!»

К 1830—1840-м ГОДАМ XIX столетия в общественном сознании идеал женщины претерпел существенные изменения. Покорность, терпение, всепрощающая доброта отступили перед такими новыми качествами, как самостоятельность в поступках, способность к самопожертвованию, мужеству, энергичному сопротивлению несправедливости.

Ничто не способствовало этому более, чем решение жен декабристов разделить участь своих мужей. Поэт Вяземский говорил в то время: «Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории... Дай бог хоть им искупить гнусность нашего века».

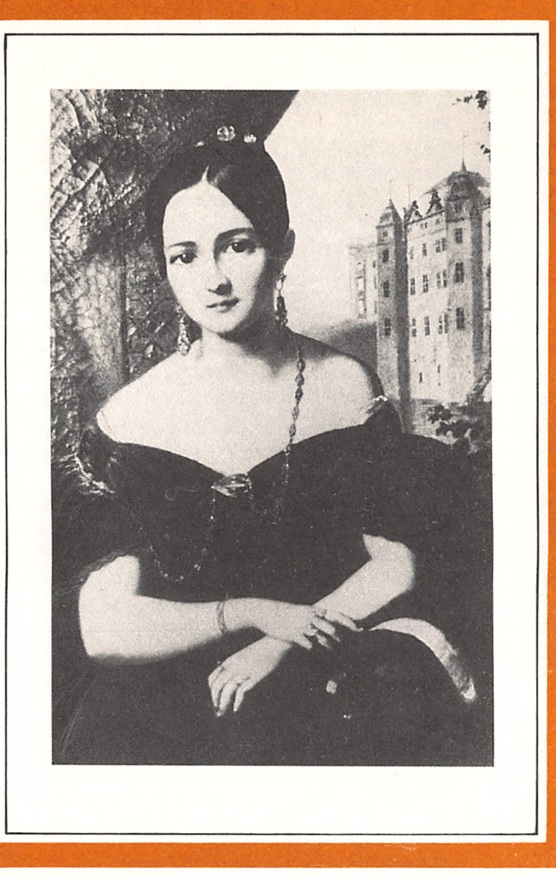
Женщина становится опорой и нравственной поддержкой мужчине. Ей дарят не только любовь и поклонение, но и дружбу.

Одной из таких женщин была обаятельная и остроумная Александра Осиповна Россет. Она страстно увлекалась поэзией, искусством, интересовалась философией и слыла одной из самых интересных и образованных женщин петербургского общества. Дружеские отношения связывали ее с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, Лермонтовым, Плетневым, Гоголем, Хомяковым, Аксаковым и многими другими литераторами и деятелями искусства. Она поистине обладала талантом дружбы.

С Пушкиным А. О. Россет познакомилась в 1828 году, но настоящая дружба началась позднее, когда, женившись на Н. Н. Гончаровой, поэт переехал в Царское Село, где в ту пору (1831 г.) находился и Жуковский. «Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто,— писал Жуковский А. И. Тургеневу,— а женка Пушкина очень милое творение... И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше».

По вечерам Пушкин вместе с Жуковским заходили в Большой дворец, где жила «очаровательная Россети». Во «фрейлинской келье» не смолкали горячие дебаты, споры, шутки.

Она, в свою очередь, часто навещала молодую чету. Наталья Николаевна обыкновенно сидела с книгой или вышиванием внизу, сам поэт работал в своем маленьком кабинете наверху. Вот как об этом с ее слов записал позднее поэт Я. Полонский: «Пушкин каждое утро ходил купаться, после чего ложился у себя в комнате и начинал потеть. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду.— „Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну и пойди к нему“.— „Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти“.— „Можно“. С мокрыми курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги,



А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ.
Портрет А. Реми.
1830-е гг.

а в руках у него карандаш. „А я вам приготовил кой-что прочесть“,— говорит. „Ну, читайте“. Пушкин начинал читать (в это время он сочинял все сказки). Я делала ему замечания, он отмечал и был очень доволен... Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: „Что ты ревнуешь ко мне. Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев,— разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня“.—„Я это очень хорошо вижу,— говорит,— да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает“».

Иногда по вечерам Россет заезжала на дрожках за Натали — покататься. Иногда и Пушкин присоединялся к ним и при этом бывал очень весел. Его жена и приятельница-фрейлина составляли контраст. Одна — воплощение задумчивого покоя, другая,— живая как ртуть. К тому же Александра Осиповна любила рассказывать, представляя всех в лицах, включая и царское семейство, с которым она общалась ежедневно. От нее друзья поэты узнавали интересующие их новости, включая и политические. Пушкин настойчиво советовал ей вести записи и преподнес ей альбом, на заглавном листе которого написал: «Исторические записки А. О. С.». В этом альбоме она нашла стихотворение поэта, характеризующее склад ее ума и характер:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный,
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

В своем дневнике, описывая неуемные и льстивые восторги придворных по поводу совершеннолетия на-

следника (будущего Александра II), Пушкин пишет: «Петербург полон вестями и толками о минувшем торжестве. Разговоры несносны. Слышишь везде одно и то же. Одна Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете...»

Жуковский также ценил ее независимый ум и часто писал ей шутливые записки и стихотворные послания:

И я веселой жизнью жил,
Мечтал и о мечтах стихами
Довольно складно говорил!
. . . .
Но молодость, увы! прошла,
И я теперь в любви раскольник!
Россети страшно как мила...
А я не потерял свободы!
И вместо пламенные оды
На блеск живых ее очей
Без всяких нежных комплиментов
Даю, как добрый, без процентов
Взаймы ей тысячу рублей.

И ироничный Вяземский был в плену у насмешливой фрейлины:

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
Нá небе хладном полночи?

Юга созвездье! Сердце звенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

И наверное, не все знают, что популярный романс на стихи В. Туманского, знакомого Пушкина по южной ссылке, посвящен Александре Осиповне Россет:

Любил я очи голубые,
Теперь влюбился в черные.
Те были нежные такие,
А эти непокорные.

. . . .

Те украшали жизни волны,
Светили мирным счастием,
А эти бурных молний полны
И дышат самовластием...

Известны три портрета А. О. Россет в юности. Особенно ярко ее характер виден в акварели П. Ф. Соколова (эта работа хранится в Русском музее). Портрет датирован 1831 годом. Именно такой, оживленной, в розовом платье, с горящими черными глазами, приходила фрейлина в гости к Пушкину. Удивительно кокетливо уложены ее волосы; обладательница такой прически должна быть уверена в своей неотразимости. О задорном складе характера говорят губы — насмешливые, выразительные: чувствуется, что с них вот-вот сорвется шутка или остроумное замечание.

Этому портрету соответствует словесная характеристика, оставленная в альбоме А. О. Россет графиней Ю. П. Строгановой. Юлия Павловна Строганова, дочь известной португальской поэтессы Леоноры д'Альмейды, жена графа Г. А. Строганова, богатая и знатная дама, в то время была уже в летах. Она провела бурную молодость и немало повидала на своем веку. «Миловидная и изящная, грациозная и пикантная,— писала она о Россет.— Улыбаясь, ею восторгаются, улыбаясь, попадают под ее очарование. Ее ум все как бы шутит, но в высшей степени наблюдателен. Она все видит, и каждое ее замечание носит характер легкой эпиграммы, основанной на глубине созерцания... Она слишком восприимчива, чувствительна и поэтому иногда неровна, но и этот легкий недостаток придает ей больше прелести, т. к. интересно узнать, что на время омрачило это хорошенькое чело. У нее своеобразный и замеча-

тельный анализирующий ум. Можно сказать, что ее воображение — своего рода калейдоскоп, т. к. из самых мелких обрывков она умеет составить блестящее увлекательное целое...

Бывают минуты, когда ее живое, умненькое личико так и сияет. Она вкладывает ум во все, что делает, даже в самые банальные занятия».

Какая исчерпывающая характеристика, и как она совпадает с ее живописными портретами! Становится понятным и то, что такие умы, такие личности, как Жуковский, Пушкин, Вяземский и другие, искали ее общества.

В «Записной книжке» Вяземский отмечал: «31 мая 1830 года. Ездил в Царское Село, обедал у Жуковского. Вечером у „Донна Соль“». (Так называли друзья Россет в шутку, потому что за нее сватались люди намного ее старше, например пожилой князь С. М. Голицын. В то время была в моде драма В. Гюго «Эрнани», героиню которой звали донна Соль, и у нее был старый муж.) «Царское Село — мир воспоминаний... 4 июня 1830 года... шатался около дворца, заходил к „Донна Соль“...» — снова читаем мы у Вяземского.

Вы — донна Соль, подчас и донна Перец!
Но все нам сладостно и лакомо от вас,
И каждый мыслями и чувствами, из нас
Ваш верноподданный и ваш единоверец.
Но всех счастливей будет тот,
Кто к сердцу вашему надежный путь проложит
И радостно сказать вам может:
О, донна Сахар! донна Мед!

«У Донны Sol был я вчера...» — пишет Пушкин Вяземскому 3 сентября 1831 года,— она чрезвычайно мила, умна и в лицах представляет генеральшу Ламбер и камер-лакея немца — в совершенстве».

Надо отдать справедливость проницательности молодой девушки — она чрезвычайно ценила ум Пуш-

кина. Вот что записывает с ее же слов Я. Полонский: «Никого не знала я умнее Пушкина... ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли — бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит, а Жуковский смеется — „Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты,— это ведь и чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею — так ты нас обоих в дураках и записываешь“».

На Пушкина можно было рассердиться, но на Россет нет — ей все прощалось... Вяземский пишет 28 июля 1830 года: «Шалунья Россет писала Марии Клюэ: „Используйте Вяземского, он может быть любезным, если сам не слишком к тому стремится...“ Дам же я ей за это...»— заканчивает он весьма добродушно. Вяземский, Жуковский, Пушкин были старше своей любимицы и относились к ней тепло и несколько покровительственно. Иначе вел себя при ней молодой писатель Николай Васильевич Гоголь, он смотрел на нее с большим интересом.

Жизнь в Царском Селе способствовала более тесному сближению Россет, ее друзей с Гоголем, который также часто стал приходить к Пушкину: он проводил лето 1831 года в Павловске в качестве гувернера при малолетнем В. А. Васильчикове. Хотя настоящая дружба его с Александрой Осиповной началась позднее, в 1840-х годах, когда он приезжал к ней в гости в Рим, в Баден-Баден, в Подмосковье и в Калугу. Теперь в Калуге, на месте флигеля, где он обыкновенно жил, стоит памятный обелиск.

Она поразительно умела увлекать сердца, вдохновлять самых различных людей: романтического Жуковского, насмешливого Вяземского, гениального Пушкина, замкнутого Гоголя, восторженного Туманского, рассудочного поэта — любомудра и славянофила А. С. Хомякова, который мучился от любви к ней:

О, дева-роза! Для чего
Мне грудь волнуешь ты
Порывной бурею страстей
Желанья и мечты?..

Спусти на свой блестящий взор
Ресницы длинной тень,
Твои глаза огнем горят,
Томят, как летний день.

Нет, взор открой!
Отрадней мне от зноя изнывать,
Чем знать, что в небе солнце есть,
И солнца не видать!

Однако поэтам предназначалась дружба, а замуж она вышла (в январе 1832 года) за чиновника министерства иностранных дел Н. М. Смирнова — человека очень симпатичного, увлекающегося искусством живописи, богатого помещика. Позднее (в 1836 г.) в ее жизнь придет большая любовь к Николаю Киселеву, которая длилась многие годы. И снова предмет ее любви не человек искусства, а дипломат, бывший соученик Н. М. Языкова по Дерптскому университету, знакомый Вяземского, Пушкина, Грибоедова, Мицкевича. В 1828 году им была увлечена Анна Алексеевна Оленина. Она хотела выйти за Киселева замуж, после того как отказала Пушкину.

Но вернемся к 1832 году. После замужества А. О. Смирнова поселилась в Петербурге, в доме № 48 по Литейному проспекту, и друзья встречались либо там, либо в доме Голенищева-Кутузова на Михайловской площади (рядом с Малым оперным театром, ныне пл. Искусств), у вдовы Карамзина. Смирновой хотелось, чтобы в ее доме все чувствовали себя хорошо и свободно. Описывая свой первый обед, на котором она должна была показать себя гостеприимной хозяйкой дома, где собирались ее друзья Пушкин, Жуковский, Крылов, В. Ф. Одоевский, Вяземский, Плетнев, братья

Виельгорские, она с гордостью отмечает, что угодила даже такому общепризнанному гастроному, как Михаил Юрьевич Виельгорский.

Пушкин знал хозяина дома давно. Он любил рассматривать его коллекцию картин и великолепную библиотеку, поговорить о Байроне, об Англии и об Италии, в которой Смирнов как дипломат прожил шесть лет.

«Смирнов мне очень нравится,— говорил Пушкин.— Он вполне европеец, но сумел при этом остаться вполне русским». Пушкин особенно ценил людей, которые хорошо говорили по-русски. Смирнова любила вспоминать, что однажды у Карамзиных она танцевала с Пушкиным мазурку: «Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски».— «Еще бы, в институте (Смольный институт благородных девиц.— *Авт.*) всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой... Плетнев (П. А. Плетнев преподавал в институте русскую словесность.— *Авт.*) нам читал вашего «Евгения Онегина», мы были в восторге, но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет», мы сказали: «Какой, однако, Пушкин индеса (непристойный.— *Авт.*)» Поэт, выслушав этот рассказ, разразился громким веселым смехом».

Смирнов разделял любовь своей жены к литераторам, и позднее у них бывали Гоголь, Хомяков, Лермонтов, И. Аксаков, В. Белинский, И. Тургенев и многие другие.

«Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицы»,— много лет спустя вспоминал П. А. Вяземский, а Пушкин скажет:

Черноокая Россети
В самовластной красоте

Все сердца пленила *эти,*
Те, те, те и те, те, те.

Поэтическим посланиям не противоречат портреты, созданные лучшим акварелистом первой половины XIX века П. Ф. Соколовым. Он писал ее в разные периоды жизни, в молодости (1831 г.) и в более зрелые годы (начало 1840-х гг.).

О первом из них она рассказала в своей автобиографии, передавая разговор с Н. Д. Киселевым следующими словами: «Скажите, пожалуйста, написан ли с вас хороший портрет?»— «Есть акварель Соколова, когда я была невестой, а потом в Берлине мой муж заказал мой портрет некоему Телен, которым он не очень доволен. Он говорит, что он очень прилизан».

Разговор этот происходил в Баден-Бадене в 1836 году, и Смирнова вспоминает только два портрета, один из которых тот, что находится в Русском музее, а другой — во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. Этот второй портрет представляет собой чуть подцвеченный акварелью рисунок, исполненный в несколько суховатой графической манере, в которой работали многие западноевропейские художники (для русской школы графического портрета характерна более живая живописная манера). Изображена молодая женщина в белом бурнусе с капюшоном на розовой подкладке. Белый воротничок платья, гладкие черные волосы оттеняют смуглое лицо, нежный румянец. В письме к П. А. Плетневу от 26 марта 1831 года Пушкин не называет Россет, но нетрудно догадаться, кого он имел в виду: «...скажи этой южной ласточке, смугло-румяной красоте нашей...» Небольшой подбородок, чуть выступающая верхняя губа, сумрачный взгляд больших карих глаз — все совпадает с другими портретами Смирновой, как живописными, так и литературными, в том числе и с рисунками Пушкина на полях рукописи «Медного всадника».

Внешность этой женщины столь своеобразна и неповторима, что ее трудно спутать с кем-то другим. По отцу в ней есть французская кровь, по материнской линии — восточная (бабушка Смирновой княгиня Е. Е. Цицианова — грузинка). От отца унаследована французская живость, восприимчивость ко всему и остроумие, от Лореров (немцев.— *Авт.*), предков матери по отцу, любовь к порядку и вкус к музыке, от грузинских предков — неторопливость, пламенное воображение, глубокое религиозное чувство, восточная красота и непринужденность в обращении.

Даже в суховатом графическом портрете особенное внимание обращают на себя черные брови и большие умные глаза, с «пронзительным», как говорили современники, взглядом. Как метко написал о них Пушкин:

И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.

Глаза эти, как отмечали все, то искрились весельем и радостью, то смотрели с глубокой тоской, выражая тревожную противоречивость натуры.

Рассказывая о своих портретах Н. Киселеву, Смирнова называет их в хронологическом порядке. В 1831 году она еще невеста, и именно этим годом датирован портрет работы П. Ф. Соколова из Русского музея. Зимой 1832 года она уже жена Н. А. Смирнова. В октябре этого же года она перенесла тяжелые роды, едва не стоившие ей жизни, а в декабре супруги уехали в Германию. Летом 1833 года они вернулись в Петербург. Датой создания следующего портрета можно считать скорее всего зиму 1833 года. Место создания — Берлин, как указано в автобиографии, где она говорит также, что портрет заказан «некоему Телен». Подобная информация позволяет предположить, что он был не слишком известным художником.

В 1833 году Смирновой 23—24 года. Отрицательное отношение мужа к портрету немецкого художника, видимо, привело позднее Александру Осиповну к мысли подарить его. Она дарит портрет своему другу молодости К. Ф. Опочинину (внуку М. И. Кутузова), о котором пишет в своем дневнике весной 1832 года, что «...он был умен, приятен выражением умных глаз...» Об этом молодом человеке хорошо отзывался и Пушкин в одном из писем Е. М. Хитрово: «...г-н Опочинин оказал мне честь зайти ко мне — это очень достойный молодой человек; благодарю Вас за это знакомство».

Кроме этих портретов есть и многие другие, относящиеся к концу 1830-х — началу 1840 годов. Смирнов не жалеет средств и заказывает портреты своей очаровательной жены лучшим художникам Парижа и Петербурга. В Париже ее пишет А. Реми и знаменитый К. Винтерхальтер, в Петербурге А. Брюллов и снова П. Ф. Соколов. Все художники подчеркнули ее восточные глаза, маленькие ручки и ножки и чуть насмешливый рот. На всех портретах она прекрасна оригинальной, неповторимой красотой, такова, какой знали ее друзья, какой запомнил Пушкин, провожавший Смирновых в 1836 году в Европу. Смирнова вспоминает, что поэт высказывал желание спрятаться на отходящем за границу пароходе и бежать «в чужие края». Пушкина томили тяжелые предчувствия.

Вскоре в Париже Андрей Карамзин принес им тяжелую весть: «поэт убит».

Тяжело переживала А. О. Смирнова-Россет смерть А. С. Пушкина; поэтому благодарный отклик в ее душе нашло стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта», присланное ей в Париж друзьями. В 1837 году, вскоре по возвращении на родину, в салоне Карамзиных Александра Осиповна познакомилась с Лермонтовым. Поэт не раз бывал в новом доме Смирновых на Мойке, у Синего моста.

О характере их взаимоотношений можно судить по стихотворным строкам, которые Лермонтов посвятил А. О. Смирновой-Россет:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.

Что ж делать? Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

В альбоме Александры Осиповны имеется автограф этого стихотворения в другой редакции, со словами, похожими на признание:

В простосердечии невежды,
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.

Поэту было тогда двадцать шесть лет. Смирновой — тридцать один. Она сохранила еще красоту и обаяние, но потери и переживания, выпавшие на ее долю, отразились на ее внешности. На портрете, исполненном П. Ф. Соколовым в начале 1840-х годов, ее большие, черные, когда-то веселые глаза имеют серьезное и грустное выражение.

Глядя на портрет, вполне можно поверить предположению, что Лермонтов сообщил черты А. О. Смирновой-Россет героине своей неоконченной повести «Штосс» Минской: «...она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях, черные, длинные, чудесные волосы оттеняли еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли».

После смерти Пушкина и Лермонтова Смирнова не оставляет увлечение литературой. Вяземский вспоминал: «Несмотря на свою светскость, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное... Вообще увлекала она всех живостью своей, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность не лишенному прелести, какую-то южную ленивость, усталость. Вдруг она расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или ощетинится и язвительным отзывом на жизнь и людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были, как музыкальное разнозвучие, которое под рукою художника сливается в странное, но увлекательное созвучие. Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы...»

Каждый раз, когда друзья — Вяземский, Жуковский, Плетнев говорили о ней, они не переставали восхищаться. «Никто не торжествовал с такою силою над физическими страданиями, как Александра Осиповна,— писал Жуковскому Плетнев в марте 1833 года, после ее первых, неудачных, родов,— она представила из себя существо выше и своего пола, и своего века».

«Удивительно, как в этой малютке созрели ум и характер в это время испытаний и мучений. Точно нельзя мыслить о ней без благоговения и умиления»,— сообщил об этом же периоде Вяземский.

«Милая из милых, умная из умных, прелестная из прелестных»,— отвечал им Жуковский.

Но особенная, долголетняя, духовная дружба связывала Смирнову с Н. В. Гоголем. В 1843 году, встретясь в Италии, они часто гуляли вместе по Риму и любовались античным искусством. Была ли это дружба

или любовь? На это трудно ответить. Однако интересно почитать внимательных к их отношениям современников:

«...Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня...» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней... Гоголь просто был ослеплен А. О. Смирновой и, как ни пошло слово, неравнодушен, и она ему раз это сама сказала, и он сего очень испугался и благодарил, что она его предуведомила»,— писал С. Т. Аксаков.

Гоголь не раз сообщал о встречах с ней друзьям. «Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобой в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог» (из писем к Данилевскому).

«Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни страждущие минуты и ее, и мои узнал ее.

Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою». По получении этих строк от Гоголя поэт Н. М. Языков, однако, так прокомментировал их брату: «Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же Смирновой. Эти похвалы

всех здешних удивляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем «Иностранки» и «Девы-розы», считает ее вовсе не способной к тому, что видит в ней Гоголь, и по слухам, до меня доходящим, она просто сирена, плавающая в призрачных волнах соблазна».

Тайну характера Смирновой пытались разгадать многие. Ростопчина упрекала тех, кто не понимал сложных порывов души ее подруги:

Нет, вы не знаете ее,—
Кто суетно ее любил,
Кто в ней лишь внешний блеск ценил,
Кто первый пыл мечтаний детских
Ей без сознанья посвятил —
Нет, те ее не понимали,
Те искру нежности живой
И чувств высоких луч святой
В ее душе не угадали.
И вы, степенные друзья,
Вы, тесный круг ее избранных,
Вы, разум в ней боготворя,
Любя в ней волю мыслей странных,
Вы мните знать ее вполне?
Вы мните, в скромной глубине
Ее души необъясненной
Для вас нет тайны сокровенной?..

Александра Осиповна, презирая великосветское общество, смолоду страдала от бесцельности своего существования, искала внутреннего освобождения в будущем. «Я тороплюсь прожить молодость,— писала она Ростопчиной,— мне кажется, что известный возраст есть гавань, в которой отдыхаешь после борьбы. Тогда, мне кажется, легче достигнуть то прекрасное, к которому душа стремится и которое применимо к страстям человеческим, нераздельным с молодостью. Тогда только, когда сердце мое будет преисполнено одним единственным божественным чувством, только тогда я найду покой в земной жизни и только тогда смогу лю-

бить жизнь». Смирнова продолжала оставаться героиней стихов Ростопчиной:

Нет, не улыбки к ней пристали,
Не вздох возвышенной печали,
Но буря, страсть, тоска, борьба.
То бред унынья, то мольба,
То слабость женских восставаний.

Но молодость прошла, а желанного успокоения и душевного равновесия не наступило, она по-прежнему искала общения с людьми, способными понять ее. «Мне скучно и грустно,— вспомнив, очевидно, строки Лермонтова, пишет Александра Осиповна в декабре 1844 года Гоголю,— скучно оттого, что нет ни одной души, с которой бы могла вслух думать и чувствовать, как с вами, скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Вас[ильеви]ча, а здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича... Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Мне нужны ваши письма».

Осенью 1844 года она сообщила ему о встрече у Евдокии Ростопчиной с Вяземским, Толстым—«Американцем» (Ф. И. Толстым), Федором Тютчевым... Последний, как она выразилась, «весьма умный человек», которого еще немногие знали как поэта.

Переписка Гоголя со Смирновой, их отношения в своем роде неповторимы, оригинальны, как неповторимы и оригинальны были их личности и биографии. Особенно интересны письма в Калугу, где Гоголь развивает свои главные идеи: «Обратите внимание на должность и обязанность вашего мужа, чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят, какие пределы и границы его власти, какая может быть степень влияния его вообще, каковы истинные отношения его с чиновниками и что он

может сделать большего и лучшего в указанных ему пределах. Не для того вам нужно это знать, чтобы заниматься делами своего мужа, но для того, чтобы уметь быть полезной ему благоразумным советом в деле трудном и вообще во всяком деле, чтобы исполнить назначение женщины — быть истинною помощницей мужа в трудах его, чтобы исполнить, наконец, долг, тот, который вами не был выполнен, долг верной супруги, который выполнить можно вам только на этом поприще и только в сем, а не другом смысле. Тогда смоется погрешение ваше, и душа ваша будет чиста от упреков совести».

Смирнова, видимо, жаловалась на укоры совести своей по отношению к мужу по поводу долголетнего, крайне сложного романа с Н. Д. Киселевым. Это было настоящее, глубокое чувство с обеих сторон, единственная сильная и долголетняя любовь в ее жизни. Были у нее и другие увлечения — а что-то ей приписывала досужая светская молва. Гоголь пытался ее спасти от «упреков совести», хотя сама Смирнова не слишком к этому стремилась. По отношению к мужу у нее было уже давно раз и навсегда принятое решение, которое она записала в своем дневнике: «Супружеский союз так свят, что, несмотря на взаимные ошибки, прощают друг другу и заключают жизнь мирно и свято». Муж играл в «рулетку», а она жила своей жизнью, проводила время с интересными ей людьми.

Гоголь обращался к ее разуму и душе и бесконечно воспитывал. И только в 1847 году он, сломленный собственными бедами и душевными терзаниями, оставил нравоучительный тон и только просил, умолял присылать ему как можно больше сведений о России, о ее людях: «Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд, эти самые «Мертвые души»... Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято... Не скрывайте же и вы от

меня ничего, откуда ни услышанное. Не ленитесь и не забывайте меня вашими письмами. Ваши письма всегда мне приносили радость душевную, а теперь более, чем когда-либо прежде».

Смирнову тяготила провинциальная жизнь в Калуге, и она жаловалась на это Гоголю, который как мог утешал ее: «Ваши мысли о трудности иметь какое-нибудь доброе влияние на жителей города Калуги очень основательны и разумны. Но не смущайтесь этим и вообще тем, что душа ваша остается без больших подвигов. Уже и это подвиг, если добрый человек, подобный вам, захотел жить в городе Калуге. А подвиги придут...» Но подвиги не приходили...

В 1840-х годах она сумела пленить и поразить воображение даже неуживчивого В. Г. Белинского, который, посетив Смирнову, писал жене: «Свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная женщина. Я без ума от нее».

Она все еще была красива, если судить по портрету, выполненному в 1844 году Н. Алексеевым в имении под Калугой, где в то время гостил Н. В. Гоголь. Примерно в этот же период писал о ней юный И. С. Аксаков: «Ее красота, столько раз воспетая поэтами,— не величавая и блестящая красота форм (она была небольшого роста), а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных, бодрых, проницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый, свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя — искусства, поэзии, знания — скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение».

Болезненные припадки скуки и безразличия ко всему были нередко причиной постоянных путешествий. Она покидала Петербург, Москву или Калугу и старалась обилием новых впечатлений укротить томящую ее тоску. Лишь бы все время быть на людях и не оставаться наедине с собой.

В ее острых наблюдениях, в поисках многочисленных и разнообразных встреч чувствуется неудовлетворенность собственной семейной жизнью, тем положением в обществе, которое, по давнему предсказанию Пушкина, не сумеет никогда создать ей ее муж — всего лишь провинциальный губернатор. Правда, и в Калуге были интересные встречи, и прежде всего с Иваном Сергеевичем Аксаковым, приехавшим служить в этот город. Молодой человек на время оказался плененным Смирновой, и единственное он не мог принять в ней, так это то, что «она давно неспособна негодовать и ненавидеть». Он кипел юношеским задором, она, казалось, уже была ко всему равнодушна.

Отец, С. Т. Аксаков, волновался, пытался предупредить сына: «Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости». Сын отвечал ему: «Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной (т. е. еще незамужней.— *Авт.*), которые она даже посовестилась читать мне вслух — столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь (имеется в виду жизнь при дворе.— *Авт.*) равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим...»

Читая эти категорические суждения, конечно, нужно сделать скидку на сугубо патриархальное воспитание Аксакова и возраст. В ту пору ему шел 24-й год, а ей было уже 37. И он страдал от ее «цинизма», от резких оценок по отношению к людям, которых она любила называть «уродами и животными». Он жаловался в

письмах, что в ней нет гармоничного начала, и удивлялся, как она могла быть вдохновительницей поэзии, считая, что в ней нет даже признака эстетического. Смирнова презирала и одновременно любила светскую жизнь. Этого противоречия не мог понять молодой Иван Аксаков, он считал, что она умеет возбуждать тщеславие, одновременно оскорбляя его. Так, оскорбленный в своих личных чувствах, он и расстался с Александрой Осиповной, которая, покинув Калугу, уехала в Париж.

Там, по крайне мере, можно было ходить на лекции Мицкевича и других знаменитостей и играть с Листом в четыре руки. В Париже она многих принимала у себя, мастерски владея светским разговором, а потом поехала в любимую Италию, и там она находила иногда успокоение. «То точно,— пишет она,— есть в Риме что-то примиряющее человека с человечеством». Но чаще на нее находила хандра, которая особенно усилилась после смерти в 1852 году сначала Н. В. Гоголя, потом В. А. Жуковского. Ушли последние свидетели ее молодости. «О, молодость, молодость, где то покрывало, которое ты набрасываешь на жизнь»,— восклицает Смирнова. Она особенно тяжело расставалась с молодостью, которая была украшена поклонением выдающихся людей, поэзией чувств и преданной дружбой.

Потери сердца и души становились с годами все заметнее. Остались только воспоминания, но и они таились только в душе, мемуаров она не написала, а все сохранившиеся записи беспорядочны и хаотичны... То она вспоминает о Пушкине, умнее которого не знала, то о необыкновенной доброте Жуковского, который звал ее «всегдашней принцессой своего сердца», то вдруг возникали в памяти смешливые стихи Вяземского.

Как давно все это было! А Гоголь, «любящий без памяти» ее духовный наставник. В 1851 году под Мос-

квой, в ее имении Спасском, они встретились в последний раз. Одни тени прошлого...

Когда задумываешься о жизни и характере Смирновой, то снова вспоминаются стихи ее приятельницы Е. П. Ростопчиной, написанные в 1854 году:

Нет, вы не знаете ее,—
Вы, кто на балах с ней встречались,
Кто ей безмолвно поклонялись,
Все удивление свое
В дань принося уму живому,
Непринужденной простоте,
И своенравной красоте,
И глазок взору огневому!
Нет, вы не знаете ее,—
Вы, кто слыхали, кто делили
Ее беседу, кто забыли
Забот и дел своих житье,
Внимая ей в гостиных светских!...

Светской красавицей предстает перед нами Смирнова в салонных портретах Винтерхальтера и Реми, о которых мы уже упоминали выше. Однако Ростопчина видела ее другой:

Но вам являлась ли она,
Раздумья томного полна,
В тоске тревожной и смятенной,
Когда в разуверенья час
Она клянет тщету земную,
Обманы сердца, жизнь пустую
И женщин долю роковую...

«И БЛЕСК АЛЯБЬЕВОЙ И ПРЕЛЕСТЬ ГОНЧАРОВОЙ»

Порой полагают, что в поисках своего идеала А. С. Пушкин пленился лишь совершенством внешнего облика Натальи Николаевны Гончаровой. Это не совсем верно. Ведь в то время и кроме нее было немало красавиц. Так, почти одновременно с ней начали «вывозить в свет» ее ровесницу Александру Васильевну Алябьеву. И многие сравнивали ее с Гончаровой. Разницу в их внешности определил Вяземский, назвав красоту Алябьевой классической, а Гончаровой — романтической.

В стихотворении «К вельможе» 1830 года Пушкин и сам подтвердил это:

...влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой....

Но не только эта прелесть заставила поэта полюбить Наталью Николаевну так, как он никого и никог-

да не любил. Замечательные душевные качества Гончаровой соответствовали ее красоте.

«Когда я увидел ее в первый раз,— писал Пушкин 5 апреля 1830 года своей будущей теще Наталье Ивановне Гончаровой,— красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась...»

С прекрасным образом той, которая вытеснила все его прежние привязанности, он уехал на Кавказ, получив уклончивый ответ на свое сватовство. Мысли его печальны, и они вылились в печальные строки:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Стихи эти вдохновлены большим и глубоким чувством. «Тобой, одной тобой»— в этих словах избранность этого нового состояния поклонения и любви.

Но его идеал был неоднозначен. С одной стороны, «чистейшей прелести чистейший образец», который посылала ему судьба, с другой — возникли надежды на жизнь более спокойную, полную тихих семейных радостей:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой...

С этими чувствами в феврале 1831 года вступает Пушкин в брак, слагая в честь своей молодой жены сонет-посвящение «Мадонна», которое заканчивается панегириком совершенству его избранницы:

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Впоследствии Пушкин не разочаровался в своей жене. «Женка моя прелесть не по одной наружности»,— пишет он своему другу Плетневу вскоре после свадьбы.

Пушкин любил, чтобы и другие, особенно близкие ему люди, восхищались его женой. И они, думается, искренне разделяли его мнение, особенно касающееся наружности Натали и ее милого характера.

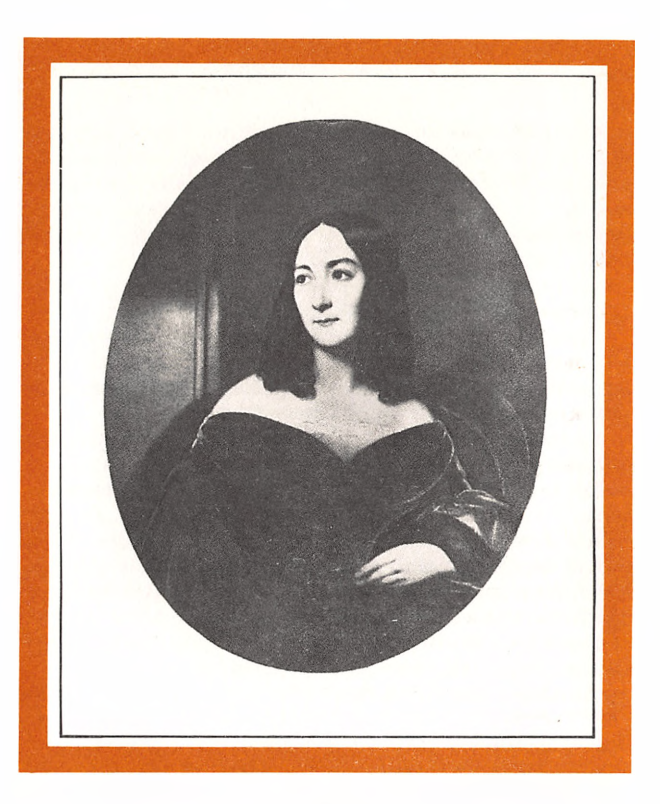
«...Моя невестка совершенно очаровательна, мила, красива, умна и вместе с тем очень добродушна...»— пишет о ней своему мужу сестра поэта О. С. Павлищева.

«А жена Пушкина очень милое творенье»,— радуется В. А. Жуковский.

«...Весь двор от нее в восторге, императрица хочет, чтобы она к ней явилась, и назначит день, когда надо будет прийти. Это Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться»,— сообщает дочери Надежда Осиповна Пушкина.

О скромной, даже застенчивой манере держаться в обществе пишет наблюдательная Долли Фикельмон: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену... Я видела ее у маменьки — это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая — лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный,— тонкие черты, красивые черные волосы...»

Такой и изобразил ее в акварельном портрете А. П. Брюллов где-то, судя по письмам поэта, на рубеже 1831—1832 годов. Натали исполнилось девятнадцать лет, и ее облик повторяет словесное описание Долли



А. В. АЛЯБЬЕВА.
Портрет П. З. Захарова.
1840-е гг.

полностью. Тонкая, как стебель цветка, талия, мраморные плечи, безукоризненный овал лица, напоминающий действительно идеальных женщин в картинах Рафаэля. Это неоднократное сравнение Натали Пушкиной с Мадонной говорит об одухотворенности ее красоты, тонко подмеченной художником.

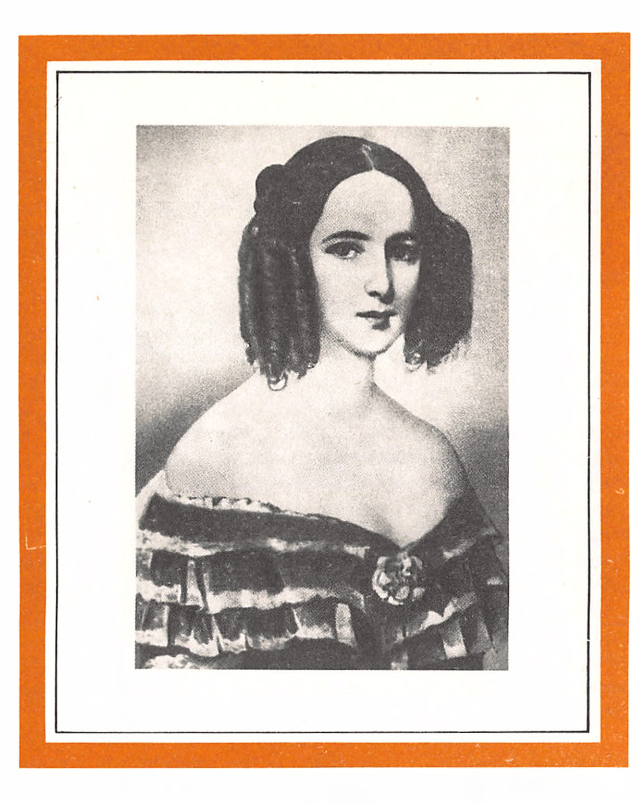
Взгляд ее зеленовато-карих глах как бы отрешен от земной суеты, она погружена в свои рассеянные мечты.

Это единственный портрет, выполненный при жизни А. С. Пушкина, если не считать его собственноручного наброска, где также подчеркнуты стройность ее стана и задумчивое выражение лица.

Пушкин очень хотел, чтобы его жену-красавицу написал «великий Карл». «Я успел уже посетить Брюллова,— писал он из Москвы Наталье Николаевне 4 мая 1836 года.— ...Он очень мне понравился... У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного? Невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты пруссака Криднера. Мне очень хочется привезти Брюллова в Петербург...»

Пушкин и Карлу Брюллову говорил, что Александр уже написал портрет его жены, теперь очередь за ним: «У меня, брат, такая красавица жена, что будешь стоять на коленях и просить снять с нее портрет!»

В Петербурге Брюллов побывал в доме Пушкина на Мойке. Пришел поздно, но обрадованный его визитом поэт все-таки захотел показать ему своих детей и выносил их к художнику, заспанных, взятых из постели. На Брюллова все это произвело тягостное впечатление, он не понимал «семейных радостей», гордости Пушкина своим семейным счастьем. Для него Наталья Николаевна осталась только светской красавицей, он не осознал, что она дала Пушкину высокое и вместе с тем простое человеческое счастье, о котором так мечтал



Н. Н. ПУШКИНА.
Портрет В. И. Гау.
1840-е гг.

поэт, соединяя с ней свою судьбу. После трагической гибели Пушкина Брюллов, вероятно, считал ее виновницей, а не жертвой и навсегда отказался писать ее портрет.

Через две недели после смерти Пушкина Наталья Николаевна с детьми уехала в имение Гончаровых Полотняный Завод, под Калугу.

Пройдет два года, прежде чем она снова появится в Петербурге, и писатель В. А. Соллогуб выразит общее мнение о ее красоте в своих «Воспоминаниях»: «...много видел я на своем веку красивых женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана... Да, это настоящая красавица, и не даром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении...»

Воспеть эту необыкновенную красоту выпало на долю молодого портретиста Владимира Ивановича Гау. Он находился в расцвете своего дарования и, видимо, весь свой восторг художника вложил в создание акварельных портретов прекрасной женщины, красота которой воплощала идеал Академии — античную статую или Мадонну Рафаэля.

В 40-х годах Гау несколько раз писал Наталью Николаевну (известно в настоящее время шесть его портретов). Примерно в то же время П. З. Захаровым выполнен портрет А. В. Алябьевой. Мы снова имеем возможность сравнить двух красавиц.

Интересно, что Гау и Захаров были соучениками по Петербургской Академии художеств, и может быть, именно поэтому в манере письма, в композиции портретов есть что-то общее. У Гончаровой и Алябьевой почти одинаковые фасоны платьев с глубоким вырезом, открывающим обнаженные плечи. Много общего в костюмах и прическах, но выражения лиц свидетельствуют о большой разнице в их характерах.

У Натальи Николаевны на всех портретах Гау задумчивое лицо с той печатью отрешенности, кротости и тайного страдания, которую отмечали в ней многие после смерти Пушкина. Переживая трагедию, она несколько лет жила памятью о муже и заботой о детях. В это время уже никто не видел ее веселой. Вот свидетельство одного из современников: «Жаль, что лицо ее так серьезно, но когда по времени на ее губах мелькает улыбка, как ускользающий луч, тогда в ее ясных глазах появляется неизъяснимое выражение трогательной доброжелательности и грусти, а в ее голосе есть оттенки нежные и немного жалобные, которые чудесным образом сочетаются с общим ее обликом».

Иначе, благополучнее сложилась судьба А. В. Алябьевой. В 1832 году она вышла замуж за гвардейского офицера А. Н. Киреева и долгое время была одной из первых московских красавиц, хозяйкой литературного салона.

Б. Н. Чичерин вспоминал о времени создания ее портрета Захаровым: «...она была уже не первой молодости и довольно полна, но любила в своей гостиной соединять ученых и литераторов и сама блистать своим образованием...» Именно в это время (ноябрь 1844 г.) ей посвящает стихи посещавший ее гостиную Н. М. Языков:

Сильно чувствую и знаю
Силу вашей красоты:
Скромно голову склоняю
И смиренные мечты
Перед ней. Когда б вы жили
Между греков в древни дни,
Греки б вас боготворили,
Вам построили б они
Беломраморные храмы,
Золотые алтари,
Где б горели фимиамы
От зари и до зари...

Поэт как бы исполняет невысказанное, но соответственное поведению хозяйки требование — ставить ее на пьедестал.

Ее интерес к искусству и литературе отмечал Жуковский. Прекрасное воспитание сумела дать Алябьева и своим детям: сын ее А. А. Киреев (впоследствии генерал) стал известным писателем-славянофилом, писательницей была и дочь О. А. Киреева-Новикова.

Интересно вспоминала об Александре Васильевне в своих мемуарах А. Ф. Тютчева (старшая дочь поэта): «У меня была с визитом г-жа Киреева, московская дама, очень известная несколько лет назад своей большой красотой... Она сохранила еще остатки былой красоты и, несмотря на некоторую полноту, ее черты не утратили еще античную правильность. Но странно в этой даме то, что она нисколько не тщеславится этой красотой, которую поэты воспели в великолепных стихах. Ее честолюбие в том, чтобы быть умной женщиной, ученой и прежде всего образцовой матерью. Она говорит только об ученых — своих близких друзьях и о всех достоинствах, умственных и нравственных, которые она развила в своих детях, которых я после двухчасового разговора с их мамашей знаю, как будто я сама произвела их на свет. Это наивное и суеверное преклонение перед наукой и эта материнская гордость были бы трогательными, если бы к ним не примешивалась крайне глупая претензия. Когда она с вами говорит о политике или метафизике, хочется сказать ей: «Ах, сударыня, какой у вас красивый нос...»

Эти и другие воспоминания говорят о том, что с красотой она соединяла претенциозность и высокомерие.

Еще в 1831 году характер красавицы определил семнадцатилетний Лермонтов, написав Алябьевой новогодний мадригал:

Вам красота, чтобы блеснуть,
Дана;
В глазах душа, чтоб обмануть,
Видна!..
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
Она?

Встречался Лермонтов и с Натальей Николаевной Пушкиной. Это было в 1841 году в салоне Карамзиных. Лермонтов вначале держался отчужденно и почти не разговаривал с Натальей Николаевной. Но накануне своего рокового отъезда на Кавказ, на прощальном вечере, он, против обыкновения, сел рядом с ней, и они долго разговаривали. Под конец беседы, по словам самой Пушкиной, Лермонтов признался, что неправильно думал о ней, но теперь, оценив ее душевную искренность, надеется стать в дальнейшем ее другом. Дочь Натальи Николаевны от брака с П. П. Ланским — А. П. Арапова так записала слова матери о той встрече: «Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца. И вот чем была мне она дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собой в могилу».

К Наталье Николаевне, как вдове Пушкина, многие относились с вниманием и хорошими чувствами. О ней заботились П. А. Вяземский, семейство Карамзиных, где она бывала чаще всего. В столице она жила очень замкнуто. Однако Вяземский часто посещал ее. Решив продолжить традицию Александра Сергеевича, который дарил знакомым дамам альбомы для дневниковых записей, Вяземский в 1841 году подарил альбом Наталье Николаевне со своими стихами:

На память обо мне, когда меня не будет,
Впишите в книгу: здесь он был мне верный друг...
. . . .
А вы, когда досуг
Украдкой даст вам час, чтобы побыть с собою,

На эти белые и свежие листы
Перенесите вы свободною рукою
Дневную исповедь, заметки и мечты,
Свои невольные и вольные ошибки,
Надежды, их обман, и слезы, и улыбки,
И вспышки тайные сердечного огня...
. . . .

Записывайте здесь живую повесть дня,
И все, что скажут вам, и то, чего не смеют
Словами вымолвить, но взор договорит,
И все, что в вас самих таинственно молчит.
Но будьте искренны,— нас искренность спасает.
Да не лукавит в вас ни чувство, ни язык.
И вас заранее прощеньем разрешает
Ваш богомол и духовник.

10 февраля 1840 года Е. Баратынский пишет из Петербурга жене: «У Карамзиных видел почти все петербургское общество. Встретил вдову Александра Пушкина. Вяземский меня к ней подвел, и мы возобновили знакомство. Все так же прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно, ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь о самом изящном в молодости, по книгам».

В 1842 году он попросил П. А. Плетнева передать экземпляр его сборника стихов «Сумерки» Наталье Николаевне. Этим он хотел, несомненно, оказать ей уважение.

С Плетневым Наталью Николаевну связывала долгая дружба. Он часто бывал у нее и описывал друзьям ее скромную, тихую жизнь в начале 1840-х годов: «Вечер с 7 почти до 12 просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески. Никуда не ходят и не выезжают... Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя

прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать...»

Наталья Николаевна являла собой полную противоположность Алябьевой-Киреевой и многим другим красавицам именно отсутствием претензий.

Она была естественна и заполняла свою жизнь заботой о детях. Положение вдовы было нелегким: четверо детей, одиночество, ограниченные средства. В 1844 году Наталья Николаевна ответила согласием на предложение генерала П. П. Ланского вступить с ним в брак.

Накануне ее новой жизни можно увидеть Наталью Николаевну в двух портретах 1844 года. Один — акварель английского художника, работавшего в России, Томаса Райта, другой — художника-любителя Н. П. Ланского (племянника будущего супруга).

На обоих портретах она изображена в профиль. В портрете Райта лицо грустное, но целеустремленное его выражение говорит о наличии характера, готового собраться и победить в решительный час. Художник подметил ее внутреннее напряжение и передал его в беспокойно вьющихся локонах, в насыщенном красно-фиолетовом цвете платья. И если в портрете Райта чувствуется готовность к важному шагу, то женщина с лицом камеи у Н. П. Ланского уже спокойна, она решилась, и для нее начинается новая жизнь (портрет нарисован за две недели до свадьбы).

Эта жизнь имела свои сложности и свои радости, и Наталья Николаевна несла их с достоинством, никогда не забывая о том, что в ее руках память о Пушкине. Она заботилась об издании его сочинений, понимала ценность рукописного наследия, заботилась о его сохранности и о правах наследников — детей поэта.

Исследователи жизни и творчества Пушкина находят все больше материалов, подтверждающих слова Пушкина о своей молодой жене: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего

сравнить нельзя на свете,— и душу твою люблю я еще больше твоего лица».

Действительно, у нее было много достоинств — доброта, душевная простота, искренность и практический ум. Все это впоследствии должно было получить свое развитие. Ее «недостатки»— необыкновенная красота и молодость со временем бы прошли. И будь бы жив Пушкин, она бы осталась в самом хорошем мнении у потомков.

Когда Наталья Николаевна, говоря о старых знакомых своего мужа, шутливо намекнула на бывшую привязанность поэта к «полувоздушной деве гор»— Евпраксии Николаевне Вревской, вот что ей ответила Анна Николаевна Вульф: «Как вздумалось вам ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж ваш и действительно любил сестру, как вам угодно непременно думать,— настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится тенью, вызываемой одним воображением и оставляющей после себя менее следов, чем сон. Но вы — вы владеете действительностью, и все будущее только перед вами».

Будущее доказало правду ее предвидения. Наталья Николаевна неотделима от имени и жизни Пушкина, и интерес к ней неугасаем.

СЕСТРЫ ШЕРНВАЛЬ ФОН ВАЛЛЕН

В КОНЦЕ 1832 ГОДА Пушкин был приглашен на завтрак к Владимиру Алексеевичу Мусину-Пушкину в гостиницу Демута, где последний остановился с супругой Эмилией Карловной, урожденной Шернваль фон Валлен. Находившийся там художник, ученик Карла Брюллова, Г. Г. Гагарин сделал рисунок, на котором изобразил всех присутствовавших: Прасковью Арсеньевну Бартеневу, Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, Эмилию Карловну Мусину-Пушкину, ее сестру Аврору Карловну Шернваль и брата художника — Евгения Григорьевича Гагарина.

Все три дамы, окружающие Пушкина в наброске Гагарина,— красавицы, адресаты многих поэтических посланий, вдохновительницы художников. П. А. Бартенева — замечательная певица (сопрано), ученица М. И. Глинки. Ей посвящали стихи М. Ю. Лермонтов, И. И. Козлов, И. П. Мятлев и Е. П. Ростопчина. Не-

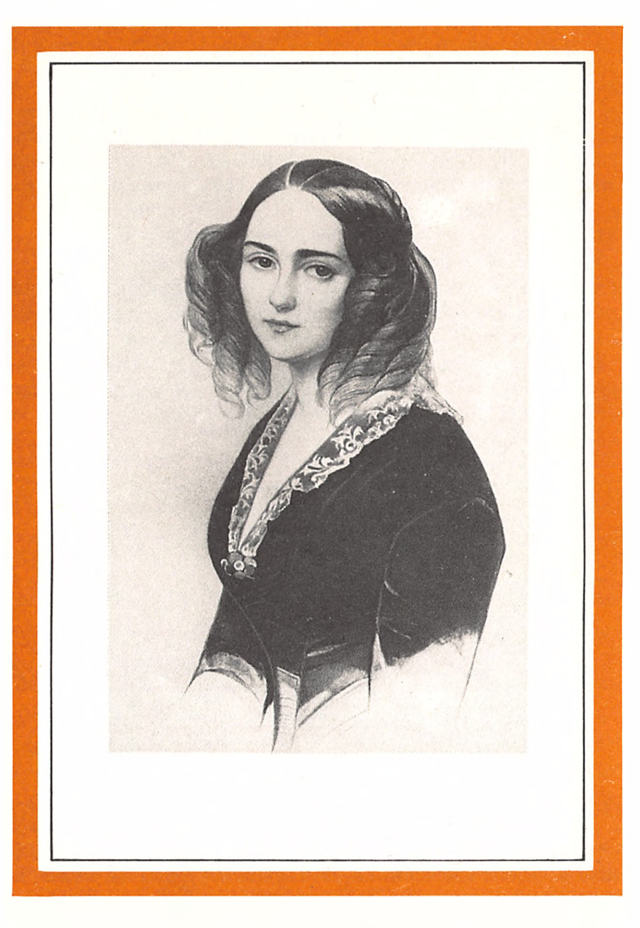
задолго до встречи у Мусиных-Пушкиных, 5 октября 1832 года, Пушкин вписал в альбом Бартеневой три стиха из «Каменного гостя», посвященных волшебному пению Лауры. Если бы он прочел другие стихотворения в альбоме, то увидел бы незнакомую ему подпись: «М. Ю. Лермонтов», автограф семнадцатилетнего юноши, посвятившего хозяйке альбома еще в 1831 году экспромт:

Скажи мне: где переняла
Ты обольстительные звуки
И как соединить могла
Отзывы радости и муки?
Премудрой мыслию вникал
Я в песни ада, в песни рая,
Но что ж?— нигде я не слыхал
Того, что слышал от тебя я!

Позднее Карл Брюллов написал ее портрет, а поэт И. И. Козлов, который отзывался чутко на все услышанное, не видя красоты певицы, посвятил стихи ее пению, где есть слова, ярко выражающие его воздействие:

С какою ты волшебной силой
Играешь пламенной душой,
Когда любви напев унылый
Пленяет сладкою тоской!

В сопроводительном письме, помеченном 16 февраля 1836 года, поэт писал певице: «Примите, сударыня, это слабое выражение высокого наслаждения, доставленного мне вашим восхитительным пением, сладкая мелодия которого звучит и будет всегда находить отзвук в моем сердце. Как был бы я счастлив услыхать еще раз ваш звучный и в то же время такой нежный голос, от которого душа ощущает невыразимое, но полное прелести волнение».



Э. К. МУСИНА-ПУШКИНА.
Портрет В. И. Гау.
1849 г.

Это одна из гостей Мусиных-Пушкиных, другая — сестра хозяйки Аврора Шернваль фон Валлен. Изумительной красоты шестнадцатилетняя дочь губернатора Выборга, она появилась в свете в 1824 году в Гельсингфорсе. Ее ярко описал известный переводчик Р. Линдквист, называя Аврору «молодым солнцем высшего света финской столицы, который в то время не чуждался общения со знатными и умными русскими, что было выгодно... и стране в целом». Обаятельная шведка стала предметом всеобщего обожания. Среди добивающихся ее благосклонности были и ее соотечественники, и русские — Е. Баратынский и его друг А. Муханов. В 1825 году Баратынский посвятил ей стихи, в которых обыгрывается ее имя:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари,
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

Однако в завоевании благосклонности Авроры поэзия оказалась бессильной. Свое сердце красавица отдала пылкому А. А. Муханову, который записал в своем дневнике: «Она хороша, как бог».

Спустя несколько недель Баратынский посылает своему сопернику «запрос», в котором шутя, но не без некоторой доли зависти, спрашивает, была ли она для друга «прямой зарей» или «только северным сиянием». В действительности Аврора стала для Муханова долгим «солнцем счастья и муки». Отец собирался выдать дочь за шведского дворянина, у нее был нареченный жених. Но накануне свадьбы он умер.

Тем временем подросла младшая сестра, белокурая

красавица Эмилия. Восемнадцати лет она вышла замуж за графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, изображенного в наброске Г. Г. Гагарина.

Мусин-Пушкин за «прикосновенность» к делу декабристов был переведен сначала в армейский Петровский пехотный полк, а затем в Тифлисский на Кавказ. Эмилия Шернваль не побоялась выйти замуж в 1828 году за человека, который в то время состоял под полицейским надзором. Только в конце 1831 года он был уволен со службы с обязательством, однако, жить в Москве и не выезжать за границу. Часто семья Мусиных-Пушкиных приезжала в Петербург и здесь неизменно встречалась с Пушкиным и его друзьями — Вяземским, А. И. Тургеневым и другими. Так, известно, что кроме того раза, который запечатлен на рисунке Г. Г. Гагарина, Пушкин обедал у них 24 июня 1832 года вместе с Вяземским и Н. А. Мухановым, братом давнего поклонника Авроры — А. А. Муханова.

После смерти своего первого жениха красавица долго не хотела выходить замуж, она боялась роковых совпадений. И наконец в 1834 году дала согласие Александру Муханову, которого любила давно. Он умер за несколько дней до свадьбы. Младший брат ее второго жениха Владимир Муханов писал в своем дневнике, после того как через два года она все-таки вышла замуж за миллиардера Павла Николаевича Демидова: «Она могла не любить своего мужа и, выходя за него, переносить свои думы в прошлое; но тяжело сознавать, что достаточно соединить свою судьбу с другим, чтобы увидеть его похищенным. Эта женщина совершенство, она, кажется, обладает всем для счастья: умна, добра, чиста сердцем, красива, богата».

Но пишущий эти строки не знал, что Аврора вышла замуж не только за баснословно богатого человека, но очень образованного, деликатного, щедрого. Недаром в одном из писем Н. В. Гоголь писал Демидову: «Ваше богатство стояло передо мной рубежом, как вдруг ваш

раздавшийся голос и ваше полное великодушия представительство обо мне, вам неизвестном, внимание к малой крупице моего таланта — все это меня тронуло сильно... Это было одним из приятнейших моих воспоминаний, какие только вывез с собою из России....»

Дело в том, что П. Н. Демидов назначил Петербургской Академии наук 25 000 рублей ежегодно для премирования выдающихся сочинений в разных отраслях знания. Право выбирать кандидатов он деликатно предоставил Академии. Но пьеса Гоголя «Ревизор» потрясла его, и он решил обратиться с просьбой в Академию, выразив желание, чтобы премировано было именно это произведение. Он надеялся, что ему не откажут. Но ошибся. Ненависть к пьесе Гоголя у высокопоставленных чиновников была так велика, что ему сухо и категорично отказали, сославшись на право присуждения премий, избранное им самим. Думается, его досаду разделяла его молодая жена. Она определенно читала письмо Гоголя, который благодарил Демидова за поддержку.

К ней пришло счастье! Как звезда первой величины сияла она в гостиных Петербурга. Даже по словам весьма критически настроенной А. О. Смирновой, «она была в полном цвете красоты». Баснословное богатство мужа не повлияло на ее скромность. На балы она являлась чаще всего в белом платье без всяких украшений, только один бриллиант в простой оправе на тоненькой цепочке. Правда, стоимостью в 100 000 рублей. Вот как вспоминает известный писатель Владимир Соллогуб: «Аврора Карловна Демидова... считалась и была на самом деле одной из красивейших женщин в Петербурге; многие предпочитали ей ее сестру, графиню Мусину-Пушкину, ту графиню Эмилию, которой влюбленный в нее Лермонтов написал:

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства; графиня Пушкина была, может, обаятельнее своей сестры, но красота Авроры Карловны была пластичнее и строже. Посреди роскоши, ее окружающей, она оставалась, насколько это было возможно, проста...»

Сестры, особенно младшая, были основными соперницами по красоте Натали Пушкиной. Поэт поддразнивал жену и спрашивал в письме: «Счастливо ли ты воюешь со своей однофамилицей?»

Далее Соллогуб продолжает: «Лето Демидовы большею частью проводили в Финляндии, в окрестностях Гельсингфорса, куда также приезжала прелестная графиня Пушкина. За ними туда собиралось довольно большое и очень изысканное общество... В одной из боковых зал Демидовского дворца мне часто случалось видеть наследника Демидовых, или, скорее, демидовских богатств, тогда красивого отрока, впоследствии известного Павла Павловича Демидова, он был окружен сотнями разных дорогих и ухищренных игрушек и уже тогда казался всем пресыщенным не по летам. Аврора Карловна страстно его любила, очень занималась его воспитанием и даже, кажется, насколько это было возможно, была с ним строга».

Супруг не жалел никаких средств и заказал портрет своей красавицы жены Карлу Брюллову. 27 февраля 1837 года ученик знаменитого портретиста А. Н. Мокрицкий записал в своем дневнике: «Се-

годня поутру зашел к Брюллову, застал его работающим. И как прекрасно отделывал он портрет Демидовой (Шернваль). Как понятна для меня его работа. Сколько в ней натуры, изощренного вкуса!» Прошел год, а Брюллов все еще не окончил портрет. 24 февраля 1838 года его аккуратный ученик записал: «С утра я уже был в мастерской. Брюллов продолжал портрет Демидовой». Мы знаем, что Брюллов рассматривал портрет как средство человеческого общения и ни за какие деньги не согласился бы писать того, кто ему несимпатичен. Так было с отказом писать самое императрицу Александру Федоровну, а также общепризнанную красавицу Натали Пушкину.

Но сестер Шернваль он пишет с удовольствием. Его связывает личная дружба с В. А. Мусиным-Пушкиным, который также позировал ему в этом же году. Портрет Авроры хранится в музее Нижнего Тагила, там была когда-то столица горнозаводчиков Демидовых. Спокойно и доброжелательно смотрит на художника красавица. Гладкая прическа, светлое платье без украшений. Высокая чалма и пышный мех небрежно спущенной с блистательных обнаженных плеч накидки делают ее царственно-прекрасной.

Приходится пожалеть, что портрет Эмилии Карловны утрачен. Но нам известны портреты обеих сестер, исполненные в 1840-х годах самым модным светским портретистом акварелистом В. И. Гау.

Аврора Демидова изображена в 1845 году в трауре, который она не снимала уже пять лет (Павел Николаевич Демидов умер в 1840 году, через четыре года после женитьбы на А. Шернваль). Лицо ее строго и печально. Взгляд светлых глаз отрешен и задумчив. Губы скорбно сжаты. Она напоминает мраморную античную статую, которую уже ничто не может оживить. Темное бархатное платье и темная вуаль обрамляют ее застывшую красоту.

Совсем иной выглядит на портрете Гау ее сестра Эмилия — воплощение мягкой женственности и нежности. Белокурые волосы, синие глаза и ослепительный цвет лица. «Северная скандинавская красавица» соперничала, как мы уже говорили, с самой Натали Пушкиной. Такие знатоки женской красоты, как А. И. Тургенев и П. А. Вяземский, отдавали ей пальму первенства.

В декабре 1836 года А. И. Тургенев сообщает А. Я. Булгакову, описывая торжественную службу в дворцовой церкви: «Жена умного поэта и убранством затмевала других, как супруга пышного лорда — бриллиантами и изумрудами... У ней спросили, много ли у ней еще есть бриллиантов. Она ответила: «К вечеру готово другое платье, унизанное другими каменьями».— И далее Тургенев сообщает: — Я не знал, слушать ли (церковное пение.— *Авт.*), или смотреть на Пушкину, Эмилию и ей подобных! Подобных! Но много ли их?» Так часто противопоставляли двух красавиц-однофамилиц, забывая, что одна из них (Натали) получила провинциальное воспитание и ей всего 22 года, а другая, 26-летняя Эмилия, получила европейское воспитание и не обладала простодушием «жены умного поэта».

Но у них были и общие черты — обе были очень добрыми женщинами. И все же в каждом письме А. И. Тургенев доказывает, что Эмилия несравненна и «всех затмевает»: «Прелесть во всем!»

17 февраля 1837 года, когда Эмилия Карловна уже была в Москве, А. И. Тургенев пишет Булгакову: «Поклонись милой красавице Эмилии, скажи ей, что у меня сердце дрогнуло при виде Авроры, которая не вдруг узнала меня. Я не мог собраться с духом, чтобы начать разговор, но она сама начала его. Еще сердце бьется при воспоминании о ней».

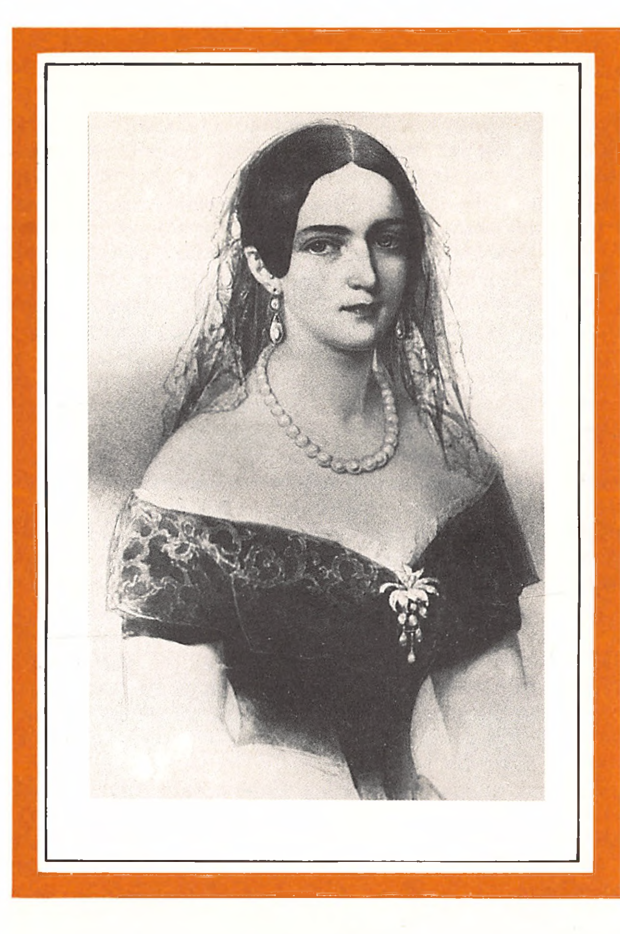
Еще более настойчиво ведет «наступление» в письмах на прекрасную Эмилию Павел Андреевич

Вяземский, явно неравнодушный к ее красоте, сожалеющий постоянно, что так поздно «ее открыл». 12 января 1837 года она выехала с пятилетним сыном из Петербурга в Москву. Вяземский пишет ей вслед: «А бедному Володеньке как было холодно! Скажите ему, что я очень сожалею, что не согласился занять место, которое он предложил мне подле Филиппа (графского кучера.— *Авт.*). Я предпочел бы это место трону другого Филиппа (французского короля Луи-Филиппа.— *Авт.*) и всем тронам мира».

Он пишет письма и даже заводит дневник «К Незабудке», который собирается ей показать впоследствии. 18 января 1837 года Вяземский записывает в дневник: «Вечером отправился к графине Мари (Мария Александровна Мусина-Пушкина, урожденная княжна Урусова, вдова И. А. Мусина-Пушкина, старшего брата В. А. Мусина-Пушкина.— *Авт.*) в надежде встретить у нее графиню Эмилию (Вяземский имеет в виду, что незримо она для него всюду присутствует.— *Авт.*). Она действительно там оказалась, сидела в уголочке софы, бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод».

Спустя два года М. Ю. Лермонтов также сравнит графиню с «белой лилией». Видимо, она действительно обладала сходством с этим нежным, чистым и хрупким цветком. Но кроме красоты особенно всех пленяли ее доброта и ум. А. О. Смирнова писала, что «Эмилия непритворно добра». И она доказала это, ухаживая за больными крестьянами во время эпидемии тифа, что стоило ей жизни. Она умерла в 36 лет, в 1846 году. Как писал Соллогуб: «Графиня Мусина-Пушкина умерла еще молодою — точно старость не посмела коснуться ее лучезарной красоты».

Аврора была безутешна. Еще так недавно они с сестрой вместе посещали салон Владимира Солло-



А. К. КАРАМЗИНА.
Портрет В. И. Гау.
1845 г.
Публикуется впервые.

губа, где только для них делалось исключение, так как женщин не приглашали вовсе. Теперь она приходила сюда в глубокой печали, в трауре, одна. Позднее В. Соллогуб напишет в своих воспоминаниях: «Только четыре женщины, разумеется исключая родных и Карамзиных, допускались на мои скромные сборища (в основном литераторов.— *Авт.*), а именно: графиня Ростопчина, известная писательница, графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, графиня Мусина-Пушкина и Аврора Карловна Демидова. Надо сказать, что все они держались так просто и мило, что нисколько не смущали моих гостей».

И вот именно здесь, у Соллогуба, вдова Демидова встретила и беззаветно полюбила, вопреки доводам рассудка, старшего сына историка — Андрея Карамзина. С его стороны любовь была давней и тайной. Ровно десять лет назад, в сентябре 1836 года, Екатерина Андреевна Карамзина писала сыну в Италию: «Ты, возможно, увидишь ее (Аврора Карловна была в свадебном путешествии с Павлом Николаевичем Демидовым.— *Авт.*) в Италии; она обещала, что будет к тебе внимательна, но не сходи от нее с ума, как это часто с тобой случается ради хорошенькой женщины, а эта уж очень хороша...» Но увидев хоть раз, трудно было ее забыть...

Прошло десять лет. И у Соллогубов Андрей Николаевич танцевал с ней мазурку «Аврора», специально написанную для Демидовой М. Ю. Виельгорским, и признался ей в любви. Вскоре, в 1846 году, они поженились.

Глубокое чувство нашло ответ. Счастье озарило жизнь молодой четы Карамзиных. Они много путешествовали, жили в Италии. И там известный акварелист Эмилио Росси написал портреты супругов (они известны нам по литографиям А. Леграна). Счастьем светятся лица обоих. Аврора Карловна

улыбается, нежное и томное выражение ее прекрасных синих глаз предназначается мужу. Он стал прекрасным отцом и ее девятилетнему сыну. В качестве опекуна управлял частью обширных демидовских заводов. И там оставил о себе светлую память.

«На госпитальной площади...— писал позднее о Нижнем Тагиле писатель Д. Мамин-Сибиряк,— стоит довольно массивный чугунный памятник Андрею Николаевичу Карамзину... На заводах о нем сохранилась самая лучшая память как о человеке образованном и крайне гуманном, хотя он и являлся здесь случайным. Его пребывание на заводах является, кажется, лучшей страницей в их истории...»

О нем вспоминали с благодарностью и близкие люди, и те, кто встречался с ним по заводским делам. Но счастье его жены опять было слишком недолгим. В 1854 году он трагически погиб в начале Крымской кампании, изрубленный турками со зверской жестокостью.

Горе его вдовы было безмерным. От этого несчастья она уже никогда не оправилась душой. Во Флоренции, где проходили безоблачные дни счастья, она поставила капеллу, окруженную арками, которые опираются на изящные колонны из серого мрамора. На стене — мраморная доска, посвященная Андрею Николаевичу,— дань вечной памяти его вдовы. Она установила памятник ему в Нижнем Тагиле и перевезла в этот город свой портрет кисти К. Брюллова, который Андрей Николаевич очень любил. Ведь такой, ослепительно прекрасной, он увидел ее впервые и любил до последнего вздоха трагически оборвавшейся жизни.

В Нижний Тагил перевезен был архив семьи Карамзиных, отсюда и происхождение знаменитой «Нижнетагильской находки», по словам пушкиниста Н. В. Измайлова, «материала такой ценности, какого

давно не было в наших руках и равных которому мы имеем немного».

Аврора Карловна поселилась в Гельсингфорсе и все средства и душевные силы щедро отдавала общественной деятельности в пользу женского образования и медицины. В ее домике ныне музей.

Она умерла в глубокой старости в начале нашего века. Образ легендарной роковой красавицы продолжал волновать воображение поэтов. В 1920-х годах молодой поэт Г. В. Маслов написал о ней поэму «Аврора»:

Себя орудием покорным
Судьбы таинственной сознав...
. . . .
И на смерть роком обречен
Поцеловавший эти губы.

Когда поэт заканчивал поэму, он тяжко заболел. На больничной койке в Красноярске он выправлял и отделывал текст. Ему стало лучше. Но когда он отдал поэму для печати, вместе с ней ушла его жизнь. В тот же день он скончался.

Все обстоятельства трагической жизни прекрасной «совершенной» женщины заставили назвать ее биографию «Легендарная жизнь Авроры Карамзиной и ее время». Автор книги женщина — финская писательница Ингрид Кварнстрем, которую не коснулось роковое проклятье. Книга эта выпущена в 1937 году, ровно сто лет спустя после того, как Карл Брюллов писал портрет Авроры Карловны Демидовой.

«ЗВЕЗДЫ СЕВЕРА»

«Звездами севера» называли многих красавиц, но, пожалуй, больше всего поэтического поклонения вызывала красота Елены Михайловны Завадовской, урожденной Влодек. Дочь польского генерала, по линии матери русская, она имела чисто славянский тип красоты, с нежным цветом лица и голубыми глазами. «Красавица писаная», «звезда первой величины петербургского большого света» — так писали о ней современники. «Нет возможности передать неуловимую прелесть ее лица, гибкость стана, грацию и симпатичность, которой была проникнута вся ее особа».

Персидский принц Хозрев-Мирза сказал: «Каждая ресница красавицы ударяет в сердце, как стрела». И наконец, такой знаток женщин, как музыкант и придворный Михаил Юрьевич Виельгорский, признался: «Артистическая душа не может

спокойно созерцать такую прекрасную женщину: я испытал это на себе».

До сих пор многие нередко связывают имя Завадовской с образом Нины Воронской в восьмой главе «Евгения Онегина». Однако вернее всего, пожалуй, мнение Вересаева и других исследователей, которые увидели в этом облике что-то и от Закревской, потому что в нежной, как цветок, Завадовской не было ничего от «Клеопатры Невы», какой изобразил Пушкин Нину Воронскую. Напротив, все воспевали томную грацию и целомудренную возвышенную красоту Завадовской.

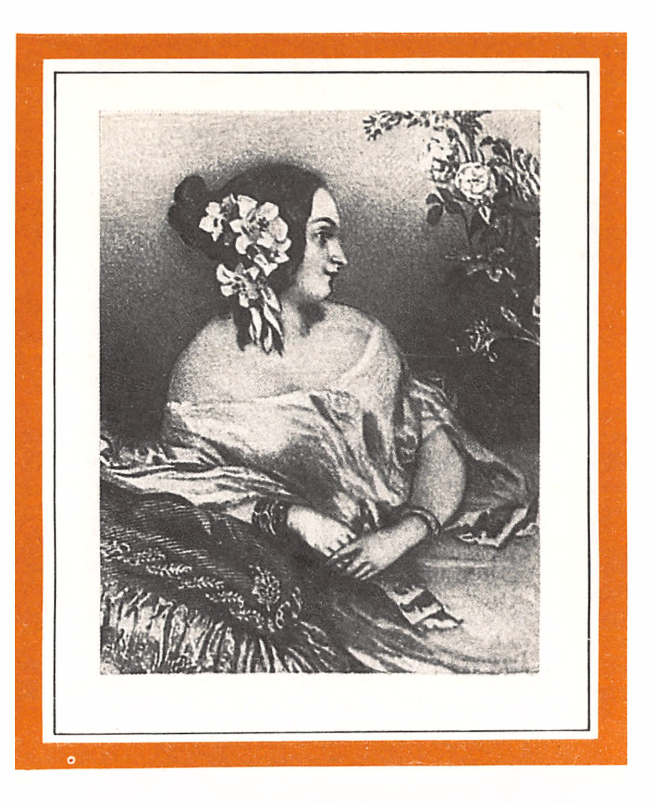
1832 год явился годом своеобразного конкурса на лучшие стихи, посвященные 25-летней красавице. Первым в ее альбоме пишет И. И. Козлов:

Твоя красою блещет младость,
Ты на любовь сердцам дана,
Светла, пленительна, как радость,
И как задумчивость нежна;

Твой голос гибкий и прелестный
Нам веет музыкой небесной,
И сладкой томностью своей
Любимой песни он милей.

Но что так сильно увлекает?
Что выше дивной красоты?
Ах! тайна в том; она пленяет
Каким-то чувством доброты.

В лице прекрасном, белоснежном
И в алых розах на щеках —
Везде все дышит сердцем нежным,
Оно и в голубых очах,
Оно в улыбке на устах;
И, как румяною зарею
Блеск солнца пламенной струею
Бросает жизнь на небеса,—



Е. М. ЗАВАДОВСКАЯ.

Литография Шалона с портрета неизвестного художника. 1840-е гг.

Так чистой ангельской душою
Оживлена твоя краса.

Такое полное поэтическое воплощение получил словесный портрет красавицы, дополненный трепетными чувствами поэта. Слепой Козлов не мог ее видеть, но почувствовал в ней воплощение романтического идеала, пользуясь, видимо, и отзывами друзей. И нам трудно себе представить столь прекрасную, по общему мнению, женщину по двум малозначительным портретам — миниатюре Э. В. Бинемана и гравюре А. Шалона с неизвестного портрета. Единственно, что хорошо просматривается в обоих изображениях,— ее необыкновенная мягкая грация и прозрачные, истинно небесные, голубые глаза.

В юбилейном альбоме 1832 года среди новых блестящих посвящений в апреле на арену соревнования вступает П. А. Вяземский; после рассуждений о красоте Петербурга и северной природы он сравнивает ее с роскошью жаркого юга и после такого большого вступления переходит к прославлению русской красавицы:

Но сердцу русскому есть красота иная,
Сын севера признал другой любви закон:
Любовью чистою таинственно сгорая,
Кумир божественный лелеет свято он.

Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей.

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана,
Улыбку свежих уст, в которой лести нет,
Величье стройное их царственного стана
И чистой прелести ненарушимый цвет.

Красавиц северных царица молодая!
Чистейшей красоты высокий идеал!
Вам глаз и сердца дань, вам лиры песнь живая
И лепет трепетный застенчивых похвал!

В мае 1832 года в поэтическое соперничество вступает Пушкин и конечно одерживает победу:

Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье,—
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Пушкин и Вяземский были часто поэтическими соперниками у прекрасных дам. Они дружно воспевали А. О. Смирнову и Е. М. Завадовскую, которые, естественно, признавали первенство Александра Сергеевича в поэзии и в споре.

Долли Фикельмон дружила с обоими поэтами, но она отмечала, что внимание Пушкина сразу делает любую красавицу самой приметной в высшем свете. 17 ноября 1832 года она записала в дневнике, что Мусина-Пушкина «сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает поэт Пушкин». Правда, существуют разные мнения, какая из

Мусиных-Пушкиных здесь имеется в виду. Обе красавицы, обе жены родных братьев Мусиных-Пушкиных,— Эмилия или Мария?

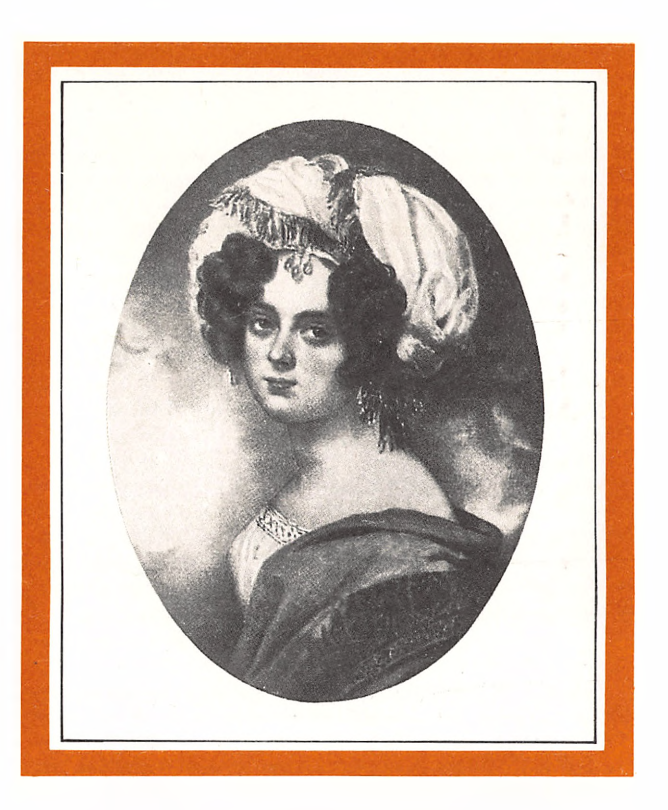
Есть все основания думать, что все-таки это Мария Александровна Мусина-Пушкина, к красоте которой был уже давно неравнодушен поэт. Он встретил ее в доме ее родителей князей Урусовых в 1827 году в Москве и с тех пор всегда проявлял к ней интерес. На ее пребывание в Италии Пушкин написал стихотворение «Кто знает край, где небо блещет», в котором восхищается ее «задумчивой красой». И его восхищение подтверждается портретом знаменитого миниатюриста Вены М. Даффингера. Он изобразил женщину с удивительно добрым, милым лицом и мечтательными томными глазами. Это тот образ женственности, который всегда привлекал Пушкина, да и не одного его.

В 1832 году он бывал у Мусиных-Пушкиных, которые жили в Петербурге. Об этом есть свидетельства. В то время как другая семья Мусиных-Пушкиных наведывалась в Петербург лишь наездами, живя постоянно в Москве.

Позднее, когда в 1834 году Мария Александровна овдовела, ее очень часто навещал Вяземский. Он отличал ее от многих светских дам, и, кроме того, ему хотелось говорить с ней о своих чувствах к Эмилии. Накануне дуэли Пушкина он ходил к «прелестной Мари». И из писем Вяземского к Эмилии известно об истинной скорби, которую испытывала Мария Александровна после смерти поэта.

В следующем, 1838 году Мария Александровна вышла замуж за лицейского друга Пушкина дипломата А. М. Горчакова. Вероятно, они вспоминали поэта, которого оба хорошо знали.

В последние годы своей жизни Пушкин уже реже писал восторженные стихи женщинам и не так явно



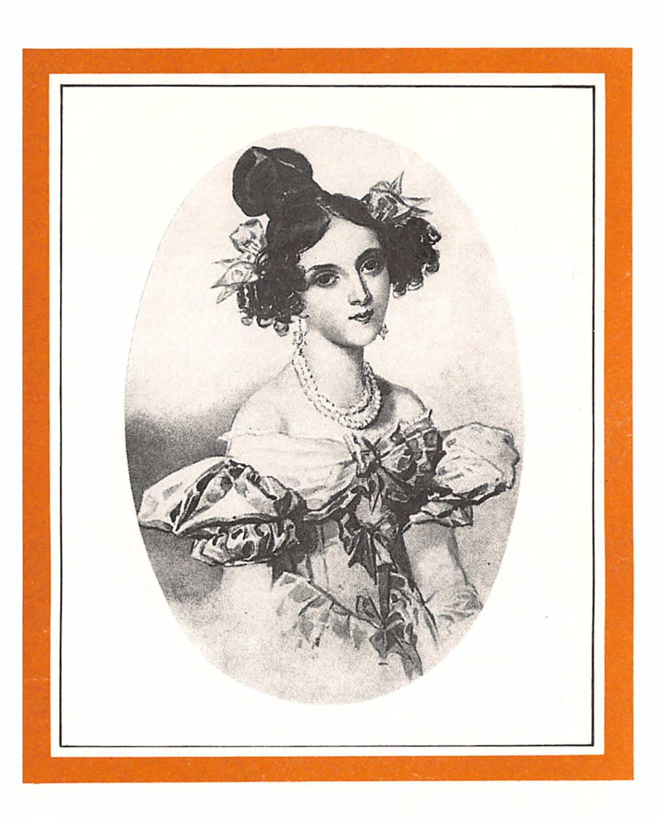
М. А. МУСИНА-ПУШКИНА.
Портрет М.-М. Даффингера.
1830-е гг.

оказывал им поклонение. Наталья Николаевна была очень ревнива, и он не хотел ее обижать. Особенно ревновала она мужа к молоденькой красавице Надежде Львовне Соллогуб, двоюродной сестре писателя Владимира Соллогуба.

Она была дочерью людей, которых хорошо знал Пушкин,— графа Льва Николаевича и сестры лицейского товарища А. М. Горчакова Анны Михайловны. Надежда Львовна славилась своей красотой. Даже такой человек, как А. В. Никитенко, который в своих дневниках почти никогда не упоминает женских имен (исключение составляла лишь А. П. Керн),— и то однажды отметил: «...на концерте у Д. Л. Нарышкина видел одну из первых красавиц столицы, графиню Надежду Львовну Соллогуб, она поистине очаровательна». Подтверждением справедливости этого мнения может служить акварельный портрет П. Ф. Соколова, один из лучших и известнейших у этого замечательного мастера.

У нее нежное, прямо-таки фарфоровое личико, чистые голубые глаза и золотистые локоны. Она истинная красавица Севера и по изысканному колориту светлых тонов, и по той очаровательной, безмятежной грации, которая создана, чтобы быть воспетой поэтами и запечатленной художниками. На тоненькой шейке мерцают жемчуга, а розовые банты не лишены кокетства. Портрет выполнен именно в том году, когда неравнодушный к женскому очарованию и красоте Пушкин воскликнул:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить; но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,



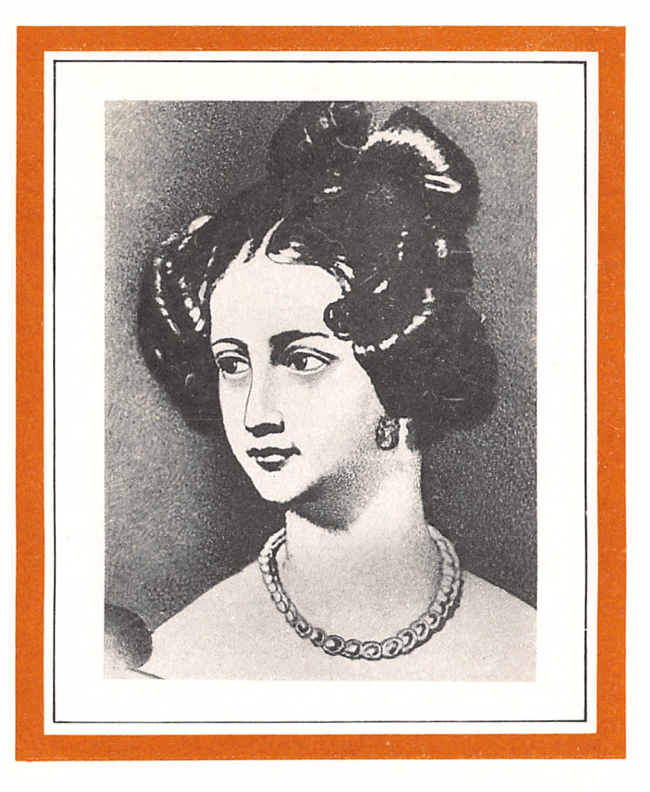
Н. Л. СОЛЛОГУБ.
Портрет П. Ф. Соколова.
1830-е гг.

Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье.
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселья, мир души, беспечные досуги,
Все — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

Адресату стихотворения — Надежде Соллогуб в 1832 году исполнилось 17 лет. Через четыре года она вышла замуж за Алексея Николаевича Свистунова (брата декабриста П. Н. Свистунова) и уехала за границу, откуда вернулась уже после смерти Пушкина.

Одни звезды уходили за горизонт, другие появлялись. Так, в 1833 году появилась при дворе женщина необыкновенной красоты, 25-летняя жена барона А. С. Крюднера — Амалия. Отцом ее считался М. Лерхенфельд, баварский посланник в Петербурге, но многие знали, что в действительности она побочная дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III и княгини Турн-и-Таксис, таким образом являясь единокровной сестрой русской императрицы Александры Федоровны. Но прославилась она не этим. Мимолетное внимание Пушкина и стихи Федора Ивановича Тютчева, любившего ее долгие годы,— вот что сделало ее известной в истории литературы.

Портрет ослепительной красавицы Амалии Лерхенфельд кисти художника И. Штилера находится в портретной галерее прекрасных женщин баварского короля Людвига I. Известны и многочисленные копии с этого портрета, литография А. Флешмана и офорт В. Унгера. Портрет относится к началу 1820-х годов. Она знает не только о том, что у нее прекрасный бело-розовый цвет лица, большие голубые глаза и мраморные, точеные плечи, но и то, что мужчины



А. КРЮДНЕР.
Литография И. Штилера с портрета А. Флешмана.
1830-е гг.

дерутся из-за нее на дуэли, а поэты посвящают стихи. Юная красавица уверена в себе!

Шестнадцатилетней Амалии посвятил стихи молодой атташе русской дипломатической миссии в Мюнхене Ф. И. Тютчев, влюбленный в нее уже два года, с первого взгляда, и, как окажется впоследствии, на всю жизнь:

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилостивить их,—
Он служит им укорою безмолвной.
Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он странен им, как память детских лет.
Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.
Таков горé духов блаженных свет;
Лишь в небесах сияет он, небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет.

Едва ли юная красавица поняла философский смысл этого стихотворения. Но одно она с гордостью отметила — ее «взор благодеянье» для мужчин.

С Тютчевым она обменялась цепочками, правда, получила золотую, а отдала шелковую. Но и эта шелковая цепочка держала его память всю жизнь. Тютчев дрался на дуэли со своим счастливым соперником бароном А. С. Крюднером. В 1825 году Амалия Лерхенфельд стала баронессой Крюднер.

В 1833 году она приехала с мужем в Петербург. Вяземский спешит сообщить А. И. Тургеневу о появлении новой красавицы при дворе: «У нас здесь мюнхенская красавица Крюднерша. Она очень мила, жива и красива, но что-то слишком белокура лицом,

духом, разговором и кокетством; все это молочного цвета и вкуса».

Но Пушкин не остался равнодушным к этому белокурому созданию. И Вяземский сообщал жене Вере Федоровне в Москву, что 24 июля 1833 года на вечере у Фикельмонов Пушкин ухаживал за «Крюднершей», «несколько увиваясь вокруг нее».

Женщины ревниво относились к такому успеху. И поэтому Вяземский шутя пишет жене: «...саксонка очень мила, молода, бела, стыдлива. Я обещал Люцероде (саксонский посланник в Петербурге.— *Авт.*) сказать тебе, что он ее не казал людям из ревности, а выпустил в свет только перед отъездом ее». Вяземский имел в виду ее большой успех на балу у Бобринских. И через несколько дней снова сообщает о ней же: «Вчера Крюднерша была очень мила, бела, плечиста. Весь вечер пела с Виельгорским немецкие штучки. Голос ее очень хорош». При большой красоте Амалия Крюднер не была лишена и талантов.

Из Петербурга она часто и надолго уезжала за границу. В дни ее возвращения в Мюнхен, в 1836 году, Тютчев снова увидел «младую фею» на балу и написал, вдохновившись ее образом:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

А на холму, там, где, белея,
Руины замка вдаль глядят,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой...

Тютчев медлил расставаться со своими воспоминаниями. Но Амалия Крюднер снова уезжала из Мюнхена в Петербург, на этот раз надолго — ее муж получил новое назначение по службе. И поэт доверирил ей самое дорогое — рукопись своих стихов, которые впервые решился напечатать в России. В Петербурге она передала их бывшему сослуживцу Тютчева князю И. С. Гагарину для передачи в «Современник» А. С. Пушкину. В третьем томе журнала было напечатано шестнадцать стихотворений Тютчева, и то, что они попали на первые страницы,— свидетельство их высокой оценки редактором.

«Мне рассказывали очевидцы,— вспоминал впоследствии известный публицист и философ Ю. Ф. Самарин,— в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидел собрание рукописных его (Тютчева.— *Авт.*) стихов... Он носился с ними целую неделю».

Сохранилось много свидетельств того, что в 1836 году и особенно в январе 1837 года Пушкин очень часто встречался с Амалией Крюднер на балах у Фикельмон, у М. Г. Разумовской и в других домах. Может быть, они говорили о поэзии Тютчева, скорее всего, должны были говорить о поэте, который сыграл большую роль в жизни красавицы саксонки.

В 1838 году звезда ее была в зените, она стала фавориткой императора Николая I. Об этом много пишет А. О. Смирнова в своих записках: «Она (Амалия.— *Авт.*) была блистательно хороша... Царь ухаживал за нею и сидел рядом за столом». «После,— рассказывает Смирнова,— царь сказал мне: — я уступил свое место другому». Этот другой был близкий ему человек А. Х. Бенкендорф. В это же время, и довольно долго, ею был увлечен граф В. Ф. Адлерберг, старше ее на 17 лет. Интересен тот факт, что, когда в 1852 году Амалия овдовела, она вышла замуж за сы-

на Адлерберга, который был много ее моложе. Все говорили, что она не стареет и все так же прекрасна.

В 1844 году она снова и дружески встречается с вернувшимся в Петербург Тютчевым. «Тютчев — лев сезона»,— отозвался о его успехах в петербургском свете П. А. Вяземский. В 1854 году вышел сборник его стихов, Тютчев становился знаменитостью.

В 1870 году он встретил 62-летнюю Амалию Адлерберг (ему было уже 67 лет), они долго беседовали, вспоминали прошлое... И 26 июня этого же года Тютчев написал свои бессмертные стихи, посвященные любви-дружбе, прошедшей через всю жизнь:

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осенью порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас,—

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,—
И вот слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,—
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Почти через три года, 1 апреля 1873 года, дрожащей рукой умирающий поэт написал своей дочери: «Вчера я испытал минуту жгучего волненья вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюднер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй».

«Память сердца» была свойственна Тютчеву. И эта черта вызывает у читателя и через много лет чувство почтения и поклонения.

Мы пролистали альбомы и страницы жизни женщин, замечательных своей красотой, обаянием, умением привлекать сердца. Но подходя к середине века, чаще встречаются женщины, дар поклонения которым получает ответное творческое сопереживание. Биографии таких женщин, особенно тех из них, кто стал профессионалом в области литературы,— тема другой книги, однако коснемся немного только двух характеров. Эти женщины — А. Д. Абамелек-Баратынская и Е. П. Ростопчина, которые получали дань поклонения поэтов и художников, в своих альбомах имели автографы самых известных поэтов России.

Анну Давыдовну Абамелек-Баратынскую Пушкин знал еще ребенком. Вспомнив это, он в 1832 году написал в альбом восемнадцатилетней красавице армянке:

Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели — с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.

А. Д. АБАМЕЛЕК-БАРАТЫНСКАЯ.
Портрет А. П. Брюллова.
1830-е гг.

За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.

К этому времени относится портрет Анны Давыдовны работы А. Брюллова. На нем изображена необычайно красивая, мечтательная девушка с удивительно нежными чертами лица и томными, черными, истинно восточными глазами. Она как экзотический цветок «вырастает» из пышной одежды. Писал ее портрет и знаменитый Карл Брюллов. Этот портрет находится в Доме-музее Тютчева в Муранове. Но Абамелек не только красавица, привлекавшая внимание художников и поэтов. По свидетельству современников, «она получила прекрасное образование... отлично знавшая по-английски, по-немецки, по-французски и по-гречески, она художественно перевела на иностранные языки несколько произведений русской лирики».

Особенно она любила переводить стихи Пушкина, знала многие из них наизусть и прекрасно, выразительно их исполняла. Пушкин хорошо знал и ее будущего мужа (с 1835 года) И. А. Баратынского, родного брата Е. А. Баратынского. Лермонтов также дружил с И. А. Баратынским, находясь на службе в одном полку с ним, и часто бывал у него в доме. Баратынский гордился своей женой, про которую говорили еще до замужества: «Наш Пушкин, Вяземский, Козлов тебя осыпали поэзии цветами». Она была южной звездой среди звезд севера.

На проводах Лермонтова на Кавказ, после дуэли с де Барантом, присутствовали Анна Давыдовна, ее муж и среди других товарищей Лермонтова по полку — брат Абамелек-Баратынской Семен Давыдович. Ненадолго вернувшись в Петербург, опальный

поэт снова часто посещал своих друзей, и в один из таких визитов в его руках оказался заветный альбом с драгоценными автографами. Лермонтов имел возможность прочесть посвящение Пушкина, восторженные стихи Вяземского:

С другими наравне поклонник богомольный
Звезды любви, звезды поэзии младой —
Один, волнуемый заботою невольной,
Задумываюсь я, любуяся тобой.

Вслед за этими стихами — не менее восторженные строки Козлова:

Восток горит в твоих очах,
Во взорах нега упоенья,
Напевы сердца на устах,
А в сердце пламень вдохновенья.

На одной из страниц альбома рукой владелицы старательно переписано стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Опальный поэт знал, что его здесь любят и понимают, и он сам ценил тонкий вкус и понимание поэзии Анной Давыдовной. Этим можно объяснить и то обстоятельство, что в альбом ей он не написал своего посвящения, а вписал «Последнее новоселье», стихотворение, которое очень ценил.

Последнее пребывание Лермонтова в Петербурге проходило очень напряженно, его томили мрачные предчувствия, но тем не менее он работал, успевал развлекаться, встречаться с друзьями. Однако позднее в своих мемуарах писатель, ровесник поэта В. А. Соллогуб вспоминал, что «...его (Лермонтова.— *Авт.*) обуяла какая-то лихорадочная веселость, но по временам что-то странное точно скользило на его лице...». Они встретились на балу у Воронцовых-Дашковых.

Если бы можно было предугадать, что Лермонтов через пять месяцев погибнет, и прелестной графине Эмилии осталось жить немного, и она умрет в расцвете красоты и успеха. Несчастливо сложится и жизнь хозяйки дома — блистательной молоденькой Александры Кирилловны.

Как хорошо, что не дано знать будущего. И на бале у Воронцовых-Дашковых танцы и веселье были в разгаре. Приглашено более 700 человек. Вот как его описывают современники: «...в течение всего дня присутствующие были угощаемы завтраком, обедом и ужином, и все было великолепно, роскошно и весело». Особо отмечена иллюминация: «Перед домом на Неве был построен красивый щит, который горел во все продолжение вечернего бала, до четырех часов ночи».

В этот приезд в Петербург Лермонтов особенно подружился с поэтессой Евдокией Ростопчиной, он встречался с ней почти каждый день, они посвящали друг другу стихи:

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены,
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны,
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурею страстей
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать,
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...

И здесь снова встречаются слова мрачного предчувствия... Время быстро отсчитывало дни. Лермонтов покинул Петербург в середине апреля. Через несколько дней Ростопчина передала бабушке Лер-

Е. П. РОСТОПЧИНА.
Портрет Э. Мартена.
1830-е гг.

монтова Е. А. Арсеньевой для пересылки внуку сборник своих стихотворений с дарственной надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20-е апреля 1841». Бабушка почему-то не сразу отослала книгу. 28 июня 1841 года Лермонтов пишет ей: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной, пожалуйста, тотчас же по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас».

Книги Е. А. Арсеньева отослала внуку, но они не успели дойти. Лермонтова уже не было в живых.

4 августа 1841 года Вяземский писал из Царского Села: «Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал».

Отклик Ростопчиной на гибель поэта-друга стал предостережением всем будущим поэтам:

Не трогайте ее,— зловещей сей цевницы!..
Она губительна... Она вам смерть дает!..
Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она грозу зовет!..
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,—
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..

У Карамзиных тяжело переживали смерть поэта. Софье Карамзиной Ростопчина посвятила стихотворение, где снова воссоздала живой образ Лермонтова и ту роль, которую в его жизни имел дом Карамзиных:

Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был.

. . . .

О! живо помню я тот грустный вечер,
Когда его мы вместе провожали,
Когда ему желали дружно мы
Счастливый путь, счастливейший возврат,
Как он тогда предчувствием невольным
Нас напугал! Как нехотя, как скорбно
Прощался он!.. Как верно сердце в нем
Недоброе, тоскуя, предвещало!

«К ПОРТРЕТУ» А. К. ВОРОНЦОВОЙ-ДАШКОВОЙ

Перед нами портрет женщины, судьба которой связана с именами великих русских писателей — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского. Счастливая судьба... Но будем последовательны. Известно, что блестящая жизнь первой «светской львицы» и «повелительницы мод» Петербурга сменилась трагическим концом. «Смерть ее в Париже не была заметна»,— писал в своем стихотворении «Княгиня» Некрасов и предрек ей полное забвение в будущем. Однако частые литературные упоминания и многочисленные портреты не давали и не дают забыть ее имя.

Но все же о ней известно, вернее напечатано, за последнее столетие сравнительно немного. В статье «Серьезные недостатки академического издания М. Ю. Лермонтова» И. Ашукина отмечала еще в 1957 году, что «хотелось бы прочитать более яркую

характеристику А. К. Воронцовой-Дашковой. Эта молодая женщина, которой в год смерти Пушкина было всего 19 лет, была одной из немногих пытавшихся предотвратить его дуэль». С тех пор прошло более 25 лет, а к биографии А. К. Воронцовой-Дашковой никто так и не обращался. В последнем по времени источнике — «Лермонтовской энциклопедии», изданной в 1981 году, о героине стихотворения «К портрету» сказано немного. Перепутан год ее рождения. Александра Кирилловна родилась не в 1818 году, а — если верить родословным книгам — в 1817-м. Указано несколько литературных источников: стихи М. Ю. Лермонтова и Н. А. Некрасова, проза И. С. Тургенева и некоторые мемуарные источники, которых на самом деле гораздо больше. К сожалению, почти никак не отражена богатейшая иконография графини. Упомянуты только портрет Дейца (это неправильная транскрипция фамилии С.-Ф. Дица, который рисовал в 1839 году Воронцову-Дашкову) и литография Г. Греведона, воспроизведенная с этого рисунка.

Не упомянуты портреты Воронцовой-Дашковой в ленинградских музеях. Только в Государственном Русском музее находится четыре ее портрета. Два других экспонируются во Дворце-музее Павловска.

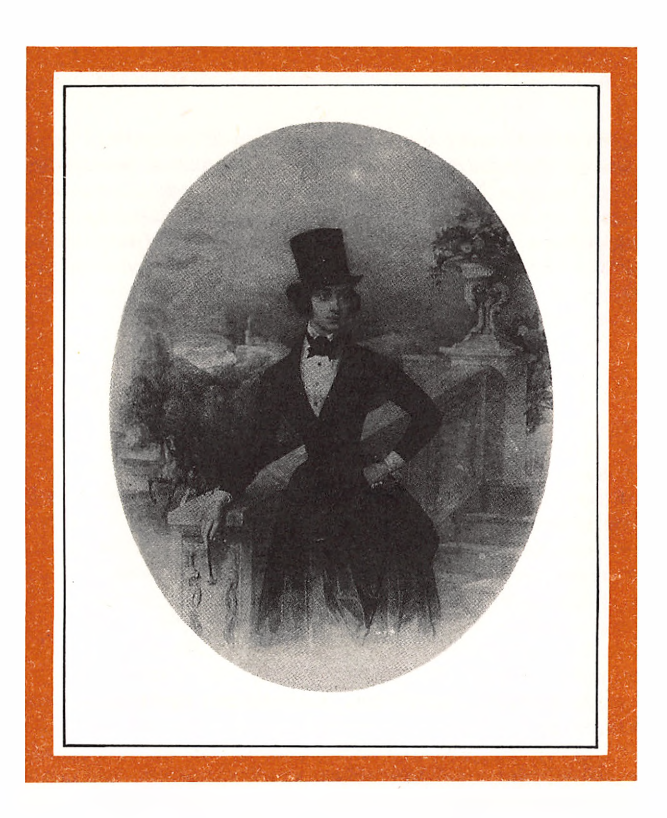
Но что же писал Пушкин о той, которая, по словам многих современников, пыталась помешать роковой дуэли? Почти ничего... Только однажды, в письме к Наталье Николаевне от 30 апреля 1834 года, упоминает: «...есть еще славная свадьба: Воронцов женится на дочери Нарышкина (известного светского остряка Кирилла Александровича, которого Пушкин хорошо знал.— *Авт.*), которая и в свет еще не выезжает...» Стало быть, ей еще не исполнилось 17 лет. И все. Известно, что Пушкин был в хороших отношениях с мужем Александры Кирилловны, богатейшим вельможей столицы, полу-

чившим от своей двоюродной тетки Екатерины Романовны Дашковой (президента Российской Академии и директора Петербургской Академии наук) большое наследство и вторую фамилию. Иван Илларионович Воронцов-Дашков давал самые блестящие балы в Петербурге в своем дворце на Английской набережной, и Пушкины там часто бывали. Но молоденькую хозяйку поэт, видимо, считал легкомысленным ребенком и всерьез не принимал. И действительно, тогда она поражала всех своей необычайной живостью, почти мальчишеской шаловливостью и бурной веселостью.

На события, которые ее затрагивали, она реагировала искренне, непосредственно и решительно. И вот, по сообщению М. Н. Лонгинова, лично знавшего Воронцову-Дашкову, в день дуэли «она встретила Пушкина, едущего на острова с Данзасом, и направляющихся туда же Дантеса с Д'Аршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть, к кому обратиться? Куда поехать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянье говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье».

Известно, что она обращалась к мужу, но он решительно пресек ее порывы, говоря, что она слишком молода и не может понимать в вопросах мужской чести. Ее характер, так ясно проявившийся в этом эпизоде, заинтересовал уже в наше время известного писателя Михаила Булгакова, и он хотел сделать ее героиней одной из своих пьес. Остались черновики отдельных сцен. Но вернемся к прошлому...

Воронцова-Дашкова не могла, конечно, не испытывать горячего сочувствия к молодому поэту М. Ю. Лермонтову, пострадавшему за стихотворение на смерть Пушкина. Она всегда дружески и сочув-



А. К. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА.
Портрет А. П. Брюллова (?).
1840-е гг.

ственно относилась к Лермонтову, который часто бывал на ее званых вечерах. Он восхищался хозяйкой дома и посвятил ей одно из лучших своих стихотворений — «К портрету», создав определенный тип женщины, который только появлялся в европейской литературе, образ «светской львицы», одновременно наделив его яркими индивидуальными чертами Воронцовой-Дашковой:

Ей нравиться долго нельзя,
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка...

Характер в основном определен, но он сложнее, чем может показаться с первого взгляда:

Таит молодое чело
По воле — и радость, и горе.
В глазах — как на небе, светло,
В душе ее темно, как в море!

Необычайно красивые глаза Воронцовой-Дашковой, часто меняющие свое выражение в зависимости от состояния души, особенно волнуют Лермонтова, и он в черновых вариантах стихотворения неоднократно возвращается к ним:

Глаза говорят, как слова,
И светят обманчивым светом.

В другом случае:

Глаза говорят, как слова,
И блещут язвительным светом.

И дальше снова о выражении лица:

Лицо ее будто стекло
Не скроет ни радость, ни горе!

Или напротив:

Лицо отразит, как стекло,
По воле и радость, и горе!..

Стихи слагались долго в поисках поэтического образа «кумира» столицы.

В это время Воронцовой-Дашковой исполнилось 22 года — она находилась в расцвете своего светского успеха. Вот что примерно об этом же времени пишет о ней ровесник и современник Лермонтова писатель В. А. Соллогуб: «...много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть даже более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встречал я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла все ее окружающее... Многие женщины впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности».

Портреты, созданные поэтом и прозаиком, близки и дополняют друг друга. Но многие исследователи творчества Лермонтова считают, что стихотворение «К портрету» не означает окончательной формы его поисков нового типа женщины, оригинальности и самобытности которой отдавали дань все, что поэт не столько создавал литературный образ Воронцовой-Дашковой, сколько описывал конкретный портрет, созданный художником. Получается так, будто не сама Александра Кирилловна, которую знал Лермон-

тов, послужила оригиналом стихотворения «К портрету», а ее изображение, созданное художником. Мысль, не совсем лишенная основания. Поиски лермонтоведов пошли также по прямому пути сопоставления дат стихотворения и портрета. В этом помог М. Н. Лонгинов, который спустя 17 лет после смерти Воронцовой-Дашковой вспоминал: «...портрет ее был в 1840-ом году налитографирован в Париже известным Греведоном. К нему-то и написаны эти стихи. У меня висит в рамке один из редких уже теперь экземпляров этой литографии, полученной из рук самого оригинала, любезнейшей из светских женщин того времени».

Конечно, Лонгинову было лестно иметь у себя один из крайне редких уже тогда экземпляров литографии (в настоящее время в единственном экземпляре он хранится в музее Института русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде, а уменьшенное повторение — в Гравюрном кабинете ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве), в которой якобы были написаны стихи Лермонтова. Но ведь это предположение ничем, кроме года создания литографии, не подтверждается. А возражения напрашиваются сами собой... Прежде всего, надо знать, что эта литография сделана Г. Греведоном (который мог Воронцову-Дашкову никогда и в глаза не видеть) с рисунка С.-Ф. Дица, созданного раньше. Большие литографии — сложный заказ. Со времени создания рисунка до появления литографии из известной парижской мастерской могло пройти не менее года. Рисунок был создан в 1839 году. Именно такой, веселой и кокетливой, мог видеть ее Пушкин, когда присутствовал на балу у Воронцовых-Дашковых незадолго до дуэли.

Но в начале 1840-х годов она стала уже иной, из веселой полудевочки превращается в «законодательницу света», недосягаемую звезду, увлекающую

воображение многих. Лермонтов увидел, почувствовал в ней тип «роковой женщины». Такого образа в литографии Греведона еще нет.

Какой же видел ее Лермонтов, часто посещая ее дом в 1840 году?

В запасниках отдела дореволюционного рисунка в Русском музее в Ленинграде есть портрет Воронцовой-Дашковой примерно этого времени. Он выполнен в технике акварели известным русским портретистом В. И. Гау и имеет дату: 1841 год. В отличие от литографии, акварель создается в единственном экземпляре, и Александра Кирилловна не могла ее дарить своим добрым знакомым.

Портрет интересен тем, что по времени своего создания, а главное, по образу, он гораздо ближе стихотворению Лермонтова, чем литография Греведона. Если рисунок Дица (с которого сделана литография Греведона), как мы уже отмечали, отстоит на какой-то срок от времени создания стихотворения, то портрет Гау создавался с ним почти одновременно. Стихотворение «К портрету» впервые появилось в «Отечественных записках» № 12, то есть в декабрьском номере 1840 года. Портрет мог создаваться Гау примерно в это же время, но быть законченным чуть позднее и помечен 1841 годом. Но даже если он был написан на несколько месяцев позднее, то это не так уж существенно. Важнее несомненная внутренняя близость образа, созданного Гау и Лермонтовым, сходство в характеристиках.

На портрете Гау изображена красивая, уверенная в себе светская женщина. А в черновом автографе у Лермонтова так и записано: «Портрет. Светская женщина». Стало быть, впечатления поэта и художника совпали. Тот зрительный облик, который имел перед своим мысленным взором Лермонтов, несомненно, был ближе портрету Гау, чем литографии Греведона:

Строка «Нарядна, как бабочка летом...» — вызывает определенные цветовые ассоциации. И это понятно: Лермонтов сам занимался живописью, и колористическое видение было ему присуще. Портрет Гау также решен в расцветке бабочки — изумрудное бархатное платье, красный шарф в синюю полоску. В литографии Греведона цвет даже не мог подразумеваться, так как она сделана с черно-белого рисунка Дица. И этот обманчивый, холодный взгляд, это лицо, которое все «отразит, как стекло»,— все отражено в портрете Гау, особенно подчеркнуты прозрачный взгляд загадочных глаз, светская выдержка. И при этом ее очарование на портрете бесспорно. Читаем последние строки стихотворения Лермонтова:

То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

Да, не любить невозможно — это хорошо знал Лермонтов, и не по своей судьбе, а по «роковой страсти» близкого ему человека, родственника и друга Алексея Аркадьевича Столыпина, по прозвищу в свете Монго.

Во время создания стихотворения Александра Кирилловна сама была увлечена Столыпиным — в то время первым красавцем и рыцарем Петербурга. И потому понятно, что Лермонтов в ее доме был принят как родной.

Получив отпуск по болезни бабушки, опальный поэт 6 февраля 1841 года снова приехал в столицу и в тот же день попал на бал к Воронцовой-Дашковой.

Появление Лермонтова — ссыльного армейского офицера — на балу, где присутствовали члены цар-

ской семьи, было воспринято как вызов. Но хозяйка энергично заступилась за поэта, принимая всю ответственность на себя, говоря, что это она зазвала Лермонтова, ничего не сказав ему о бале. Гнев удалось смягчить, нового наказания не последовало. Это было последнее пребывание Лермонтова в Петербурге, вскоре он уехал на Кавказ, а в июле 1841 года убит на дуэли.

Однако знаменитая «светская львица» по-прежнему оставалась в центре внимания современников, писателей и поэтов.

Ее образ очень интересно анализируется в мемуарах князя А. В. Мещерского: «В петербургском обществе, в подражание обществу парижскому, впервые тогда появились львицы, или так называемые дамы высшего круга, отличившиеся в свете или своей роскошью, или положением, или своим умом, или красотой, или, наконец, всем этим совокупно, а главное, множеством своих поклонников... Из всех этих дам Воронцова-Дашкова более всех заслуживала наименование львицы, если понимать это слово в том широком смысле, какое придавало ему тогда французское общество. Она не имела соперниц. В танцах на балах, которые она любила, она была особенно очаровательна... Ее красота была не классической, потому что черты ее лица, строго говоря, не были правильны, но у нее было нечто такое, не поддающееся описанию, что большинству нравится более классической красоты.

Что подкупало в ней, в особенности всех ее знавших: это ее простота и непринужденность... Если добавить к характеристике графини, что она обладала редким остроумием и находчивостью, то понятно будет, что она по праву занимала первое место между молодыми женщинами петербургского общества, и этого права у нее никто не оспаривал.

Я был ей представлен на большом бале у австрий-

ского посла приятелем моим, одним из самых усердных ее поклонников, Столыпиным (почему-то прозванным в обществе Монго) — молодым человеком редкой красоты».

Бал, описанный Мещерским, происходил в 1841 году, тогда же, когда создавался портрет Гау. И снова упоминается имя ее поклонника Столыпина-Монго, для которого впоследствии, по словам П. А. Вяземского, эта любовь превратилась «в долгую поработительную и тревожную связь».

Мимо этой связи и ее рокового значения для Столыпина не прошел и другой русский писатель — И. С. Тургенев. В 1862 году он пишет А. И. Герцену: «...графиня Сальяс (Салиас де Турнемир) неправа, говоря, что лица, подобные Николаю Петровичу и Павлу Петровичу (в романе «Отцы и дети».— *Авт.*) — наши деды: Н. П. — это я, Огарев и тысячи других, П. П.— Столыпин, Есаков, Россет, тоже наши современники. Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность...»

В то время когда было написано это письмо, Александры Кирилловны уже не было в живых, и Тургенев по воспоминаниям воссоздает ее образ в романе «Отцы и дети»: «Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находя нигде покоя, и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела вся бледная и холодная над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение». Описание характера совпадает с письменными и устными свидетельствами знавших

ее. А описание внешности у Тургенева очень похоже на портрет, созданный Гау. «Она была удивительно сложена, ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал, во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза...— но взгляд их быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния — загадочный взгляд». Кстати, Воронцова-Дашкова была брюнеткой, но иногда носила парик и становилась блондинкой или красила волосы. На портрете Гау — она блондинка, и кажется, что, описывая героиню романа Павла Петровича Кирсанова, Тургенев пользовался именно этим портретом из всех многочисленных ее изображений.

Далее Тургенев, говоря обо всех перипетиях роковой и мучительной страсти, наконец, сообщает, что «однажды за обедом в клубе Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже в состоянии близком к помешательству».

В действительности Воронцова-Дашкова скончалась в Париже в 1856 году при странных, до сих пор не выясненных обстоятельствах. Слухов ходило много, и на основании этих слухов, как свидетельствует в своих воспоминаниях А. Я. Панаева, Н. А. Некрасов создает свое стихотворение «Княгиня». В нем он вспоминает всю ее жизнь так, как ее описывали мемуаристы, а в создании образа героини полностью совпадает с Лермонтовым:

Властвует княгиня, цепи налагает.
Но цепей не носит, прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:
Ей чужое счастье ничего не стоит,—
Если и погибнет, торжество удвоит!
　　Сердце ли в ней билось чересчур спокойно,
　　Иль кругом все было страсти недостойно,
　　Только ни однажды в молодые лета
　　Грудь ее любовью не была согрета.

Любовь пришла, когда ей уже было около сорока лет, и, овдовев, она вышла замуж за барона де Пойли, доктора медицины. Разговоров об этом необычном для русской аристократки замужестве было много, но не прошло и полгода, как неожиданно графиня скончалась. Слухи о ее отравлении с целью завладеть богатством не кажутся неправдоподобными, но Некрасов еще и сгущает краски, показывая, что покинутая «мужем-спекулятором» аристократка умирает в одиночестве, в больнице для бедных. Опровергая эту версию, известный французский писатель А. Дюма пишет, что «Воронцова-Дашкова умерла среди роскоши, в одном из лучших домов Парижа...». И все же конец первой светской львицы Петербурга был так или иначе трагичен. Если Некрасов несколько сгустил краски, а Дюма пытается оправдать своего соотечественника, то можно указать и на другие, вероятно более объективные, свидетельства. Например, некто В. А. Инсарский (старый знакомый Лермонтова) в своих «Воспоминаниях» пишет, подводя итог жизни Воронцовой-Дашковой: «Она была предметом общего обожания для всех петербургских франтов высшего полета, а потом, разоренная и обезображенная, кончила свое существование в одной из парижских больниц».

Публикация стихотворения «Княгиня» имела печальные последствия для Некрасова. Муж покойной, приехав в Петербург устраивать свои денежные дела, вызвал русского поэта на дуэль. А. Я. Панаева впоследствии вспоминает: «И. И. Панаев не пустил его, говоря, что не хватало, чтобы еще один русский поэт был убит на дуэли французским проходимцем». Доктор-барон вызвал тогда Панаева, но потом удовлетворился устным заверением, что это стихотворение не о Воронцовой-Дашковой, потому что она-де была графиня, а в стихотворении же значится «княгиня». Существует мнение, что от ретивого

наследника и скандалиста просто откупились, и он отбыл вскоре во Францию.

Опираясь на многие литературные источники, интересно проследить этот образ в портретах, созданных в разное время В. Гау, А. Брюлловым, Орасом Верне, Карлом Штейнбеном и другими художниками. Они показывают различные грани характера «светской львицы» — холодного и блестящего, обольстительного и насмешливого, игривого и мятущегося.

Ф. М. Достоевский подчеркивает ее значение в культурной жизни столицы, передавая разные роли Мечтателя в «Белых ночах». В беседе с Настенькой он говорил о «чтении поэмы у графини В-й-Д-й».

И. С. Тургенев на основе всех имеющихся данных создает новый тип «роковой женщины» в литературе, губящей сначала других, а потом и себя. И наконец, Некрасов в большом стихотворении «Княгиня» создает целую социальную биографию. Но все, кто писал о ней, подтверждают и развивают первоначальную характеристику Лермонтова.

Становление нового образа женщины, отраженного в литературе и портретной живописи, показывает нам всю жизнь Воронцовой-Дашковой, полную взлетов и падений, которая не могла не привлечь внимания современников своей неординарностью, экстравагантностью и даже некоторой таинственностью.

Каждое поколение считает, будто именно оно вносит в мир свои стремления, имеет свою интуицию, а также любознательность — в мечтах ли, в умственной деятельности или любовных переживаниях,— которых не знали предшествующие поколения. Мы хотим иногда быть похожими лицом на красавиц прошлого века, но в тщеславии своем полагаем, что

обзавелись новой душой, уникальным познанием мира чувств. Так ли это и действительно ли души прежних времен отличаются от наших больше, чем лица?

И этот вопрос хотелось разрешить в книге. В течение многих лет автор вопрошал прошлое и теперь отдает свои скромные открытия на суд читателя. Считаю необходимым признаться — прошлое неохотно открывает свои тайны, однако хочется надеяться, что связь времен, судеб, характеров еще не порвана.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АХ СССР — Академия художеств СССР
ВМП — Всесоюзный музей А. С. Пушкина (Ленинград)
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва)
ГИМ — Государственный исторический музей
ГЛМ — Государственный литературный музей
ГРМ — Государственный Русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ед.хр.— единица хранения
ил.— иллюстрация
ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом)
ММП — Московский музей А. С. Пушкина
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив

БИБЛИОГРАФИЯ

I. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, ед.хр. 45; ф. 195, оп. 1, ед.хр. 1134; ф. 427, оп. 1, ед.хр. 986; ф. 1280, оп. 1, ед.хр. 8.
ЦГАОР, ф. 1780, оп. 1, ед.хр. 78.
ИРЛИ, отдел рукописей, ф. 9668, оп. 42, 21.

II. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

ГРМ, отдел фондов дореволюционного рисунка, живописи и гравюры.
ГТГ, отделы фондов живописи и рисунка.
ВМП, фонды рисунка и акварелей.
Литературный музей ИРЛИ, фонды рисунка.
ГЛМ, фонды рисунка и живописи.
ГИМ, фонды рисунка.
ММП, фонды рисунка и живописи.
ГЭ, фонды отделов русской живописи и западноевропейской миниатюры.

III. ЛИТЕРАТУРА

Адарюков В. Я., Обольянинов Н. А. Словарь русских литографированных портретов. Т. 1. М., 1916.
Пушкинская выставка в имп. Академии наук в СПб.

Альбом. Май 1899. М., 1899.
Пушкинская выставка, устроенная Обществом любителей российской словесности в залах Исторического музея в Москве. Альбом. М., 1899.
Московская изобразительная Пушкиниана. Альбом. М., 1975.
Ацаркина Э. К. П. Брюллов. М., 1963.
Вересаев В. В. Спутники Пушкина. Т. 1—2. М., 1937.
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. 1—2. М., 1928.
Волконская М. Н. Записки. Красноярск, 1975.
Временник Пушкинской комиссии. 1962—1980, М.—Л., 1983—1984.
Вульф А. Н. Дневники. М., 1929.
Вяземский П. А. Стихотворения. М., 1958.
Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848), М., 1963.
М. Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955.
Выставка в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского. Альбом. 1852—1902. М., 1902.
Грот — Плетнев. Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1—3. СПб., 1890.
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Воспоминания. Т. 1, 2. М., 1928.
Каталог ГТГ. М., 1984.
Каталог ГРМ. М.—Л., 1980.
Каталог Музея В. А. Тропинина и московских художников его времени. М., 1975.
Каталог коллекции портретов собрания Ф. Ф. Вигеля. М., 1980.
Каталог выставки материалов пушкинской эпохи в собраниях ленинградских коллекционеров. Л., 1970.
Каталог выставки «Миниатюра в России XVIII— начала XIX в.». Л., 1981.
Каталог выставки «Новые открытия советских реставраторов». М., 1979.
Каталог выставки «Первенцы свободы». К 150-летию восстания декабристов. М., 1981.
Каталог выставки «Пушкин и его современники». М., 1979.
Каталог собрания в Теплице. Чехословакия. Прага, 1983.
Керн А. П. Воспоминания. Л., 1929.
Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1984.

Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
Литературные салоны и кружки первой половины XIX века. М.—Л., 1930.
Мануйлов В. А., Назарова Л. Н. Лермонтов в Петербурге. Л., 1984.
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955.
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1—4. СПб., 1899.
Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1955.
Пигарев К. В. Ф. И. Тютчев и его время. М., 1978.
А. С. Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962.
Пушкин А. С. Сборник очерков Б. Л. Модзалевского. Л., 1929.
Пушкин А. С. Дневник. М.—Пг., 1923.
Пушкин А. С. Письма. Т. 1—3. М.—Л., 1926—1928, 1935.
Прометей. Т. 10. М., 1974.
Пущин И. И. Записки о Пушкине. М., 1982.
Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1976—1984.
Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1980.
Ровинский Д. Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. 1—4. СПб., 1886—1889.
Розен А. Е. В ссылку. Воспоминания. М., 1899.
Руденская М. П., Руденская С. Д. С лицейского порога. Л., 1984.
Русские портреты XVIII и XIX столетий. Т. 1—4. СПб., 1905—1909.
Р. С. 1894, т. 91, февраль, с. 19—20; 1873, т. 7, март, с. 390.
Р. А. 1901, т. 3, с. 105—106.
Свербеев Д. Н. Записки (1799—1826). Т. 1—2. М., 1899.
Сергеев М. Д. Несчастью верная сестра. Иркутск, 1978.
Сакулин П. Н. М. А. Протасова-Мойер по ее письмам. СПб., 1907.
Сибирь и декабристы. Вып. 3. Иркутск, 1983.
Смирнова А. О. Записки. М., 1929.
Соловьев Н. В. История одной жизни. Т. 1—2. Пг., 1915—1916.
Соллогуб В. А. Воспоминания. М.— Л., 1931.
Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1978.
Тургенев А. И.— Булгаковым. Письма. М.—Л., 1939.
Письма А. С. Пушкина и Е. М. Хитрово. 1827—1832. Л., 1927.

Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1951.
Чижова И. Б. «Минувших дней очарованье...».— В кн.: Белые ночи. Л., 1980.
Чижова И. Б. Портреты пушкинской поры.— Искусство, 1979, № 6.
Чижова И. Б. «К протекшим временам лечу воспоминаньем».— Нева, 1983, № 3.
Чижова И. Б. «К портрету» А. К. Воронцовой-Дашковой. В кн.: Белые ночи. Л., 1985.

СОДЕРЖАНИЕ

Чижова И. Б.

Ч59 «Души волшебное светило...»—Л.: Лениздат, 1988.—351 с., ил.

ISBN 5-289-00154-9

Книга состоит из очерков, посвященных замечательным женщинам первой половины XIX века, которые служили нравственным и эстетическим идеалам своего времени. Образы этих женщин нашли воплощение в произведениях выдающихся поэтов и художников.

Автор книги — кандидат искусствоведения — знакомит читателя с биографиями Е. И. Голицыной, А. А. Воейковой, Е. А. Карамзиной, Е. П. Бакуниной, А. П. Керн, Д. Ф. Фикельмон, Е. П. Ростопчиной, А. О. Смирновой-Россет, А. А. Олениной, С. Д. Пономаревой и др.

Адресована широкому кругу читателей.

Ч $\frac{4603000000-276}{M171(03)-88}$ 164—88 83.3Р

Ирина Борисовна Чижова

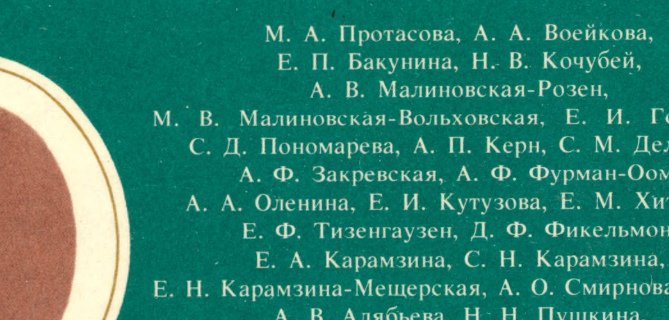
„Души волшебное светило...“

Заведующая редакцией А. М. Березина
Художник Д. М. Плаксин
Фотограф Е. А. Бернштейн
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Т. П. Гуренкова

ИБ № 4536

Сдано в набор 23.05.88. Подписано к печати 06.09.88. М-31972. Формат $70\times90^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарн. тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр.-отт. 26,11. Уч.-изд. л. 13,84. Тираж 50 000 экз. Заказ № 556.
Цена 1 р. 10 к.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.



М. А. Протасова, А. А. Воейкова,
Е. П. Бакунина, Н. В. Кочубей,
А. В. Малиновская-Розен,
М. В. Малиновская-Вольховская, Е. И. Голицына,
С. Д. Пономарева, А. П. Керн, С. М. Дельвиг,
А. Ф. Закревская, А. Ф. Фурман-Оом,
А. А. Оленина, Е. И. Кутузова, Е. М. Хитрово,
Е. Ф. Тизенгаузен, Д. Ф. Фикельмон,
Е. А. Карамзина, С. Н. Карамзина,
Е. Н. Карамзина-Мещерская, А. О. Смирнова-Россет
А. В. Алябьева, Н. Н. Пушкина,
Э. К. Мусина-Пушкина, А. К. Карамзина,
Е. М. Завадовская, М. А. Мусина-Пушкина,
Н. Л. Соллогуб, А. Крюднер,
А. Д. Абамелек-Баратынская, Е. П. Ростопчина
А. К. Воронцова-Дашкова

1 р. 10 к.